Luigi Zoja

The FATHER
Historical, Psychological, and Cultural Perspectives

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

ОТЕЦ

исторический, психологический и культурологический анализ

Луиджи Зойя
перевод с английского Натальи Ретеюм

Настоящее издание осуществлено при поддержке Московской ассоциации аналитической психологии и Юнгианского киноклуба (г. Москва)

Зойя Луиджи
Отец: Исторический, психологический и культурологический анализ.
Пер. с англ. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 280 с.

«Отец» Луиджи Зойя — это насыщенный, заставляющий задуматься анализ отцовства и его эволюции с точки зрения истории, психологии и культуры. Опытный юнгианский аналитик и мыслитель, Луиджи Зойя создал книгу, богатую теоретическими инсайтами и клиническими виньетками из практики аналитической психологии.

Автор представляет роль отца как ключевую в возникновении и развитии культуры и показывает, как эта роль претерпевает изменения на протяжении истории западной цивилизации. Блестящий анализ образов Гектора, Одиссея и Энея помогает читателю ясно увидеть глубинные истоки, питающие наши представления об отцовстве, и обнаружить парадоксальность ожиданий, которые есть у детей по отношению к отцам. В работе также анализируется современный кризис института отцовства.

Автор щедро делится идеями и гипотезами, заставляя нас не раз возвращаться к прочитанному и задумываться о значимом, но недостаточно изученном образе отца в западной культуре, литературе и мифологии.

В эпоху интенсивного переосмысления тендерных стереотипов книга Л. Зойя отвечает на наши насущные вопросы. Книга актуальна не только для юнгианских аналитиков, но и для специалистов многих других дисциплин, в частности антропологов, социологов и психологов различных направлений; она также будет интересна широкому кругу читателей.

Редактор: Наталья Ретеюм
Authorised translation from Italian langauge edition published by Bollati Boringhieri

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Часть I

Предыстория

Глава 1. Млекопитающие: животное начало без отца 16

Глава 2. Сексуальность крупных обезьян 19

Глава 3. Доисторический горизонт отцовства 22

Глава 4. Прыжок в сторону отцовства 25

Глава 5. Люси растет 34

Часть II

Античность и миф

Глава 6. Общество патриархальное и матриархальное 44

Глава 7. Исторический горизонт 51

Глава 8. Миф о происхождении отца 54

Глава 9. Гектор 58

Глава 10. Улисс 70

Глава 11. Миф об отце как о единственном прародителе. 83

Глава 12. Эней 94

Часть III

Современность и декаданс

Глава 13. От римского отца к сыну, к французской революции 116

Глава 14. От французской революции до промышленной революции 127

Глава 15. Война и разочарование 130

Глава 16. Обращение публичного отца 139

Глава 17. Путешествие Джоудов 146

Часть IV

Отец сегодня

Глава 18. Превращение отца в исчезающий вид 159

Глава 19. Самоустранение отца: обращение к прошлому 168

Глава 20. Самоустранение отца: обращение к будущему 173

Глава 21. Исчезновение жеста отца 181

Глава 22. «Добытчик» 189

Глава 23. Поиск отца 195

Заключительные рассуждения 202

Введение

> Универсальный принцип, который он [Фрейд] обнаружил и обнаружению которого отчасти был обязан своим чувством антирелигиозного еврея, было психическое значение образа отца (патриархат) для западного человека (...) Героическая борьба Фрейда с отцовским архетипом в еврейской культуре (...) - не личное дело Фрейда и не исключительно еврейская проблема; культура Запада (религия, общество, мораль) сформировалась, прежде всего, на основании этого отцовского образа, и психическому строению человека это отчасти причинило вред.
>
> *Э. Нойманн, Freud und das Vaterbild*

Якоб был торговцем тканями и вошел в историю как отец Зигмунда Фрейда.

Однажды в субботу он прогуливался по Фрайбергу. Он был хорошо одет, в новой меховой шапке. На одном из поворотов он столкнулся с другим прохожим. Ситуация была неловкой: тротуары в те времена были узкими, так что позволяли только одному прохожему не наступить в грязь. Якоб попробовал сделать следующий шаг, но робко, потому что у него не было внутреннего права на приоритет. Его оппонент оказался быстрее и, видимо, воодушевленный уверенностью в своем превосходстве, сорвал с него шапку и бросил в грязь, крича:

— С тротуара, еврей!

Рассказывая этот эпизод сыну, Якоб на этом останавливался. Но маленький Зигмунд хотел продолжения, потому что с этого момента история начинала становиться для него интересной:

— А ты, что ты сделал? Отец его отвечал спокойно:

— Сошел с тротуара и подобрал шапку'.

Если верить Джонсу, главному биографу Зигмунда Фрейда, этот факт был одним из определивших характер основателя психоанализа. Отсутствие героизма в человеке, который до того был для него абсолютным примером для подражания, ударило, как тяжелый молот, по его сознанию. И решило его будущее.

Может быть, без этого эпизода психоанализ мог бы быть другим: Фрейд не считал бы сына неизбежным соперником отца и не критиковал бы религию вместе с богом-отцом монотеизма.

Однажды Фрейд прочтет «Энеиду» и поймет: его отец оказался перед тем же выбором, что Эней, бегущий из Трои. Когда сталкиваешься с врагом, надо решить: лучше сразиться, защищая честь и рискуя жизнью, или же подумать о будущем, о продолжении рода и будущем существовании народа? Фрейд будет столь благодарен «Энеиде», что начнет свое «Толкование сновидений» (1899) стихом из этой поэмы (VII, 312): *«Flectere si necqueo Superos Acheronta movebo»* («если у меня не получится склонить к себе богов небесных, то я

приведу в движение богов ада»). Мы еще встретимся с Энеем, а пока оставим и его, и Фрейда с его разочарованием.

Поговорим вместо этого о том, чего ребенок ждет от отца. Согласно патриархальной традиции, показательным примером которой является этот эпизод, это отличается от того, что ребенок ожидает от матери.

В нормальных условиях каждый ребенок любит свою мать. И если мать оказывается жертвой унижения, ребенок продолжает любить ее, и, вероятно, сочувствует ей.

Любит ли ребенок обычно своего отца? Конечно. Но, если с отцом поступают несправедливо, все усложняется, потому что отношения между ребенком и отцом гораздо сильнее обусловлены средой, другими связями. Пара ребенок-мать, в особенности в истоке, обладает столь исключительными качествами, что почти выходит за границы мирского. Напротив, образ пары ребенок-отец, к которому мы привыкли, является с самого начала частью группы, как минимум триады. Эта пара уже является частью общества; ожидается, что именно отец научит ребенка быть в обществе, как мать научила его ощущать свое тело.

Если мать позволяет унижать себя, ребенок может отреагировать негативно. Но мы нигде не читаем о том, чтобы он ее отверг, как Фрейд своего отца. Очень трудно представить себе, чтобы он сказал: «Ты мне не мать». Отец же, который позволил себя оскорбить, может услышать, что ведет себя не как отец. Если ребенок склонен к такой точке зрения, это значит, что он хочет чувствовать отца рядом с собой не только в добре и любви, но и в силе: потому что отношения в обществе состоят не только из любви, или даже справедливости, но и из силы в чистом виде.

Таким образом, ребенок хочет, чтобы его отец был сильным, победителем. Если он будет победителем под знаменем добра, справедливости и любви, тем лучше. Но часто важнее всего то, чтобы отец показывал пример победителя, а доброта отступает на второй план. Отцу справедливому, но проигрывающему перед миром, Западная традиция часто предпочитает несправедливого, но победителя: парадокс, который заметил еще Шекспир, который создал в «Короле Лире» образ отца, отвергнутого, когда он теряет силу и престиж.

Но отец-победитель, которого предпочитает наша традиция, рискует быть лишенным не только нравственности. Необходимость силы также устанавливает ограничения для его чувств. Эта цензура чувств сказывается на его отношениях с другими, которые, создавая порочный круг, могут ответить ему тем же: маленький Зигмунд Фрейд не относится с пониманием к слабости своего отца.

После того, как разрушительные мировые войны и война во Вьетнаме стали связываться с отцовской агрессивностью, неагрессивных отцов становится все больше. Но эта эволюция часто сопровождается инволюцией: растет также количество молодых людей, которые доверяют только своим группам и заменяют отца главарем группы. Мы не можем отрицать, что в целом для детей понижение отцовской агрессивности - это благо, но многие дети удаляются от кроткого отца, слабого в их глазах, и отдают свое восхищение

какому-нибудь типу, склонному к насилию, который держит в страхе весь квартал, и выбирают его в качестве приемного отца.

Конечно, речь может идти об обычном переходе к взрослой жизни. Однако подобные ситуации встречаются все чаще: современной молодежи все труднее становится найти другой берег, на который «перейти». Многие молодые люди ведут себя как Пиноккио, который быстро устает от папы Джеппетто, честного, но скучного, и оставляет его, чтобы последовать за Фитилем, непослушным учеником, беспечным, гордым от того, что он поступает, как ему нравится: может быть, именно благодаря этому сия древняя провинциальная итальянская сказка до сих пользуется мировой популярностью.

Ребенок ждет от отца любви, подобной материнской, но это еще не все, что ему требуется. Он просит: «Будь со мной добрым, будь справедливым. Люби меня. Но с другими будь, прежде всего, сильным: даже если для этого понадобится насилие, даже ценой несправедливости».

Можно было бы возразить, что мы начали с патриархальной традиции Запада и эпизода из прошлого века, в то время как сейчас для детей отец и мать намного больше похожи друг на друга. Сегодня психологические исследования[3] изучают диаду отец-ребенок отдельно от триады мать-отец-ребенок и говорят, что между ними существуют отношения уже в первые месяцы жизни ребенка. Мы не собираемся отделять образ отца от семьи, от общества, от окружающей культуры: отчасти потому, что его специфичность как родителя заключается именно в этой сложности функций, отчасти потому юнгианская психология, из которой мы исходим, не отделяет индивидуальную область от коллективной. Власть отца стала более демократичной, его сила во многих аспектах растворилась, но наше бессознательное не уничтожает за несколько поколений то, что владело им в течение тысячелетий. Даже при отсутствии соответствующих отцов, даже, что вероятно, в состоянии перехода к новой форме, западное общество остается патриархальным, по крайней мере, в своем бессознательном.

Много сказано о родителях, которые, растя своих детей среди противоречивых посланий и уроков, делают их уязвимыми, неуверенными; в наиболее тяжелых случаях предрасположенными к психической диссоциации, шизофрении. Но и дети, с их ожиданиями, оказывают очень сильное влияние на родителей (другое, не такое базовое, как родители на детей, но каждодневное и глубокое). Ожидания, проекции заставляют нас быть тем, чего ждет от нас другой. В целом, так как маленький ребенок считает родителя полностью надежным, добрым, зрелым, это помогает родителю стать уверенным в себе, найти удовлетворение в великодушии, стать действительно взрослым.

Но в патриархальном обществе это правило действует в основном для матери. Роль отца сложнее, потому что ожидания ребенка в его адрес, как правило, более противоречивы. В семье отец должен соблюдать моральный закон; в обществе же он должен уважать прежде всего закон силы и, если быть более точными, разновидность дарвиновского закона эволюции, где «благо» есть лучшая способность обеспечить выживание для себя и своего потомства.

Однако отец не может и не должен разделиться надвое: так возникает склонность к диссоциации, колебание между двумя законами, которое делает

его неуверенным. Когда-то отец скрывал эту неуверенность, которая плохо соответствует его роли, и дети не имели ни права, ни орудий для оценки его нравственности и его успеха. *Сегодня зачастую у них есть и то, и другое.*

Мы должны учитывать этот факт, который мы могли бы назвать *парадоксом отца.* Коротко его можно сформулировать так. Как правило, мать оценивается как мать за то, что она делает с ребенком; ее задачи трудны, но понятны и легко определимы. Отец же оценивается как отец не только за то, что делает с ребенком, но и за то, как он взаимодействует с обществом: а законы, которые действуют в этих двух областях, не одинаковы.

«Парадокс отца» - это как личная, психологическая, независимая от эпох реальность, так и публичная и историческая. Так, в основе патриархального европейского общества, проникнутого сперва колонизацией, а потом глобализацией, есть парадокс, который является не чем иным, как коллективной стороной личного. Это общество основано на Христианстве, в то же время оно распространяется «по-дарвинистски», насаждается силой. Так, война, грабеж и опустошение природы, эксплуатация и порабощение народов более слабых или просто более миролюбивых являются грандиозным противоречием заповедям «не убей», «не укради» и «не желай того, что принадлежит ближнему твоему». В этом смысле европейская цивилизация, которая проповедует принципы разумного, на самом деле отталкивается от глубоко иррационального центра. Как и отдельно взятый отец, патриархат колеблется между законом любви и законом силы, и далек от их примирения и синтеза.

Одна пациентка участвовала в «левых» политических движениях и училась в университете в конце 60-х - начале 70-х годов. Студенческие волнения в то время достигли своего пика. Ее отец был предпринимателем. В его сфере деятельности царил кризис; а у его семейного предприятия были особенно большие трудности, потому что мужчине недоставало агрессивности и воли к конкуренции.

Дочь обладала большими диалектическими способностями, которые развились благодаря изучению философии и политическим дебатам. Она боролась со своим отцом как гладиатор. Он неуклюже отвечал ей, побуждаемый, сам того не осознавая, желанием больше общаться с дочерью; его доводы были неубедительны. Девушка напрягала свои интеллектуальные мускулы и побеждала. Но удовлетворение продолжалось недолго. Отец был слабее ее, был лишен диалектических способностей и аффективной автономии, которую она пыталась завоевать, и победа в словесных столкновениях была горькой.

Отец любил свою дочь; он не был ни бессовестным эксплуататором на работе, ни тираном в семье. Следовательно, не идеи дочери отталкивали ее от него, но аффективные движения более глубокие и иррациональные. Как Нессову одежду, которую невозможно снять, этот мужчина носил на себе одежду побежденного. Но глубины страдания еще не были достигнуты.

Постепенно девушка поняла, что у них экономические трудности; и виной тому личные качества ее отца: ее подруги, тоже дочери предпринимателей, не были затронуты кризисом и вели комфортный образ жизни. Ее презрение к отцу возросло. Он, все более подавленный, почувствовал себя плохо физически. Он

сделал ряд врачебных обследований. Был обнаружен рак, жить ему осталось недолго.

Дочь пыталась разбудить в себе сочувствие к нему, но что-то внутри нее не откликалось на эти попытки. Этот человек был все еще в наряде побежденного, только этот наряд пустил свои ужасные корни в тело. Присутствие отца в доме было уже физически невыносимым, вызывало отторжение иррациональное, непобедимое, физическое и эстетическое одновременно; отвратительный старик в постели был как неприятное насекомое между простынями ее кровати.

Мужчина старался вызвать ее на разговор, удерживал ее рядом, запрещал ей выходить из дома. В результате он только унизил себя еще сильнее. Из этого периода дочь запомнила в основном сухой хлопок закрывающейся двери, когда она все равно выходила, оставив жалующегося отца. Потом он умер, страдая телом и душой. И на какое-то время дочь почувствовала себя свободной.

Потом будут годы психоанализа, в течение которых она будет пытаться примириться с образом отца и работать с неизбежным чувством вины. Долгое время после его смерти, она испытывала живую неприязнь к нему. Чтобы преодолеть эти чувства, пациентке пришлось вспоминать и рассказывать об отце бесконечное количество раз. Теперь, когда она испытывала не отталкивающий избыток его близости, но нечто почти противоположное, почти ностальгию, она смогла почувствовать жалость, потом привязанность. Процесс шел так медленно, что, казалось, он никогда не закончится. Пациентка возвращалась к истинам, которые уже знала, когда ее отец был жив, но тогда они были для нее только рациональными, не имели веса для души:

«То, что мой отец не имел успеха в делах, как и то, что он заболел, делали его более слабым, а не более недостойным: он не становился от этого менее достойным любви. В мои жизненные ценности никогда не входили физическое здоровье и экономический успех. Меня приводит в ужас это общество, полное конкуренции, лишенное совести, принижающее бедных. Я хочу быть на их стороне. Но это нелегко, когда слабые так близки и я воспринимаю их слабость как опасность для себя, как болезнь, которой можно заразиться. В глубине души

мне до сих пор внушают ужас эти мои несправедливые чувства: но мне тяжело преодолеть отвращение к побежденным, особенно если это поражение касается чувства достоинства. В глубине души я кричала своему отцу: «Раз уж ты выбрал работу, которой следует стыдиться, ты должен хотя бы разбогатеть! Не лежи в кровати с бледным лицом: вставай, поезжай в офис! Почему ты не борешься с болезнью? Мне кажется, ты позволяешь себя победить назло мне».

Еще один пример: ребенок растет в Италии в сороковые годы в большой семье, где присутствуют также дедушки, дяди, родственники.

Страна только что вышла из мирового конфликта и гражданской войны между фашистами и антифашистами. Она готовится к новой решающей борьбе, но на этот раз решаемой голосованием: республика или монархия? В буржуазной и воспитанной семье уважают разные мнения и запрещают агрессивное поведение. Но в политических спорах, во время которых никто не повышает голоса, ребенок чувствует атмосферу огненную, очень подвижную и пылкую.

Отец ребенка - убежденный республиканец. Некоторые члены семьи следуют за ним. Другие предпочитают короля, боясь, что переход к республике - это шаг по направлению к коммунизму. Только один дядя - монархист без колебаний. В семье он бывает редко, но его посещений достаточно, чтобы у ребенка было откровение - одно из его первых воспоминаний, - что значит быть страстным монархистом.

Когда он вырастет, на сеансе психоанализа он будет говорить об этом как о предательстве по отношению к отцу.

- Но, - заметил аналитик, - в таком юном возрасте несли ли вы ответственность за это предательство?

- Думаю, нет: но у меня уже была информация, которую я мог оценить. Мой отец говорил мало и выполнял свой долг, а мой дядя был поверхностным, бездельником и нахалом: его интересовала в основном беспечная жизнь.

- Но, может быть, вы пришли к понимаю всего этого позже? О чем вы говорили тогда с дядей?

- Я просил его рассказывать о войне. По правде говоря, он не часто встречался с врагом, он занимался фуражировкой. Но была одна история, которую я постоянно просил его повторять. Однажды он попался в ловушку на забаррикадированной улице, где в его грузовики стреляли. Мой дядя послал за танком, и тот разнес в щепки баррикаду и тех, кто был за ней. Это были люди, которые защищали свое селение. Когда я вспоминаю это, у меня идет голова кругом: сейчас я вижу эти образы словно с большой высоты, словно поднявшись над ними. Но должен признаться, что я впадал в экстаз, когда дядя повторял это; я был ребенком, который испытывал эти чувства.

- А с отцом вы говорили о войне?

- Никогда. Он ее не знал. Он был офицером запаса, но его не призвали на службу, потому что его способности инженера были ценнее, например, при строительстве убежищ. Он, без сомнения, был доволен: как тем, что избежал опасности, так и тем, что был занят полезным делом, а не тем, что его отталкивало. Мне же казалось, что он прятался. Более того, так как убежища служат для того, чтобы прятаться, он прятался дважды. Мой отец был старше и слабее дяди, и все это словно показывало, что он не способен к борьбе. Я следил по утрам, как они бреются: у папы была электрическая бритва, дядя пользовался опасной бритвой. Может быть, электробритва напоминала мне первые электроприборы для дома, которые я видел в руках у женщин: она была непрезентабельна. Но голосование между монархией и республикой на самом деле обозначило контраст между двумя моделями.

- Ваш отец обсуждал это с вами?

- Он ограничивался самым необходимым. Он говорил мне: видишь ли, у нас все пошло не так, как в Германии. Король призвал к правлению Муссолини. Следовательно, мало того, чтобы не было диктатуры: король тоже должен уйти. Потом, мне кажется, он добавил, уже говоря с самим собой: глава республики может тоже оказаться неспособным, но после нескольких лет его отправят подальше, а не будут вынуждены терпеть и сына неспособного. Абсурдно, что уже тогда мне казалось: он прав, но я отказывался признавать за ним эту правоту.

- А с дядей вы об этом говорили?

- Ах, в этом-то все и дело: у дяди не было аргументов. Он говорил мне: да какая там республика! Ты знаешь, что президент республики - противный старикан? (Кажется, он даже показывал мне фотографию старика в какой-то газете. Может быть, это случилось позже, когда республика уже была учреждена, но у меня в воспоминаниях эти образы относятся к одному периоду). А король, напротив, молодой, сильный, красивый: смотри сюда! (он показывал мне человека на фотографии: он был одет в великолепную военную форму и окружен блестящими офицерами). Моя юная и хрупкая способность мыслить была парализована. Эстетика была всем, разум - ничем. Король отождествлялся с дядей, а мой отец - со стариком-президентом. Я предпочитал того, кого считал более волнующим и сильным. Это было несомненно, ибо власть короля не нуждается в подтверждении, она дана ему от рождения. Именно в то время дедушка и бабушка читали мне «Пиноккио». Может быть, я был как тот сын-деревянная кукла, который знает, что отец Джеппетто прав, но следует за дикарем Фитилем, потому что чувствует: с ним он может найти удовольствия и нечто новое. Может даже быть, что мой дядя в нашей слишком воспитанной семье был единственным, кто показывал мне, что существует мужская природа простая и инстинктивная: ступень, через которую не перепрыгнуть. Моего отца тоже можно критиковать. Почему я не знал, о чем он думает? Почему он не объяснил мне, что лучше строить убежища от оружия, чем пользоваться оружием? Что это - тоже разновидность силы? В этом смысле мне действительно его не хватало: потому что он не говорил мне о своих мотивах, а не потому, что он не рассказывал мне о войне.

Правда ли, что мы живем в эпоху отсутствующего отца? Многие исследования

бьют тревогу и говорят об отсутствии отца как о зле, не имеющем себе равных.

Было бы ошибкой торопиться и объяснять нестабильность современного общества этим ослаблением отца, которое может быть только одним из ее проявлений. И было бы ошибкой связывать кризис отца только с XX веком, или даже последним поколением. Обратим внимание на то, что глубинный образ отца в Западном мире проистекает из греческого мифа, римского права, хотя потом модифицируется за счет христианства, Французской революции и революции промышленной. Перемены 70-х, 80-х и 90-х лет играют свою роль, да, но лишь как шапка пены над громадной волной истории.

Сконцентрироваться на современности означает подчиниться культуре средств массовой информации: культуре немедленного удовлетворения, булимии, которая предпочитает моментальный аппетит проекту, который разворачивается с течением времени. Если многие исследования тайно руководствуются этим, то, оплакивая на словах удаление доброго отца, они активно представляют нам нечто максимально отдаленное от той ответственности, стабильности и здравости, которые приписывает ему традиция - независимо от того, что происходит объективно. Торговать актуальностью - все равно, что продавать фаст-фуд: много калорий плохого качества поступают к множеству потребителей. Но, если предположить, что это

так и есть, то исследование современности в отрыве от истории совершает то же преступление нетерпения, что и телевидение, которое медленно убивает книгу: даже когда формально это исследование предлагается нам именно в форме книги.

Без сомнения, времена, в которые мы живем, головокружительно ускорили изменения в коллективной психологии. Однако изменения внутри того, что мы наблюдаем непосредственно, всегда рискуют быть переоцененными: как если бы, стоя на гребне одной волны, мы оценивали бы высоту другой волны и делали вывод, что такова глубина океана. Заслуживающие доверия исследования указывают, что хотя за несколько десятилетий в Соединенных Штатах образ отца, который разделяет и предпочитает большинство, переместился от главы семейства к *co-parent* (отец, который разделяет обязанности матери), тем не менее, реальное участие американских отцов в жизни их детей по сути не изменилось, и осталось незначительным: намного меньше, чем участие матери.

Дело в том, что опросы выявляют не столько то, что есть на самом деле, сколько наши сознательные убеждения: образ отца, который у нас в голове, - идеал, в который мы, как нам кажется, верим. Эти осознанные ценности, отличные от тяжелых и трагических архетипов, которые в глубине нами руководят, меняются быстро, потому что в эпоху бесконечных коммуникаций нам быстро начинают продавать новые. Массовая информация, которая продает себя сама и в то же время зависит от мира продаж, ускоряет поверхностные обновления. Продается то, что ново: об этом знает мода, которая меняется каждый год, создавая потребность в покупках. Это не значит, что люди глубоко меняются. Простой пример, взятый из моей деятельности психоаналитика: благодаря публичным дебатам и расцвету рынка ранее недоступных удовольствий, сознательные идеи итальянцев по поводу секса существенно изменились при жизни последнего поколения в сравнении с предыдущим веком; но неосознанные запреты не ослабли с такой же скоростью, и в целом сексуальные проблемы существенно не изменились. Голова осовременилась. Ноги продолжают стоять на тысячелетиях католичества.

Когда мы говорим об отце, мы прекрасно знаем, что говорим не абсолютную правду. В реальной истории, особенно в современной, где мужские и женские роли быстро сближаются друг с другом, мы встречаем бесконечное количество промежуточных ситуаций. Существуют и матери - главы семьи, матери, делающие карьеру, к которым дети предъявляют сложные требования: следовательно, матери тоже страдают от «парадокса отца», и это осложнено тем, что дети также ждут от них преданности и округлости традиционной матери.

Легко, тем не менее, заметить, что подобное происходит, потому что этот тип женщины - современный «унифицированный родитель», в котором к личности матери прибавились черты отцовской фигуры. Так как мы занимаемся отцом не как физической личностью, а как психологическим принципом, эти случаи тоже нас касаются. Мы интересуемся всем, что характерно для этой фигуры -архетипа отца, - не только своими вариациями, и тем более не только

этими: «отцом, каким бы ни был его пол» *(father of whatever sex).* Мы добавили бы сюда: каким бы ни было его происхождение и поколение.

Если наш интерес - психологический, то мы хотим узнать коллективный *образ* отца, внушаемый нам бессознательным и той культурой, в которую мы погружены. Даже в тех случаях, когда мы будем говорить о реальных личностях, мы будем обращаться к сути, рисующей этот более общий образ. В зависимости от момента, эта фигура может воплощаться в мужчинах и в женщинах, в отдельных личностях и в группах. Нас интересует психический принцип, который для простоты мы будем называть «отцом» без уточнений.

Наше исследование об отце, таким образом, начинается с самых древних времен, которые мы сможем отследить. Наше исследование об отце, таким образом, начнется с самых древних времен, за которыми мы сможем проследить. Об истории отца уже написано много прекрасных трудов, но эти труды не касаются психологической эволюции отца с течением времени.

Об истории отца уже написано много прекрасных трудов, но не о его *психологической эволюции* со временем. Под психологией мы понимаем, по сути то, чем занимается аналитик: не столько убеждения и правила отца, которые и так у нас на глазах, сколько его глубинные образы и модели, часто бессознательные или забытые, но все-таки влияющие на него и поразительно актуальные.

С этим намерением связано своеобразное строение книги.

Мы не станем прослеживать историю образа отца век за веком, но сконцентрируемся на психологически решающих моментах. Это Греция, Рим, приход христианства, Французская революция и революция промышленная. Наконец, мировые войны и «семейная революция», которые делают заметными взаимное отдаление отца и детей.

Мы уделим больше внимания прошлому, которое не оставило исторических следов, мифам античности, чем религиозным убеждениям, которые, хотя бы формально, до сих пор остаются в силе. Само собой, эти последние также важны для понимания сегодняшнего отца. Но аналитика интересует прежде всего то, что наименее очевидно, «Ахерон», который Фрейд позаимствовал у Вергилия. Глубинная психология хочет понять, каким образом латы Гектора, Улисса или Энея до сих пор виднеются из-под галстука современного отца.

Рискуя домысливать что-то про периоды, не оставившие четких свидетельств, исследование образа отца заставит нас разрушить стены истории. Первая часть книги будет посвящена предыстории и зоологической эволюции, приведшей к возникновению отца-человека.

В происхождении отца переплелись природа и культура. Моногамная патриархальная семья, преобладающая в исторических обществах, -продукт культуры и, похоже, в природе не существует (например, среди человекообразных обезьян). *В отличие от* матери, которая дает ребенку жизнь самым очевидным образом, мужская особь, чтобы понять, что она также участвовала в процессе порождения, то есть превратиться в отца, обязана прежде обладать определенной способностью к размышлению. На взаимосвязь культуры и природы можно посмотреть и с противоположной точки зрения, в

том смысле, что не просто культура дала нам отца, но и именно появление отца (вместе с некоторыми другими новшествами, например, технологическими) дало нам культуру: окончательный выход из первобытного, животного состояния. В первой части книги мы восстановим этот процесс.

Отец - это конструкция, отец - это нечто искусственное, в отличие от матери, которая в мире людей продолжает свою консолидирующую и всепроникающую роль, характерную для мира животных.

Отец - это программа, - может быть, первая программа, - это преднамеренность, это воля (могло бы это соответствовать изобретению воли?) и, следовательно, навязывание своей воли. Эта его искусственность и, вследствие «недавнего» рождения, его относительно небольшой опыт, влекут за собой неизбежную невыгоду, как червяк в яблоке или шип у розы. Какой ни была бы видимость патриархальной культуры, отец, в сравнении с матерью, намного менее уверен в своем положении.

Даже если мы ограничимся рассмотрением млекопитающих, которые появились последними в процессе эволюции, женские особи и матери всегда были одним и тем же: женская особь знает, как быть матерью. Но млекопитающие мужского пола остаются таковыми и без того, чтобы быть отцами: за сотни миллионов лет только человек и только в последние десятки или сотни тысяч лет додумался до положения отца, что произошло без помощи соответствующего инстинкта.

На практике не эволюция животных, но только история (в смысле более обширной, включающем в себя предысторию) и психическое существование дали особи мужского пола качество отца, и он цепляется за него с решимостью, недоверием, агрессивностью и меньшей спонтанностью, чем мать - за свое положение. Потому что, если только история ему его дала, история может его и отнять. Так как мужчина не получил отцовство от природы, каждый мужчина должен научиться ему в течение своей жизни, и в течение жизни может снова забыть его. Именно с этой способностью забыть нам придется столкнуться.

Если отец более агрессивен и строг, чем мать, с детьми и с миром, это не личная болезнь отдельных отцов или даже поколений отдельных эпох, таких как буржуазный патриархат, - это истинное, структурное, изначальное положение вещей. Можно было бы сказать, что оно соответствует природе отца, если бы природа отца не состояла в преодолении границ того, что мы обычно понимаем под этим словом.

Таким образом, отец - это знали уже мифы, мы читаем об этом у Гомера, - носит броню, агрессивную и оборонительную, даже когда обнимает своего ребенка. Тот факт, что это объятие холодно и что ребенок реагирует на него с изумлением или страхом, - не уникальное происшествие: такова природа вещей.

Итак, мы указали на чувство, в котором отцы не признаются, - неуверенность, *внутренняя* амбивалентность отца. Она соответствует внешней - амбивалентным ожиданием детей от него, - тому, что мы назвали «парадоксом отца».

Во второй части книги мы обсудим отца классической Греции и Рима. В ответ на эту изначальную неуверенность греки отреагировали, перевернув вверх ногами видимость - видимость, но не глубинную суть, - проблемы,

изобретя превосходство отца над матерью: они обоснуют это в мифах и первых наблюдениях, которые будут претендовать на научность. Для древних греков отец - исключительный родитель ребенка. Мать, даже в период беременности, - только кормилица, которая его питает: у этой ложной науки есть последователи даже в современную эпоху. Не случайно, что греки в наше время считаются как началом европейской цивилизации, так и обществом, в котором отец больше всего возвышается над матерью.

Римляне делают следующий шаг: ставят отца на более высокую ступень в сравнении с ребенком. Но закон Рима говорит нам еще одну вещь, которая имеет ценность для отцов всех времен: даже законный отец должен совершить публичный акт, которым он подтверждает свое желание быть отцом ребенка. Эта норма, рожденная для выделения законнорожденных, неосознанно становится метафорой положения каждого отца. Чтобы быть отцами - в отличие, не перестанем повторять это, от того, чтобы быть матерями, - недостаточно родить ребенка, необходима также определенная воля. Но если отцовство - это решение, то каждое отцовство требует усыновления, даже если ребенок материально и законно был порожден этим отцом.

Все это подтверждает наше предположение: отцовство - факт психологический и культурный; физического порождения, в отличие от ситуации с материнством, недостаточно, чтобы его обеспечить. Если сегодня обряды римского права и не применяются больше, и отцовство по отношению к законному сыну считается само собой разумеющимся, это не мешает отцу проходить через тот же процесс: отцовство будет выражаться, создаваться и открываться не в момент рождения, а шаг за шагом в течение времени, в отношениях между отцом и ребенком.

Яркий и понятный образ этого процесса есть в одном классическом фильме, «Малыш» *(The Kid,* 1921). В начале фильма Чарли Чаплин прогуливается по темным переулкам, где помои невежливо выливают прямо из окна. Он встречает мальчика, которого не знает, но этот мальчик пробуждает в нем новое, незнакомое чувство. Он смотрит вверх, чтобы проверить, не упал ли этот мальчик сверху, вместе с мусором. Мальчик был похищен по ошибке, а потом два бандита его бросили. Но главный герой, который усыновит его, не знает и знать не хочет об этом, так как для него не имеют значения родители, в действительности породившие этого ребенка, словно ребенок начал существовать только после того, как его бросили и они встретились. Я полагаю, что унизительные переулки, дикое вторжение отходов, бандиты - все это удачно передает идею доцивилизованного состояния, в котором берет свое начало отец. Отцом его делает не то, что он физически породил сына, а встреча с ребенком, неожиданная, хоть рождение и имело место, и отличная от последнего, последующее усыновление и наконец выход из нецивилизованного состояния, зародыш общества, - отличное, повторяем, от дообщественного симбиоза ребенок - мать. Отец берет на себя ответственность за другое существо, добровольно, а не инстинктивно.

Мужчина и ребенок открывают для себя друг друга, потом между ними постепенно рождаются отношения, и это делает фильм кратким рассказом о рождении каждого отцовства и историей отцовства в целом.

Мужчина - скиталец, как доисторические охотники, которые, будучи кочевниками, изобрели семью. В попытках понять происхождение ребенка, он представляет себе, что он не с земли, из мира материи, а с неба, из мира разума, идей, воли. Ребенок сразу же пользуется защитой взрослого, но в свою очередь дает взрослому преимущества: тот начинает видеть мир по-новому, получает новое понимание, которого мужчины от природы не имеют, потому что, - мы увидим это позже, - среди животных только особи женского пола в состоянии учиться у детей. Признание, которое следует затем, мгновение за мгновением, символизирует именно то, что характерно для отцовства.

Является ли отец в буквальном смысле приемным или породил ребенка -не имеет значения с точки зрения встречи. Даже в последнем случае в период беременности он был полностью доверен матери, следовательно, отцу было представлено новое существо: для матери ребенок - тот, кого она носила в животе, отец не может проследить связь между спермой и ребенком.

Сейчас мы уже понимаем, что хотим взглянуть на ситуацию с точки зрения отца. До сих пор это случалось редко. Исследования о матери, кроме того, что их неизмеримо больше, написаны и с точки зрения матери и с точки зрения ребенка. Исследования об отце страдают от односторонности.

Так как мы обратимся к Греции, Риму и Европе, понятно, что это исследование евроцентрично и, в том, что касается происхождения Европы, затрагивает ее средиземноморские области. Эти места автор знает на личном опыте: не имея возможности исследовать все континенты, он счел естественным восстановить образ современного отца в этой области. В любом случае, изначально Средиземноморье распространилось на остальную Европу, потом Европа -на другие континенты. В формировании отца Западного мира южная Европа внесла очень важный вклад.

В третьей части этой книги мы обсудим некоторые аспекты отца, на которые оказали влияние христианская революция, протестантская реформа, американская и французская революции и мировые войны: но и здесь мне показалось правильным руководствоваться итальянской точкой зрения.

Наконец, много было сказано и написано об отце проблематичном, деструктивном. Отец патологичен и нарушает правила чаще, чем мать, как в целом это делают чаще мужчины, чем женщины. Мужчина ведет себя не как отец чаще, чем мать ведет себя не как мать.

Говорить о матери-чудовище - это чудовищно, это нечто исключительное. Говорить об отце-чудовище - сравнительно нормально. Но ступать на этот путь значит рисковать непониманием мира отца.

Здесь мы не хотим отталкиваться от патологий. Нас интересуют прежде всего нормальные отцы, которые, без сомнения, существуют, хотя их доля среди всех отцов меньше, чем доля достаточно хороших матерей. Мы предполагаем, что несмотря на трудности, такие отцы по-прежнему в составляют большинство.

Нетрудно ответить на возражение, что нет смысла говорить о том, что нормально и функционально; в отце ничто не функционирует без искусственности, без трудности, без амбивалентности и напряжения, так что именно этот нормальный отец переживает и вызывает патологии, достаточные

для того, чтобы оправдать это исследование. Четвертая часть книги будет посвящена нынешнему положению отца в повседневной жизни.

Если принять во внимание крайнюю противоречивость не проблематичного, а обычного отца, вместе со взрывной противоречивостью европейской культуры, которая распространила свой патриархат по всему миру, в постоянном колебании между философско-религиозной щедростью и экономическо-военным напором, удивительно не то, что некоторые главы истории не очень удались, а то, что цивилизация и история, несмотря ни на что, продолжает существовать.

Это оптимистическое открытие, которое, в конечном итоге, удивляет и, похоже, подтверждает мысль о том, что надежные отцы, «достаточно хорошие», несмотря на свою конституциональную неуверенность, были и остаются в немалом количестве. В горе и в радости, незаметно, они вершат историю человечества. Именно они - муравьи истории.

ЧАСТЬ I
Предыстория

Глава 1
Млекопитающие: животное начало без отца

По своей природе это — создание культуры.
А. Гелен

Откуда берет происхождение понятие отца?

Если вернуться вспять по течению времени, то, задолго до прибытия к его истоку, мы встречаем болото, в котором природа и культура смешиваются. Здесь исследование влечет за собой не ответы, а вопросы. Что в поведении отца инстинктивно, то есть присутствует без обучения? Что, напротив, является продуктом общества и правил, которые люди себе устанавливают? И когда человек впервые повел себя как отец?

Традиционно считается, что природа обладает феминным качеством, а культура — маскулинным. Как и в каждом стереотипе, в этом суждении есть и доля умственной лености, и доля правды.

Как и материнство, отцовство не заключено в одном мгновении. Оно означает не только порождение, но и долговременное пребывание отцом, сопровождающее рост ребенка. Но быть матерью значит естественно сохранять свое положение родительницы, зачавшей и выносившей ребенка, и после его рождения. Эти события плавно перетекают одно в другое в жизни каждой матери и в процессе эволюции вида. Быть же родителем мужского пола и быть отцом — это, с самого начала, две отдельные и разные роли.

В отличие от материнства, отцовство не может быть связано с физическим поведением и строиться на продолжении животного состояния и облечении его в формы, приемлемые для общества. Оно предполагает выбор и безвозвратный разрыв с исключительно животной жизнью. Отец не просто, как того требует традиция воспитания, вмешивается в жизнь ребенка позже, чем мать. Отец — институт отцовства — неизмеримо позже вмешивается в жизнь человечества. Он предполагает проблеск разума и принцип цивилизованности. Может быть — и мы поговорим об этом — он и есть принцип цивилизованности.

Время, в течение которого природа предшествовала цивилизованности, столь обширно, а длительность последней столь незначительна в сопоставлении с ним, что, хоть это уже много раз делалось, стоит пояснить это с помощью образного сравнения. Наблюдение этого несоответствия поможет нам понять, почему, несмотря на громадные психологические и общественные издержки, которые это влечет за собой, материнство обычно сопровождается поведением гармоничным и теплым, в то время как поведение отцов обычно менее предсказуемо и менее спонтанно.

Земле около 4,5 миллиардов лет. Если мы представим себе эту вечность как календарный год, то млекопитающие появились только в середине декабря,

первобытный человек — около 9 часов вечера 31 декабря, *Homo sapiens* — за десять минут до полуночи, *Sapiens sapiens* (который обладает уже нашими физическими чертами) — за три минуты до конца года, а культура неолита — в последнюю минуту. Сократ, Христос и все, кого мы считаем древними, жили в последние несколько секунд.

Сказать по правде, в течение немалой части этого периода не было не только человека, но и какое бы то ни было отцовство или материнство. Органическая жизнь образовалась приблизительно весной. Еще какое-то время прошло, прежде чем произошел переход от одноклеточных организмов к сложным, которые, для воспроизведения, не ограничивались делением собственных клеток, но вступали в связь с особью противоположного пола. Воспроизводство посредством деления приводит к образованию организмов, чей генетический состав идентичен генам родителя: оно, таким образом, не благоприятствует эволюции, приспособлению к изменениям окружающей среды. При участии в воспроизведении двух полов каждый раз получается новая генетическая комбинация. Это увеличивает вероятность выживания данной формы существования, однако создает проблемы, которые дошли до нашего времени. Жизнь будет вечно делиться на мужскую и женскую.

Когда это разделение произошло и постепенно началась эволюция человека как вида, роль женщины оказалась более определенной и стабильной, чем роль мужчины. Наша поговорка: *Mater semper certa, pater nunquam,* — мать всегда уверена, отец никогда, — может быть отнесена не только к ребенку, который спрашивает, кто его родители, но и к родителю, который спрашивает себя, что ему делать с ребенком. У высших животных мать всегда уверена, в том смысле, что она знает, кто ее дети. Отец этого не знает.

Мы знаем, что в своей бесконечной, колеблющейся медлительности лестница эволюции прошла через бесконечное количество вариантов. Но на своих последних этапах она дала разделившимся полам направление развития без возврата, что повлияло не только на биологию, но и на развитие общества и цивилизации.

Сделав жизнь более совершенной, эволюция сделала отцов маргиналами.

Множество видов рыб доверяют особям мужского пола заботу об икре. В этих условиях речь идет о совместной заботе о потомстве. Женская особь мечет икру и, выполнив свою задачу первой, может удалиться. Особь мужского пола затем оплодотворяет икру, так что более «естественно», что он отвечает за последующую заботу о ней.

Но этот естественный ход событий становится обратным на суше. Не имея воды, в которой могли бы развиваться икра или сперма, новые формы жизни используют внутреннее оплодотворение. При таком типе оплодотворения особь мужского пола заканчивает плодотворяющую деятельность первой, и поэтому может удалиться, в то время как у особи женского пола есть еще обязанности.

Это физиологическое усовершенствование скрывает в себе экзистенциальную болезнь, которая повлияет на поведение мужской особи, мешая ей стать отцом.

Внутреннее оплодотворение переносит важные события в тайный цех: тело женщины включает в себя яйцеклетки и сперму, а мужская особь не

контролирует происходящее. Время между соитием и рождением потомства, которое эволюция делает все более долгим, внушает новую неуверенность: что случилось? Это потомство действительно его?

Самый мощный импульс, которым руководствуется в своем поведении животное, побуждает родителя передать максимальное количество своих генов потомству. Так как дитя может принадлежать другому, у особи мужского пола мало поводов оставаться рядом с самкой, ожидая родов. Самцу выгоднее использовать это время, чтобы оплодотворять других самок, что повышает его шансы передать свои гены.

При размножении в природном состоянии самцы любого вида животных обладают количественными функциями. Каждый из них способен породить миллионы сперматозоидов. В теории небольшого количества самцов хватило бы, чтобы населить землю. На практике, при прочих равных условиях, естественный отбор поощряет самцов неверных, соблазнителей или насильников, потому что они способны передать свое генетическое наследство большему количеству потомков: которые, в свою очередь, будут соблазнителями и так далее.

Самка играет качественную роль. Количество потомства, которое может породить одна самка, очень ограниченно. Самке, которая ведет себя как самец-обольститель — то есть преждевременно оставляет ребенка, дает меньшее потомство, потому что у ее детей меньше возможности выжить. Она не может, в отличие от самца, компенсировать их потерю, тут же породив других: она должна учесть время формирования новых яйцеклеток и период беременности. Новорожденные, даже если выживут без матери, унаследуют от нее генетически эту тенденцию и подвергнут риску собственных детей, что образует порочный круг.

Короче говоря, матери не могут позволить себе быть плохими матерями; отцы же могут позволить себе вообще не быть отцами. По законам зоологии, уже в животном мире для выживания от самок требуется та большая стабильность и приверженность семейности, которая отличает их от мужчин в человеческом обществе.

Но вернемся к эволюции.

Если рептилии в целом не следят за развитием своего потомства, то у птиц самка и самец образуют стабильную пару, которая вместе строит гнездо и растит птенцов. У большей части страусов и пингвинов яйца высиживают самцы. Для других птиц характерно еще более удивительное поведение, не природное, а протокультурное. Например, пение, характеристика самцов, — не врожденное умение: ему должен научить отец. Поэтому птицы одинаковых видов в разных местах поют немного по-разному; у них существуют «диалекты» с местными оттенками, так как пение подчинено не инстинкту, а традиции, которую хранили и передали им отцы.

Далее, создавая творения, формирование которых во чреве и последующий рост становятся все более сложными, эволюция продлевает симбиоз ребенка с матерью на период после рождения.

250 - 200 миллионов лет назад появляются млекопитающие. Значение матери возрастает и распространяется на период роста детенышей. Теперь они в течение долгого времени зависят от нее в плане кормления.

Около 70 миллионов лет назад появляются приматы, новорожденный которых лишен какой бы то ни было автономии. Диада мать-ребенок становится еще более замкнутой друг на друге и еще больше отделяется от остального мира. Общественная жизнь обезьян уже зависит не только от физиологических функций: зарождается культура, следующая исключительно путем матерей. Длительное кормление молоком, которое мы наблюдаем у больших обезьян, служит не только физиологии, но и протокультуре. Носимый долгое время матерью, детеныш воспринимает мир сходно с тем, как воспринимает его человеческий младенец. Когда он обретет автономию, помимо инстинкта, он будет отличаться поведением, которому его обучили, — например, пользоваться орудиями, которыми, как он видел, пользовалась его мать, — и это поведение будет не менее важным для его существования, чем инстинктивное.

Все обезьяны учатся, наблюдая. Очевидно, что малыши учатся лучше, чем взрослые. Если самки в зрелом возрасте учатся лучше, чем самцы, это объясняется не их врожденными способностями, а их симбиозом с детьми. В самом деле, мать не только учит детей, но и учится у них. Отношения между самкой-обезьяной и ее детенышем - это первый тип отношений, который не полностью принадлежит сфере природы; это первая нить, из которой ткется полотно культуры, которое распространяется как вверх, так и вниз.

Самцы, напротив, в ходе эволюции дают все меньше. Они продолжают только поставлять капризную и непостоянную субстанцию - сперму.

На высших ступенях лестницы эволюции дремлют самцы больших человекообразных обезьян: они умны почти как глупый человек (их IQ часто превышает 80), но совершенно отсутствуют как отцы и полигамны как партнеры. Шимпанзе и гориллы, как все животные, наделенные силой и оружием, внимательны и нежны к маленьким. Они могут играть с ними. Они защищают территорию, то есть опосредованно самок и малышей. Но они не узнают своих детей. Не строят дома. Не кормят маленьких'. Единственная пища, которой они могут поделиться, - это мясо большой добычи, на которую они вынуждены охотиться сообща и которую должны распределить, потому что она испортится быстрее, чем они сами способны съесть ее целиком.

Мы еще не говорим о психологии. Мы следим за формированием процесса на биологической основе. Эволюция приблизилась к человеку. Но отец вернулся на более низкий уровень, чем у некоторых видов рыб.

Глава 2
Сексуальность крупных обезьян

Культура опирается не на пустоту, а на первую
докультурную сложность, то есть общество приматов.
Э. Морен, Le paradigme perdu

Когда человек выделился в отдельный вид, отличный от человекоподобных, ни одна обезьяна не была такой, какой мы ее наблюдаем сегодня. Почему эволюция пошла такими сложными окольными путями к возникновению человека, создав и рептилию, и лошадь, но не шимпанзе или гориллу? В то время эти наши ближайшие родственники имели не такой облик, как сейчас. Тем не менее, изучение человекообразных обезьян являются непреодолимым искушением для тех, кто исследует далекое прошлое человека.

Крупные обезьяны (понгиды: орангутанг, шимпанзе, карликовый шимпанзе, горилла) могли бы исчезнуть в XX веке, и о них немногие бы жалели: они обязаны своим выживанием отчаянному любопытству западных людей к собственному происхождению. Как живые экспонаты до человеческого существования, они позволяют нам, постживотным, посмотреть на себя, как в зеркало.

Эти обезьяны очень близки к нам физически, но в том, что касается ролей самца и самки, они похожи не на нас, а на более простых млекопитающих, с которыми у нас мало общего. Это означает, что в течение очень долгого времени, за которое они эволюционировали до нынешней формы, эти роли оставались достаточно стабильными. Следовательно, вполне вероятно, что мужские и женские роли обезьян в настоящее время не очень отличаются от ролей наших общих предков. Все побуждает предположить, что существенные изменения в мужском и женском поведении - явление относительно недавнее и присуще только человеку. Есть риск неточности в том, чтобы использовать наблюдения за обезьянами для того, чтобы проследить эволюцию сексуальности от животной до человеческой, но этот риск кажется приемлемым. Ископаемые находки не позволяют судить о сексуальности вымерших животных или доисторических людей. Обезьяны позволяют нам наблюдать реальное поведение.

У разных видов рождается примерно одинаковое количество самцов и самок. Из этого равновесия можно было бы заключить, что моногамия должна быть всеобщей и естественной: что природа сочетает одного самца с одной самкой, и наоборот. Подобная фантазия кажется неосознанной попыткой перенести в зоологические законы (биологию) закон общества (то есть норму моногамии), которая появилась намного позже". Среди млекопитающих всего 3 процента моногамны.

Для людей правилом является то, что каждая моногамная пара имеет детей. У больших обезьян ситуация совсем иная. Все особи женского пола рожают потомство. Среди самцов же привилегия порождения потомства сосредоточена в руках самых сильных, или же, если быть более точным, в их гениталиях. У многих видов обезьян самцы бьются друг с другом за право овладевать самками, обеспечивая порождение более сильного потомства, которое является детьми победителей.

Было бы ошибочно считать, что эта борьба — единственный компонент естественного отбора. Решения принимают не только самцы, и роль играет не только их сила. Хотя она играет свою роль, ей противопоставляются другие факторы: даже сильный самец не может привязать к себе больше определенного количества самок и контролировать территорию, больше определенных

размеров. Сами самки также иногда заявляют о своих предпочтениях, что приближает общество понгидов к человеческому. В особенности бонобо, наименее известные среди крупных обезьян, создают общество, в котором мало соревнования.

Однако конкуренция между самцами остается решающим фактором в разделении крупных обезьян на группы. Она проявляется постоянно в группах, где много самцов; но есть и в тех группах, которые состоят из одного самца и многих самок (группах-гаремах), только там она менее заметна. Она просто имела место до того, как группа сформировалась: борьба уже состоялась, победителем из нее вышел один самец, который создал семью. Унизительная роль исключенных — объединение в группы, состоящие из одних самцов, которые держатся неподалеку от гетеросексуальных групп, ожидая, что, как время от времени случается, старый главарь окажется смещенным, уступив место более молодому и позволив подняться на ступень остальным, стоящим в очереди. Но очередь самца может так и не подойти, либо потому, что он проигрывает битвы за создание семьи, либо потому, что те, кто уже включены в гетеросексуальную группу с большим количеством самцов, сталкиваются с препятствием со стороны более сильных и им не удается создать пару. Естественный закон отвергает такого самца как индивидуума. Пусть он умен почти, как человек, он преходящ, как древесный лист.

Вероятно, мы неправы, когда оцениваем существование обезьян с точки зрения наших гражданских чувств. Мы думаем, что, раз естественный отбор сохранил жизнь большому количеству бесполезных самцов, они должны иметь общественное значение, помогать группе. Естественно, самцы крупных обезьян выполняют некоторые социальные задачи, но не надо их переоценивать. В том, что касается добычи пропитания и заботы о потомстве, как мы уже говорили, они делают немного. К тому же, крупные обезьяны обоих полов отличаются ловкостью и физической силой, и в природе у них мало врагов. Так как они живут в группе, самки могут и сами защитить себя, не рассчитывая на самцов.

Это простое наблюдение приводит нас к важному и отчасти трагическому заключению по поводу положения самца среди млекопитающих, даже на самом близком к человеку уровне. В то время как существование самки оправдано на уровне индивидуальности — как правило, у каждой из них есть дети, — и здесь в своем зародыше присутствует индивидуальная психология, — как мы видели, среди крупных обезьян быть матерями не значит только следовать инстинкту, — существование самцов не имеет смысла на индивидуальном уровне. Они - просто генетический резервуар для следующего поколения.

Как большая часть сперматозоидов, составляющих поток спермы, исчезает в никуда, так и большая часть самцов рождаются сами для себя и существуют никому не нужные, как тупик на дороге жизни. Они играют лишь роль ступени, по которой поднимаются более сильные, побеждающие в борьбе за воспроизведение. Взятая целиком, эта копошащаяся мужская сила никчемна, как и ее океан спермы.

Как правило, самки приматов пребывают в течке только краткий период; и только в течение этих дней они готовы к спариванию. Они спариваются с разными самцами или с одним и тем же несколько раз. Когда этот период

заканчивается, они с большой вероятностью оказываются беременными, Они будут готовы к следующему сексуальному соитию, когда ребенок будет отнят от груди. С такими медленными ритмами, подсчитано, что самка шимпанзе — вида, наиболее близкого к нам, — может спариваться только в течение одного процента своей жизни. Другая информация менее категорична, но все равно речь идет о большой диспропорции". Только мало известные бонобо, похоже, отходят от этой модели.

Напротив, все самцы непрерывно ищут сексуального соития. Это означает, в теории, что на одну готовую самку приходится сотня готовых самцов. Возникает мысль, что обезьяны-самцы далеки оттого проблеска цивилизованности, который горит в их самках, потому что поглощены тьмой постоянного сексуального желания. Громадное несоответствие между количеством самцов и самок, готовых к соитию, казалось бы несправедливым по отношению к самцам, если бы не знали, что у природы нет хороших или плохих законов, есть только функциональные. Сексуальная связь - это также спрос и предложение, как в экономике. Рыночные законы издеваются над благими намерениями и, если им удается превращать в ничто идеалы христианства и социализма, они, без сомнения, в состоянии унизить и самцов-обезьян.

Это отсутствие равновесия могло выровняться только при эволюции. Так и случилось.

Глава 3
Доисторический горизонт отцовства

Позади того незначительного фрагмента истории, который мы знаем — несколько тысяч лет — и той части предыстории, от которой остались следы, — еще десяти или двадцати тысяч, — находятся миллионы лет, в течение которых жили первые люди: о них мы почти ничего не знаем, но стараемся домыслить почти все.

Этот период в свою очередь — незначительный фрагмент истории Земли. Но именно тогда эволюция постепенно отделила нас от животного и превратила в людей. Наше желание найти предысторию и отчаянная попытка проникнуть за пределы известного нам временного периода напоминают поведение сирот или усыновленных детей, которых, когда они растут, терзает любопытство насчет их происхождения.

Этот голод по родословной неутолим. Заглянуть назад, к истокам, — это не только необходимость знать. Это также необходимость создания нарратива. Каждое общество — и патриархальное в особенности — заявляет о праве на собственные мифы и укореняет их в космогонии, рассказе об изначальном происхождении всего, который описывает происхождение мира и пути, по которым он пойдет, а также обозначает горизонт, нашего знания о себе с того момента, до которого вообще ничего не было. Эта выдумка психики лучше подходит нам, чем абсурд, или чем представление о себе как возникших только по химической причине, во времена, когда Бог был далек. О великой тайне говорят даже тогда, когда ее невозможно узнать, не ради спекуляций, а чтобы

заполнить рассказом пустое пространство, как детям нужна сказка, чтобы без страха отправиться навстречу ночи.

Если ученая дисциплина претендует на то, чтобы заменить библейский миф Сотворения, то она может сделать это только, унаследовав в какой-то мере торжественность мифа. Неважно знать, насколько научны ее доводы. Важно понимать, что это оценивается не с точки зрения буквальной точности, а с точки зрения смысла. Подобно Гесиоду, который описал изначальную ночь богов, мы тоже продолжаем говорить о ночи человечества, наследниками которой мы являемся. Задавая вопросы о нашем происхождении — неважно, временном или метафизическом, — мы узнаем кое-что о себе самих.

В неизвестной нам точке человекообразные возникли в русле реки эволюции, плыли по ее течению много миллионов лет в палеонтологической бессознательности, чтобы показаться на берегу в виде человека. За это время сформировалась не только новая физическая конституция/Произошла самая впечатляющая культурная трансформация живого существа, если только мы можем применить к первобытному человеку такое современное слово, как культура. Под ней мы понимаем сегодня, в том числе приспосабливание или поведение людей, пусть самое простое, но происходящее не от врожденного инстинкта. Это существо появляется, держа в руках первые каменные орудия. Он заложил и первые камни в фундамент общества. Вместе с биологической основой готовится общественная основа психической жизни.

В последнее время скорость технического прогресса невероятно возросла. Напротив, прогресс общественный, как представляется, был самым интенсивным в самом начале. В самом деле, человечество вступило в палеолит — может быть, 2 миллиона лет назад, — с каменным топором, и только 3000 лет назад — последние полтора тысячелетия этого периода — научилось обрабатывать железо; только два века тому назад — десятитысячная часть этого периода — заменило мускулатуру станком, увеличивая свою силу в неисчислимое количество раз. Напротив, в палеолите, а может быть, и еще раньше, человек обогнал животное сообщество, изобретя моногамную семью и отца. Сегодня, через 2000 лет после рождества Христова, он живет с теми же общественными правилами, или, может быть, с тем, что от них осталось.

Так мы, по крайней мере, считаем. В самом деле, из свидетельств у нас есть лишь редкие остатки скелетов, и никаких свидетельств об обществе или семье до возникновения письменности, рисунка и скульптуры. На доисторических, граффити представлены мужчины и женщины одни или в группах — например, охотники, — но не отношения пар. Начало жизни семьи могло бы быть восстановлено по первым жилищам или телам, из которых было бы видно развитие сексуальности. Но хижины не сохраняются так, как камень, а генитальные аппараты — так, как кости. Мы можем видеть, как доисторический мужчина убивал мамонта, но не как он обнимал женщину. Чрезвычайное событие было прославлено больше, чем обыденное, насильственное — более, чем любовное.

В течение долгого времени мужчины вели себя так, как будто семья существовала от начала времен, как миф и боги. Кроме того, даже в первых исторических документах ничего не говорится о человеческом обществе в его

начальной фазе, о зарождении семьи. Как и религия и язык, она, судя по всему, была очень сложной и древней. Как и они, она должна быть плодом бесконечных приспособлений, о которых мы не можем ничего знать.

Только век назад возникла идея, что неандерталец, которому несколько десятков тысяч лет, был отсутствующим связующим звеном между человеком и обезьяной; сегодня австралопитек, который древней на два миллиона лет, был переименован в австралоантропа и считается уже человеком. Горизонты вида, похоже, простираются все дальше, по мере того, как мы его изучаем.

Та форма индивидуальной жизни, которую мы называем психикой, также не могла сразу проявиться в своем нынешнем виде. Переход от животного разума к человеческому был крайне медленным и постепенным и является крупнейшим эволюционным достижением этих миллионов лет. Но, в отличие от телесных изменений, эволюция психики не оставила следов, за исключением последнего, неуловимого завершения своего развития: тех нескольких тысячелетий, в течение которых слово стало письменным, а искусство — вещественным.

На доисторическом горизонте человеческой семьи и института отцовства мы наблюдаем австралопитеков. С допустимым приближением, это начало соответствует прямохождению, стабильному использованию орудий труда и преображению рта как средства агрессии в рот как средство общения. Мы можем взять австралопитека как исток, потому что он эволюционирует не только телесно. Хотя изменение челюсти и позвоночника являются биологическими, они объясняют уже не только внешнюю адаптацию к физической среде. Представляется, что у этого до-человека сформировались намерения: его взор хочет видеть дальше; его рука хочет освободиться, чтобы брать предметы; его рот хочет издавать звуки, которые были не просто криком. Это потребности не были осознанными, но и бессознательными и чисто инстинктивными они тоже не были. Более того, разные потребности представляются согласованными и заставляют думать об общей цели: область, в которой они соприкасаются, станет тем, что мы называем психикой.

В этот туманный период происходит и второе решающее преображение, в котором биологическая мутация и обычай образуют неразделимое единство. Формируется не только человек отличный от животного, но и мужчина и женщина отличные друг от друга.

Животное сообщество преобразилось в человеческое, перейдя от беспорядочных совокуплений к первым формам пар. Закон естественного отбора таким образом был свергнут первым гражданским законом, хоть и далеко не на сознательном уровне.

У всех видов тип спаривания — моногамное или полигамное, постоянное или временное, — наследуется генетически. Только человек освободил свою семью от генетической зависимости. Он может выбирать между бесконечным числом форм спаривания — моногамное или полигамное, постоянное или прерываемое разводами, — так же, как он освободился от давления окружающей среды и стал единственным видом, способным выбирать себе место жительства на любой широте. С возникновением пар, каждый мужчина, как и каждая женщина, порождает себе потомство. В этом смысле рождение человеческого

общества — это революция, устроенная мужчинами: начало их индивидуального функционирования. И если всё рождают детей, более любимы естественным отбором те, кто заботится о детях: кто становится не просто мужчинами, но отцами. Уже из зоологии мы знаем, что самцы моногамных видов очень активно проводят время с малышами. Но здесь, впервые, этого требует не только инстинкт. Однажды протомужчины договорились не атаковать патриарха, у которого была монополия на женщин (как полагал Фрейд), а напротив, перестать нападать друг на друга и распределять между собой женщин согласно правилам. Антропологические реконструкции говорят нам именно об этом: самые элементарные законы общества, самые простые и самые древние, имеют отношение к распределению женщин.

Норма с этого момента изменилась: чтобы зачать, мужчина должен не соревноваться, а породить жизнь, в уникальном смысле зачать ее и вскормить, подобно тому как всегда это делали женщины. Но тело и инстинкты мужчин не имеют в распоряжении столько времени, чтобы биологическая эволюция пришла в согласие с этой новой задачей. Могла бы природа требовать от женщин кормления грудью, не дав ей грудь? То, что происходит с мужчиной, не намного лучше. Он приобрел индивидуальное значение, потому что передаст что-то от себя следующим поколениям, но заплатил за это противоречием между способностью биологической и способностью психологической. Может быть, поэтому, позади его оружия и под его униформой ощущается неуверенность, которая для его подруги не характерна.

Глава 4
Прыжок в сторону отцовства

> Великое явление, которое готовит появление человека и приводит, как мы считаем, появлению Homo sapiens, — это не «убийство отца», а рождение отца.
>
> *Э. Морен, Le paradigm perdu*

Несколько миллионов лет тому назад, в Африке, в зоне с богатой растительностью, обитали предки людей. Или, если мы предпочтем представить их себе, люди-обезьяны, так как их характеристики должны были быть похожи на те, которыми обладают современные человекообразные обезьяны.

Их спаривание зависело от течки самок, как до сих пор происходит среди животных. Постоянных союзов между самцом и самкой не существовало. Они питались преимущественно листвой и плодами, для сбора которых не требовалось ни перемещений, ни организаций в группы. Общественная жизнь, вероятно, приобретала форму небольших групп, как это происходит у большинства человекообразных обезьян.

Ходили они на четырех ногах, но уже умели принимать вертикальное положение. На границах лесных районов они начали открывать для себя

саванну, где прямое положение позволяло видеть дальше и двигаться лучше, и постепенно эволюция выбирала более длинные нижние конечности.

В подобных условиях верхние конечности освободились для того, чтобы собирать и использовать предметы. Когда их использование стало привычным и наши предки поняли, что выгодно собирать и хранить полезные предметы, руки открыли для себя новую функцию: транспортировки. И самым важным, что могли переносить наши предки, были дети.

Материнский таз, модифицировавшийся с приобретением вертикального положения, принуждал к тому, чтобы период беременности был короче. Выращивание же детей становилось все более долгим, в основном потому, что увеличивались размеры черепа: естественный отбор делал мозг более объемным, чтобы он мог координировать все более сложные действия. Результатом стало нечто вроде преждевременных родов. Ребенок, достигший в материнском чреве полного развития, рисковал бы умереть вместе с матерью. Не сформированный полностью, он рождался легче.

Период роста и зависимости от взрослых удлинился и потребовал более долгого ухода за ребенком. (В то время как детеныши других видов часто сразу могут ходить, человеку нужны годы, чтобы научиться это делать). Это продолжалось все дольше, потому что фазы последующего развития в свою очередь удлинялись. Человек сегодня — единственный вид, который, похоже, никогда не достигает предела своего развития. В отличие от всех животных, он сохраняет детские характеристики (большая голова, мало волос и так далее), даже достигнув периода половой зрелости. Этот факт изначально был изучен как зоологическая особенность, называемая неотенией, потом — также как характеристика поведения. Нас же это интересует как психологическое качество. Даже во взрослом возрасте люди склонны оставаться неутолимо любопытными и беспокойными: они, таким образом, сохраняют психологическое поведение, характерное для фазы роста. Все неврозы и триумфы человека — в этом. Это делает его отличным от животного больше, чем какая-либо телесная характеристика.

Но вернемся к новорожденному, который впервые не был автономным. В этих условиях у матери должны быть свободны руки, чтобы носить его и заботиться о нем. Она не может, как обезьяна, передвигаясь на четырех конечностях, сажать его на загривок; детеныш не может и цепляться за шерсть, потому что наши предки стали ее терять. Когда предок человека поднялся на ноги, свобода рук стала не столько возможностью, сколько необходимостью; без нее не выжили бы их дети. Мы не должны удивляться тому, что наша рука, в отличие от руки обезьяны, имеет важную эротическую функцию: она рождена как раз для того, чтобы нежно касаться другого тела. Хотя обычно мы представляем себе первые человеческие руки как руки мужчин, которые делают первые орудия труда, им предшествовали руки женщин, которые несли ребенка.

Здесь, вероятно, берет начало еще одна человеческая характеристика: глубокое разделение обязанностей полов. Если руки матери были заняты детьми, то о питании и защите должны были позаботиться мужчины: и, может быть, поэтому и с того момента мы можем начинать звать их отцами.

На открытом пространстве жить было опаснее, но жизнь предлагала больше возможностей, стимулируя разум наших предков. Сойдя с деревьев и выйдя на открытую равнину, они могли встретиться с крупными опасными зверями; это способствовало кооперации с целью защиты и использованию предметов в качестве оружия. На других животных наши предки стали охотиться, появилось новое питание, богатое протеином, которое заменило вегетарианское: в свою очередь, охота на более открытом пространстве была благоприятна как для освоения оружия, так и для сотрудничества в этой области.

В нескольких местах обнаружены хорошо сохранившиеся останки человеческих предков, живших два миллиона лет назад. Размеры их мозга были скорее обезьяньими, чем человеческими, но у них были орудия труда и, как мы полагаем, нечто вроде общественной жизни. Когда защитой стали заниматься руки, освободился также рот, исчезли большие и агрессивные зубы обезьян.

Изменения телесного строения, общественной жизни и взаимной поддержки сопровождались глубокими видоизменениями отношений между мужчинами и женщинами, что в свою очередь способствовало эволюции и ускоряло ее.

Мы уже говорили, что не можем знать дату этих решающих изменений. Но мы должны хотя бы представить себе эти создания, которые именно тогда начали иметь какое-то ментальное представление о себе. Подумаем о первых окаменевших останках, которые до нас дошли. Речь идет о двух протолюдях, явно прямоходящих, и с ними третьем, поменьше. Их останки сохранились вместе, в течение долгого периода времени. Они были найдены в Летоли, на территории нынешней Танзании, и им не менее 3,5 миллионов лет. Мы не знаем, случайно ли такое сочетание, или это действительно настоящая семья — отец, мать, ребенок.

Наиболее развитые на тот момент обезьяны, похоже, находятся на пороге разделения обязанностей между самцом и самкой. Охота, защита территории, война с соседними группами — это прежде всего задачи самцов. Так как их общество, вероятно, похоже на общество предков людей, и так как разделение труда сегодня характерно для всех обществ, мы можем считать, что представители двух полов продолжали специализироваться в течение эволюции, ведущей их к человеку: мужчины в области охоты, женщины — в сборе плодов на небольшом расстоянии-, к чему их вынуждало присутствие детей (в самых примитивных человеческих группах кочевников так происходит до сих пор).

Так образовывалось общество, руководимое правилами, в котором существовали также некоторые формы обмена. Питание мужских и женских особей было разным, но, несмотря на специализацию, оставалось уравновешенным именно благодаря обмену между продуктами, добытыми мужчинами и женщинами. Поиск уравновешенного питания не представляется особенностью общества: он уже присутствует на уровне инстинкта. Среди обезьян шимпанзе, которых наблюдал Гудхолл, ели мясо и некоторое количество листвы. Но с разделением обязанностей между полами это индивидуальное равновесие становится частью равновесия формирующегося общества: оно входит в отношения между отдельными индивидуумами, способствуя их обще-

нию. Таким образом, даже привычки питания становятся частью холста, из которого ткется семья, потому что малыши получают растительные продукты от матери и мясо — от отца.

Обладая подвижностью и первым оружием, совершенствуя способность действовать сообща, мужчины приносили добычу все больших размеров и охватывали все большую территорию. Хотя неизбежно они употребляли мяса больше, чем женщины, — интересно отметить, что и сегодня мужчины едят его больше, а у женщин чаще встречаются вегетарианские наклонности, — они вряд ли могли употребить его все: в жарком климате Африки мясо хранится недолго. Используя недавно приобретенные навыки переносчиков, мужчины начали относить часть мяса женщинам и детям. Неважно, если сначала так поступали не все: эта тенденция существенно улучшала питание и возможность выживания детей. Этот жест был, следовательно, благоприятен для естественного отбора. У отцов, которые так поступали, было больше потомства. Те, кто продолжал вести себя как отцы-обезьяны и не делился мясом с детьми, имел меньше шансов на выживание. Их количество уменьшалось.

Таким образом возник новый тип поведения. В отличие от понгидов, которые съедают добычу на месте, мужчина научился носить ее домой. Теперь он был не просто поставщиком спермы. Он не только сближался с женщиной в кратком акте зачатия. Он стал присутствовать в ее жизни постоянно, благодаря своим охотничьим экспедициям.

Занятие мужчин более сложными охотничьими предприятиями способствовало и усложнению их психического устройства. Животное охотится, потому что добыча стимулирует его органы чувств; после какого-то времени, в течение которого его слух, взгляд или обоняние больше ее не воспринимают, оно перестает ею интересоваться. Предок человека начал следовать путем психическим, а не физическим; у него в сознании образ животного, на которое он охотился, сохранялся и тогда, когда его не воспринимали органы чувств. Лучшая память делала вероятным то, что, в группе охотников все более организованной и многочисленной, кто-то сохранит контакт с добычей; охота могла продолжаться более долго, вплоть до достижения успеха, награждая того, кто развивал постоянство, память, способность общаться с товарищами по предприятию. Они добивались все большего.

В этот момент было психической работой не только преследование жертвы, но и возвращение к месту отправления, которое, после долгой охоты, оказывалось за пределами видимости. Естественный отбор поощрял память, внимание к деталям, которых больше не было перед глазами, верность умственному образу, который зрачок передавал мозгу, — все это способствовало выполнению второй части задания, возвращению в место отправления. Успех человека в этом занятии должен был решить, закрепится человек на Земле, как повелела ему Библия, или исчезнет, как случилось с динозаврами. И он добился поразительного успеха. И психологическая реконструкция, и биологическая эволюция говорят нам, что возвращение мужчин домой стало обычным делом и было не просто инициативой группы. Начали формироваться пары и семьи как ячейки общества.

При растущем разделении обязанностей тот, кто не возвращался, покидал свое потомство, лишая его мяса и мужской защиты. Общий режим питания и безопасность малышей, которые все более долго были подвержены опасностям саванны, требовали, чтобы мужчины, среди которых возрастала привычка уходить, выработали привычку возвращаться на место, с которого они уходили. Эти прежде кочевые существа открыли для себя необходимость постоянного места. И, так как охота и сбор плодов предполагают определенные кочевья, этим местом, закрепленным и надежным, не могло быть географическое место. Речь шла о месте психическом. Так они открыли для себя возвращение в семью и тоску по ней, которая его предвещает: мучительную пустоту удаленности от своей подруги и детей, желание быть с ними рядом. Может быть — скажем мы негромко, это слишком сильное слово, — они изобрели любовь. Это не было чистой потребностью, потому что и тогда, как и сегодня, трудно отделить ее от контроля и власти. Но это была потребность и связь, которые раньше отсутствовали, и впервые возникли в психической жизни.

Возвращение было изобретено раньше, чем сама семья. Одним жестом, очень медленно, предки людей объединили основы жизни психической и общественной. Появление отца совпало с появлением возвращения и намерения. Это была конструкция во времени, и с нее началась новая эпоха.

Мы не знаем, сколько поколений понадобилось, чтобы новое поведение стало постоянной характеристикой вида. Отчасти успех аналитической психологии объясняется гипотезой архетипов, всеобщих тенденций психики: но мало гипотез было выдвинуто насчет их происхождения [0].

Что касается поведения отца, то мы знаем лишь, что однажды оно появилось, распространилось, закрепилось. Оно принадлежит всем известным человеческим обществам за одним лишь крохотным исключением [1].

Заря психического пространства, которая побуждала исследовать саванну и сражаться со все более крупными животными в экстазе покорения и познания, была не просто голодом, который утоляли наши предки, с нее началось движение к более сложной структуре. Уйти и вернуться; жажда открытия и постоянства. Если бы она породила только любопытство, потребность в исследовании, в победах, у мужчин не появилось бы новой тенденции. Этот вариант темперамента стал бы тупиком эволюции, как потому, что среди новых искателей приключений повысилась бы смертность, так и потому, что они не вырастили бы детей себе на смену. Но не только. Они столкнулись бы с психической катастрофой: лишенный адекватного противовеса и сдерживающего момента, односторонний интерес к приключениям привел бы к нарушению темперамента и умственной нестабильности. Ничто не мешает нам представить себе, что эволюция, предлагающая безграничное количество новых вариантов, породила лиц, посвятивших себя исключительно исследованиям; но мы должны в то же время представить себе, что они погибли даже не от клыков естественных врагов, а от умственного взрыва, от смятения, от палеобезумия, к которому привела бы жажда новизны. Сужение потока эволюции было преодолено только тогда, когда психика расширилась и подражала природе, на которую наложилась: когда предпочла держаться в своих границах, придав себе гомеостатическую функцию; когда установила и реку, и плотину. В прошлом

природный отбор наградил женщин, которые, следуя пути инстинкта, посредством видимой течки привлекали к себе максимально возможное количество мужчин, чтобы была возможна беременность. И мужчины, устремляясь с наибольшей скоростью к доступной женщине и побеждая соперников, увеличивали вероятность того, чтобы стать тем, от кого забеременеет женщина.

Когда мужчины стали специализироваться на охоте, а женщины — на сборе плодов, все изменилось. Теперь отбор благоприятствовал тем женщинам, чей менструальный цикл заменил более откровенную течку и чья сексуальная доступность была более длительной: не потому, что это увеличивало вероятность зачатия — продолжительность периода оплодотворения в рамках цикла не подверглось сильным изменениям, — но потому, что таким образом, помимо задачи передачи жизни новому поколению, сексуальность начала приобретать роль в скреплении семьи: стабильных отношений пары. Эти отношения стали революционным новшеством, и изменения в сфере сексуальности способствовали этому. Они стали постоянными — стали формой общения, что в свою очередь благоприятствовало улучшению качества и глубины отношений между людьми. Сексуальность стала чем-то более сложным, чем просто следование инстинкту. Это была ремесленная мастерская, в которой формировалась психическая жизнь.

Женщина, которая теперь постоянно желала своего партнера, была логическим соответствием мужчины, способного возвращаться. Здесь эволюция занимается выбором уже не физических, а психологических вариантов, более благоприятных для жизни вида: постоянство и верность — качества, которые сегодня мы используем при описании характера.

Отдельный сексуальный акт стал продолжаться дольше. Мужчина от быстрого семяизвержения переходил к замедленному: известно, что сексуальный акт у людей в среднем продолжается намного дольше, чем у животных. Вероятно, эта фаза эволюции также направлялась женщиной, которая всегда уделяла больше внимания связи с мужчиной: как конкретному акту соития, так и отношениям в целом. Таким образом, партнерша обучала партнера, мать воспитывала отца, как женщина воспитывает ребенка. Без матери нет ребенка, но нет и отца. Значит ли это, что отец был изобретен матерью? Когда она интуитивно поняла революционную важность отца, мать «изобрела» также практику радушного приема, впервые обращенного к другому взрослому: то, что люди до сих пор называют «женственностью». Потом она направила также взгляд ребенка, — который смотрел только на нее — чтобы он в свою очередь взглянул на отца.

В этот переходный период появились и другие характеристики, практически отсутствующие у обезьян, наиболее близких к нам, и стабильно присутствующие в человеческой сексуальности.

В первую очередь, сексуальная активность стала нормой ив период беременности. Предки людей стали отличаться от других зоологических видов почти постоянной сексуальной активностью, которая в значительной степени выходит за рамки той, что необходима для воспроизведения себе подобных. Эта избыточная сексуальность была порождена не порочными нравами последних

времен — как считают некоторые моралисты, — а самой эволюцией, миллионы лет назад. Уже тогда эволюция сделала сексуальность не только средством воспроизведения, но и психическим усилием, фабрикой отношений. Для подтверждения своих намерений, сама природа в период кормления грудью наделяет женщину гормонами, препятствующими зачатию: таким образом, сексуальные отношения могут продолжаться, не утомляя ее слишком частыми беременностями. Сексуальность ведет к самым прочным отношениям: если это так сегодня, то насколько более верно это было тогда, при условиях, когда общение шло больше за счет телесных жестов, чем за счет слов.

Во-вторых, оргазм, характеристика мужчин, появляется и у женщин. Хотя некоторые самки животных демонстрируют признаки сексуального удовлетворения, ничто из этого нельзя сравнить с захватывающей интенсивностью и частотой оргазма, которыми природа наделила женщину: способностью, которую только невроз способен скрыть. Так как он случается не только в периоды, когда женщина может забеременеть, то эта характеристика также возникла для благоприятствования не столько оплодотворению, сколько повторению сексуальных сношений с максимальной частотой и максимально возможными эмоциональными переживаниями: отсюда психическое чувство взаимной принадлежности мужчины и женщины.

О том, как это новшество отразилось на мужчине, мы поговорим дальше. Заметим только, что, в то время как сексуальное наслаждение женщины называют животным, на самом деле верно прямо противоположное. Животным может быть мужской оргазм, так как он не сильно отличается от того, что испытывали наши предки-животные; оргазм женщины, напротив, — это человеческое новшество эволюции: это именно то, что сильно отличает ее сексуальность от животной. Гомосексуализм, который также встречается у животных, но отвергается естественным отбором, так как не производит потомства, становится более стабильным с того момента, когда важность отношений начинает преобладать над, важностью воспроизведения себе подобных.

Мы уже отмечали, что без необходимости телесного изменения, изменился сам сексуальный акт. Теперь сексуальность стала не только орудием воспроизведения. При переходе от четвероногих к людям, природа наделила последних более заметными сексуальными атрибутами: мужские половые органы и женская грудь у людей больше, чем у обезьян. По мнению зоологии, речь идет об эволюции сексуальных отношений самих по себе, не несущей выгоды для детей: более, крупный пенис не делает зачатие более вероятным, а более крупная грудь не улучшает кормление. Другие изменения эволюции вообще уменьшают человеческую плодовитость. Например, с исчезновением течки вероятность беременности уменьшается: самка шимпанзе в период течки привлекает к себе всех доступных самцов и использует все. возможности для сексуального сношения; с человеческой женщиной этого не происходит.

Переходя от обезьян к людям, эволюция создала максимально благоприятные условия для семейных связей, а также непосредственно для детей.

С этим переходом новое общество стало более хорошей защитой для детей. Их смертность сократилась. Естественный выбор пал на людей не потому, что их дети были самыми сильными: напротив, они были самыми беззащитными и зависимыми. Их сила была в новой семье, вероятно, уже тогда моногамной и патрицентричной, какой нет прецедентов среди высших млекопитающих.

Сексуальность из чисто физического общения стала и психическим взаимодействием. Исчезновение течки, которая была кличем, обращенным ко всем доступным мужчинам, стало тем доисторическим семенем, из которого выросло чувство стыда. В обществе обезьян самка с течкой поощряется естественным отбором, потому что легко оплодотворяется; в более сложном обществе протолюдей, она оказывается проблемой, потому что создает беспорядок и слишком много соперничества среди мужчин. Это древнее обстоятельство оставило в обществе неизгладимый след. С доисторических времен и до времен Христа и со времен Христа до XXI века, женщина-прелюбодейка, вступающая в беспорядочные связи или просто неосознанно обольстительная, вызывает подозрение и проклинаема обществом. Немногие становятся «козлом отпущения» чаще, чем она.

Среди мужчин естественный отбор благоприятствовал длительным сексуальным отношениям с одной женщиной: те, кто искал больше сексуальности с одной партнершей, постепенно начинали преобладать над теми, кто продолжал иметь отношения с несколькими партнершами. Как можно заметить и сегодня, моногамия — выбранная добровольно, а не вынужденная, — сопровождается в целом сексуальностью более спокойной, менее тревожной и менее прерывистой: мужчина владеет сексуальными отношениями, а не они владеют им. То, что сегодня многие считают шагом к стабильности в своей индивидуальной жизни, — это стратегическое решение, которое когда-то приняли мужчины. Один из наиболее глубоких конфликтов цивилизации связан с тем, что этот переход не был полным и решающим. Это был выбор, а не полное обновление природы. Мужчины сохранили в себе и прежнее животное стремление к сексуальности лихорадочной, беспорядочной и количественной, чему потребительское общество последних времен дало «цивилизованное» поощрение.

Мы уже замечали, что в женщине произошли важные биологические изменения. Великой новостью стала более регулярная сексуальная активность. Для этой более интенсивной сексуальной жизни мужчина не должен был изменяться: природа уже наградила его способностью к постоянной сексуальной активности. Но для него новизна заключалась не в физической области, а в поведении, в протокультурных формах. Когда культурная эволюция начиналась, она сочеталась с природной, но в то же время вытесняла ее, будучи намного более быстрой [4]. Однако, в течение долгого времени, две формы эволюции работали бок о бок над формированием семьи. В этой доисторической зоне, в которой совместно трудились природная и культурная эволюция, впервые проявила себя семейная пара.

Как правило, естественный отбор устраняет наименее благоприятный природный вариант в пользу наиболее благоприятного. Но в данном случае ситуация изменилась именно потому, что более благоприятный вариант —

мужчина-«отец» — не существует в природном состоянии. Существование отца требует намерения, а, следовательно, пусть и примитивной, но психики.

Наблюдая соперничество самцов среди обезьян, — в особенности наиболее близких к нам, шимпанзе, — мы предположили, что таковое может мешать умственной сосредоточенности: то есть препятствовать цивилизации. Логично представить себе, что моногамное распределение женщин освобождает мужчин от постоянной конкуренции за партнершу, и их энергия может быть направлена на создание орудий труда или общественных правил. С этой точки зрения возвращение к своей партнерше было не просто первым общественным правилом, оно в то же время создало психические условия для формирования цивилизации. И в ходе этих возвращений к постоянной женщине, мужчины начали также образовывать связь с детьми, которых природа людям дает меньше, чем другим видам млекопитающих.

Самец животного обладает врожденной способностью не распространять свою агрессивность на детенышей своего вида. Но, если он не принадлежит к моногамному виду, он ничего не делает для детенышей и не отличает своих отпрысков от чужих. Детеныш с этой точки зрения для самца не существует. Но с возникновением психического опыта детеныш начинает существовать. Он становится кем-то. Не столько осознание биологического отцовства, сколько тот факт, что ребенок развивается и учится на глазах у родителя, заставляет последнего воспринимать его как нечто исключительное. Взрослый, который наблюдает за ним, — теперь не только мать. Ребенок — естественный резервуар для образа будущего, в котором психика начинает воспринимать нечто, выходящее за рамки сегодняшнего дня. Таким образом, ребенок — грифельная доска для первых психических упражнений. Отношения с ним помогали развивать более сложное мышление, а оно, в свою очередь, способствовало выбору большего количества мужчин, наделенных отцовскими качествами.

Так их генетические характеристики передавались следующим поколениям более часто, чем характеристики отцов с прежней, нестабильной сексуальностью, которые, сражаясь между собой за женщин, с изобретением оружия чаще убивали соперника, чем обращали его в бегство. Как отмечает Лоренц [6], только животные, наделенные клыками, рогами или когтями, обладают инстинктом запрета на убийство соперников при борьбе с представителями своего же вида; другие же, как человек, не наделены этими средствами агрессии от природы, так что не наделены и тормозными механизмами их использования.

Следуя этому пути, полигамные мужчины топили друг друга в крови, и, даже когда они выживали, то рисковали превратиться в разбойников первобытного общества, потому что были слишком склонны к насилию.

Другие же были будущими властелинами вселенной, потому что умели сдерживать непосредственное удовлетворение инстинктов — агрессии по отношению к соперникам, похоти по отношению к женщине, — ради запланированной жизни: более полной, но не немедленной. Именно таков пьедестал отцовских качеств. Мы вновь встретимся с ним в истории отца.

Для того, чтобы это случилось, умственная деятельность мужчин должна была стать более сложной, устремиться в будущее, достичь определенного

абстрактного уровня. Пусть неявно, но они должны были сформулировать желание иметь семью, а не нападать на себе подобных. Не только сексуальность, ной агрессивность подверглась функциональному изменению: от соревнования мужчин за женщину она была перенаправлена в полезное русло охоты, лабораторию сотрудничества и нового питательного богатства. Прежде, чем стать частью законодательства, моногамия выдержала битву за выживание.

Глава 5
Люси растет

Отношения между полами никогда не оставляют равнодушными. Половой дисморфизм касается не только зоологии, но и психологии.

Под половым дисморфизмом мы понимаем разницу между мужской и женской особями одного вида. Обычно самая очевидная разница заключается в размерах. Когда люди узнают, что женская особь неизмеримо больше, чем мужская, у некоторых рыб и даже у таких млекопитающих, как гиены, это их смущает. Однако, среди больших обезьян самцы крупнее.

В целом самцы крупнее у полигамных видов, которые соревнуются за возможность соития. Самцы морского слона в четыре раза больше своих самок; в любовный период они вступают в отчаянные сражения, после которых наиболее сильные имеют по 12- 40 партнерш.

Причина, по которой дисморфизм увеличивается с ростом полигамии, очевидна. В сражениях среди самцов побеждает самый сильный, то есть самый крупный. Победители обладают почти исключительным правом на спаривание: на 4 процента морских слонов приходится 80 процентов сексуальных актов [8]. От одного поколения к другому передаются в основном генетические особенности наиболее сильных самцов. Среди самок подобного отбора не происходит.

Наиболее близкие к нам обезьяны полигамны, и у них сильно проявляется дисморфизм. Самцы весят намного больше, чем самки: у шимпанзе на треть, у орангутангов - в полтора-два раза, у горилл - в два раза.

Для того, чтобы понять, когда началась человеческая моногамия, мы можем попробовать сравнить телесное строение мужских особей с женскими в те эпохи, когда они переходили от четвероногих к человеку.

Один из немногих скелетов австралопитеков, которые были найдены относительно полными, известен массам под именем Люси. Эта женщина жила — и прожила около двадцати лет, — 3,2 миллиона лет назад; она ходила на двух ногах, хотя имела костное строение, отличное от нашего, ее рост был около метра и она весила 25-30 кг. В юго-восточной Африке, где была найдена Люси, было обнаружено много костей того же периода, как мужских, так и женских. Хотя мы не можем с уверенностью сказать, принадлежали ли они все одному и тому же типу протолюдей, была выдвинута гипотеза, что мужчины весили примерно как современный мужчина, то есть в два раза больше, чем Люси и женщины в целом. Если это так, то их дисморфизм был как у гориллы,

максимальный среди близких нам видов. Следовательно, до того времени соревнование среди муж-, чин должно было быть одним из наиболее важных факторов отбора, в то время как моногамия, если и была, должна была быть недавней или эпизодической.

Представляется, что за миллионы последующих лет, прошедших от Люси до нас, (40) телесное сложение двух полов претерпевало различные изменения, в зависимости от эпохи. В целом, как бы то ни было, дисморфизм сократился. В особенности размеры тел мужчины и женщины приблизились один к другому в последние сотни тысяч лет.

Сегодня мужчины весят примерно на 15-20 процентов больше,' чем женщины. Это указывает, что мы моногамны уже в течение какого-то времени: наша эволюция, следовательно, должна сопровождаться долгой стадией незначительного соревнования среди мужчин. Таким образом, и менее крупные из них имели детей, и разница между телесным строением мужчин и женщин постепенно сократилась.

Хотя с такими косвенными данными надо обращаться осторожно, они могут сообщить нам интересные сведения.

Во первых, они подтверждают, что возникновение семьи, и появление психологии, с нею связанной, может сопровождать телесную эволюцию.

Во вторых, мы имеем здесь ископаемое подтверждение того факта, что мужское тело видоизменилось меньше, чем женское. Эта меньшая степень естественного отбора указывает на меньшее физическое соревнование между мужчинами. Но, так как изменения в образе жизни были радикальными, стоит еще раз упомянуть, что уже тогда преображения мужчины были преимущественно психологические. Некоторым образом женщина была созданием более развитым от природы, что подтверждает тот факт, что уже среди обезьян самки доверяются не только инстинкту. Мужчина же был менее развитым, и в нем сохранялись противоречивые наклонности, как в сторону пары, так и в сторону распущенности. Он компенсировал этот недостаток новым типом эволюции.

В третьих, в этот период могло возникнуть еще кое-что отличающее человека от животных: соревнование за выбор партнера не среди мужчин, а среди женщин. Преображение мужчин в отцов было утомительной эволюцией и, конечно же, не произошло немедленно в каждом из них, потому что и сегодня эта эволюция не завершилась. Можно представить себе, что из-за агрессивной активности смертность среди мужчин была намного большей, чем среди женщин. По обеим причинам, у последних не было достаточного количества моногамных мужчин: спрос превышал предложение.

В целом, если моногамия ставила перед мужчиной проблему примирения между обычаем и инстинктом, она представляла для него также новость общественную и психологическую. Исчезал избыток мужчин-изгоев, их одиночество, их бесполезность. Внезапно — если можно сказать так о процессе, требующем очень долгого времени, — жизнь каждого из них приобрела индивидуальное значение. Но проблема этого типа начала наблюдаться с другой стороны. Если все шло хорошо, женщина теперь могла положиться на партнера, который кормил и защищал потомство. Но женщина, которая оставалась без

партнера, оказывалась, может быть, уже миллионы лет назад, как сейчас, изгоем; выживание ее детей становилось более трудным.

Дисморфизм касается не только физиологии и не только древней истории. Это проблема психологическая и актуальная.

До недавних времен идеал мужественности формировался вокруг физической силы. Хотя уже на заре классической эпохи фигура Улисса приобретала большую популярность на Западе, это происходило именно по причине его сложности и исключительности. Это позволяет нам восхищаться ясностью предвидения Гомера на тысячелетия вперед, и делает его скорее пророком, чем поэтом. Улисс был исключительным образцом нестандартного мышления. Что касается преобладающего мужского идеала, то до современной эпохи и Просвещения в популярном представлении преобладал материалистический героизм.

Даже сегодня, хотя ум и культура пользуются большим весом среди мужчин, регрессивное искушение доверять телесному очень сильно: об этом знают владельцы тренажерных залов и создатели комиксов, которые строят свое состояние на подобных упрощениях. Этот мужчина имеет право на обладание женщиной, потому что он сильнее остальных мужчин и несравненно более силен, чем она.

Эта амбивалентность отражена не только в борьбе между Улиссом и Полифемом, но и в конфликте между Кинг-Конгом и обычным современным мужчиной. Этот конфликт воспроизводит сегодня не соперничество внутри общества, но столкновение внутри самого мужчины: не только между разумом и силой, но и между личностью отца и личностью доцивилизованного мужчины, мускулистой и дисморфной именно потому — как научила нас палеонтология — что она еще не стала отеческой. Короче, есть нечто настоящее в том упрощении, которое мы наблюдаем в Кинг-Конге — громадной обезьяне, столь живой в популярном воображении и подсознании каждого, — как субличности мужчины, которая еще поглощена исключительно сексом. Этот образ восходит к доисторическим временам, но в глубине мужской психики эта проблема не решена до сих пор. Отсутствие внутреннего решения имеет параллель и на поверхности. «Парадокс отца» проистекает именно из соответствующей неоднозначности, так как от него одновременно ожидается моральное поведение и способность реагировать на вызов с применением чистой силы.

Специализация мужчин на силе, власти и агрессии, а позже на Улиссовой форме интеллектуальности, возвращает нас к четкому разделению человеческой деятельности мужчин и женщин, во всех известных нам обществах. Только в последнее время в самых благополучных странах это разделение начало сглаживаться.

Часто полагают, что происхождение полового разделения труда связано с биологической разницей полов, следовательно, продолжает положение дел в дочеловеческом состоянии. Однако среди животных это разделение представляется относительным, тогда как люди принимают его за абсолют. Среди хищников при охоте стаей у самцов и самок могут быть разные роли (обычно львы пугают жертву, а львицы ее добивают), но и самцы, и самки способны убить жертву; в человеческом же обществе оружием владеют только

мужчины. Такое четкое разделение соответствует намерению и самоопределению культуры.

В верхнем палеолите — то есть несколько десятков тысячелетий назад, когда *Homo sapiens* был уже похож на нас, — разграничение ролей между полами должно было существовать, но не представлялось ярко выраженным; когда же появляются исторические цивилизации, это разграничение становится правилом: жречество и духовная деятельность часто оказываются исключительным правом мужчин. Следовательно, вероятно, что наиболее радикальное половое разделение труда появилось недавно, оно сопровождает переход от доисторических культур к историческим. Тот факт, что оно наблюдается, когда основные телесные различия между мужчинами и женщинами исчезли, означает, что в его основе лежали причины не физические, а психические. Природа аннулировала наиболее очевидные различия между мужчиной и женщиной, развитие же культуры их вновь ввело, подчеркнуло и распространило не только на физический облик. Почему?

Мы должны вернуться к свойству психики формировать и балансировать противоположности. Эта форма естественного равновесия позволяет разуму исследовать и развиваться, всегда возвращаясь к отдыху; путешествовать днем, возвращаясь на ночь домой, ценя открытия, но избегая путешествия ради самого путешествия и превращения его в бег за пустотой.

Мы предположили, что покорение новых пространств, растущая дерзость первобытных людей в охоте, становилась все больше мужской деятельностью, и что в целом ее развитие сопровождалось возникновением отеческой роли и моногамии. В этой параллели между новшествами в семье и новшествами вне семьимызамечаемпреображениянетолькообщественные.ноипсихологические. Исследование новых пространств, которое все дальше уводило мужчин от их постоянного места обитания, сопровождались в мужчинах новым открытием женской сущности, за пределами полового акта как такового и того короткого мгновения, когда он совершался.

Вместе с этим в мужчине постепенно рождалась близость с детьми: «семейное» пространство, которое больше не сводилось к одной лишь физической близости. И, как исследование новых географических пространств было связано со страхом заблудиться, новым психическим и экзистенциальным риском по сравнению с риском стать обедом льва, так и открытие неизведанного частного пространства, симбиоза и общения с другим, было связано с тревогой растворения эмбрионального «я» в неотделимом от него «ты». Как правило, мужчина, в отличие от женщины, которая уже растила ребенка, знает о симбиозе только как о далеком воспоминании тех времен, когда его вскармливали грудью; следовательно, как о ситуации, когда о нем полностью заботились и он был слабым, не имел никакого значения. Это было для него положением изначальной неотличимости от другого, от которой он победоносно освободился, когда вырос и приобрел собственную идентичность.

Конечно, строя такие гипотезы, мы рискуем приписать существу, которого мы не знаем, наши современные чувства. Однако, наблюдая сегодня столько подростковых бунтов и столько разводов, которые происходят как освобождение от симбиоза, угрожающего индивидуальности, мы находим

естественной мысль о том, что первые нефизические переживания пары должны были поколебать основы той личной идентичности, которая только формировалась. Вероятно, это принимало форму мучительной двойственности. С одной стороны, было открытие возможности общаться с партнером все более глубоким образом, что повышало интенсивность существования и помогало понять самих себя; с другой - страх перед слиянием, которое могло в одно мгновение уничтожить ту индивидуальность, в создание которой сближение внесло вклад. Если мы будем располагать две капли краски разных цветов — допустим, красного и синего, — все ближе друг к другу, их особенности будут восприниматься все ярче за счет сопоставления. Но у этого сближения есть порог, который не надо переступать. При его преодолении всего за одно мгновение достигнутая прежде ясность будет потеряна: две капли смешиваются в одну, красный и синий превращаются в фиолетовый и более не существуют отдельно друг от друга.

Итак, мужчина возвращался к женщине — ради секса, конечно, но не только ради него: эту потребность он удовлетворял и до моногамии, которая, если можно так сказать, не способствовала ее удовлетворению, — если он постепенно уступал ее присутствию, необходимости кормить ее и детей, он должен был найти и в этой области противовес, средство, которое позволило бы ему закрепить эти новшества. То есть создать измерение семьи, не затерявшись в нем, осуществить психическую работу диалога — которая содержала еще больше непредвиденных сложностей, чем охота на открытом пространстве, — сохранив в то же время свою отдельность. К союзу можно было подойти только с осторожностью исследователя.

Таким образом, вероятно, некоторые из первых культурных форм были мужскими и были неосознанно направлены именно на то, чтобы ограничить мужскую идентичность и отделить ее от женской: даже сегодня мужчина намного больше, чем женщина, боится проявить характеристики другого пола, боится вызвать подозрения в женственности. Так, первые формы культуры были, вероятно, также первыми проявлениями женоненавистничества и связанными с ним суевериями и неврозами: разделение работ между полами, как представляется, совпадает с самим происхождением культуры. В нашем обществе эта проблема, как нам кажется, не преодолена, и женоненавистничество представляется ее ключевым и структурирующим, а не случайным компонентом. Если мы возьмем те крайние формы влечения между полами, которые называют донжуанством и нимфоманией, обратим внимание, что первое, с большей легкостью, чем второе, может подразумевать пренебрежение к представителям противоположного пола и латентную гомосексуальность.

Есть еще одна причина, по которой вместе с парой рождался как союз, так и недоверие. С первыми образованиями общественных групп, вызванными удобством, и отказом от борьбы между мужчинами, перед последними встала новая и сложная задача: контроль над собственной агрессивностью.

Первобытные люди постепенно переносили ее в охоту, которая даже усиливала воинственные импульсы.

Одна из специализаций, доверенных мужчине, — убивать. Есть гипотеза, что мужчина столкнулся с первыми формами совести именно исполняя все с большими сожалениями именно эту задачу. В это время как мужчины совершенствовали эту глубокую связь с кровью, по странному совпадению эволюция сделала присутствие менструальной крови более обильным и очевидным у женщины в сравнении с самкой животного.

Именно магическая потребность быть подальше от этой жидкости, любимой и ненавистной, — кровь жертвы несет жизнь, моя кровь несет смерть, — способствовала первому женоненавистническому суеверию и разделению задач между полами. В то же время эта связь побуждала мужчину воспринимать носительницу этой крови немного как добычу охоты: раненную жертву, побежденную, отмеченную отличием, которое вызывало одновременно презрение и страх, неоднозначные чувства, которые сегодня мы соединяем в представлении о табу. Потом, по мере того, как инаковость женщины становилась более осознанной, возникли обряды и разделение обязанностей между мужчинами и женщинами. Среди мужчин должна была возникнуть идея отличия женщин как низшего положения. Потом, канонизированная Аристотелем, эта идея пройдет через историю Западного мира. С ее помощью объяснялось все, что казалось непостижимым в женском характере. Так, тревожный страх, вызванный различием, преображался в чувство превосходства.

Как мы уже упоминали, преображение в человека также наградило женщину оргазмом. Это физиологическое явление до сих пор демонстрирует шаткость, культурную обусловленность и постоянную зависимость от психологического состояния в большей степени, чем у мужчины. В целом, это эволюционное новшество является недавним и хрупким. Эта характеристика, вероятно, происходила не от далеких животных корней, — она, по сути, отсутствует у приматов, — но возникла очень недавно: испробовав симбиоза в рамках стабильных отношений, женщина ассимилировала этот элемент из сексуальности мужчины. Это приближение к партнеру могло быть именно одним из новшеств, порожденных психической работой связи.

Хотя это уподобление мужчины и женщины друг другу не совсем ново в ходе эволюции, новым является тот факт, что оно предполагает психологическое измерение; как таковое, оно участвует в отношениях круговым образом, может быть следствием, но может быть и причиной их углубления. У животных не было женского оргазма; у женщины он возможен, но это, в свою очередь, зависит от ее психического состояния.

Мужчина зависит от оргазма, как животное: без оргазма он не распространяет семя, то есть не размножается. Для того, чтобы быть отцами, надо испытывать сексуальное наслаждение. Для того, чтобы быть матерями, — нет. Говорилось, что женский оргазм появился в частности потому, что доставляет удовольствие мужчине: но что это значит? Физическое благо для мужчины заключается в его собственном оргазме, и здесь ничего не изменилось. Новое удовольствие было исключительно психологическим и связанным, вероятно, с сублимацией агрессивности. Если от мужчины требовалась жертва в виде отказа от агрессивного импульса, и в то же время

союз с женщиной пробуждал в нем неоднозначные чувства и страх перед потерей контроля, то возможность того, что она уступит физической связи и умрет в его объятьях, что исчезнет именно она, было сублимированным удовлетворением его агрессивности и интенсивным символическим опытом, возвращавшим ему чувство контроля. Даже сегодня одна из характеристик, отличающих сексуальность мужчины от сексуальности женщины, и, вероятно, от сексуальности животного-самца, — это присутствие садизма. Он повторяется настолько часто в обстоятельствах настолько разных, что заставляет считать себя не случайным отклонением, но частью самой глубинной психической структуры мужской сексуальности.

Может быть, в исследованиях предыстории мужского превосходства слишком большое внимание уделяется физической разнице между полами[48], которая у человека намного сокращается в сравнении с обезьяной, и слишком малое—появлению женского оргазма, который навсегда отделяет человеческую сексуальность от простоты сексуальности животного. После этого преображения сексуальность была больше не выплеском физических чувств: она превратилась в общение и борьбу между двумя психическими организмами. Отдаться или не отдаваться — так до сих пор говорят об этих отношениях, которые продолжаются во времени. Их психическая сложность, отличная от физической, не ограничивается одним актом, но обладает длительностью и становится частью воспоминания. Ожидания и умственные образы руководят человеком теперь больше, чем чувства. Случайность секса, которая наблюдалась у обезьян, преодолена, и возврата к ней нет.

Здесь мы возвращаемся к тому, что характеризует эволюцию полов: как и в области телесных размеров, так и в области сексуального поведения женщина приближается к мужчине. Последний, вероятно, восстанавливает дистанцию, перенеся свое превосходство в область нематериальную. Попадая под обаяние этого существа, все более близкого, но все более загадочного, мужчина начинает воспринимать в женщине нечто неведомое. Он испытывает растущий страх быть поглощенным женщиной-самкой, которая постепенно становится человеком, оставаясь продолжением и продолжателем природы, и, следовательно, может «засосать» туда (в природное, инстинктивное); в то время как он, чтобы стать более человечным, преображает природу. Все это побуждает его подчеркивать свое отличие от нее и, когда они вместе, признавая взаимное влечение и зависимость, делать из нее свое дополнение.

Мужчина занимается охотой, женщина собирает, дикие плоды (сельское хозяйство с его революциями техническими, общественными и религиозными, родится всего лишь горстку тысячелетий тому назад). Все побуждает нас думать, что эти два вида деятельности, преобладавшие среди предков людей миллионы лет, разделились и были взаимозависимы, может быть, обозначены ритуально: так происходит и сегодня среди народов, у которых сохранилась подобная система.

Почему мужчины-охотники, у которых периодически или после того, как они заполучили хорошую добычу, было свободное время, не могли принять участие в собирательстве вместе с женщинами, на плечах которых была также забота о детях? Объяснения, основанного на одних лишь материальных сообра-

жениях, недостаточно. Недостающий ответ находится в области символов. Это прикосновение к природе, ее постоянное обыскивание, — без противостояния, нападения и выворачивания кишок в ходе охоты, — запретно для мужчины. Он старается установить для себя другие законы, опрокидывать с силой то, что дано от природы. Жажда крови, прекращение жизни вызывают в нем экзальтацию и интуитивное чувство причастности; другое создание проливает кровь, не говоря об этом, и порождает жизнь без видимых усилий: его склонение к земле — это заражение, его родственность растениям может вызывать восхищение, но ей не следует подражать.

Так отношения становятся все более сложными, включают познание и в то же время разделение. Начинается психический труд: осознание противоречия и попытка удержать его. В каждой культуре и с самого начала, мужчина и женщина — любовники, но и враги. Литература показывает нам этот парадокс: пары хотели бы открывать друг друга до бесконечности, но чувствуют себя так, словно знали друг друга вечно. В одних и тех же бессознательных фантазиях скрываются как корни резкого разделения полов, так и корни их изначального единства. Этот символический мир несет на себе знак мужчины. Платон был мужчиной, как маскулинной по сути была греческая философия, и его «Пир» передает самую известную из этих фантазий: люди изначально были андрогинами; Зевс, прототип власти и отеческой воли, силой разделил их пополам. С тех пор половинки отчаянно ищут друг друга и сокрушаются в тоске по единству.

Преображение четвероногих в человека — это в большей степени развитие отношений между полами, чем физическое изменение. Любопытство, которое отличало наших прародителей от животных, привело, прежде всего, к сложности и новизне пары. Для того чтобы посмотреть, как произошел переход «от обезьяны к человеку», наиболее интересно было бы не сравнить скелеты человека и гориллы, а сравнить пару человеческого рода и горилл.

Необходимость новизны, которая так далеко увела нас, — это не только потребность в новом знании и новых предметах. Еще более важная разница между нами, людьми, и животными, — это наша экзогамия, то есть всеобщее правило, согласно которому мы ищем себе партнера не в своей семье, а в новой группе. Экзогамия кладет конец поиску пары в кругу семьи, что практиковали животные.

Этот поиск нового элемента укрепляет евгеническую функцию — смешение и обновление генетического материала, — которая заставила когда-то перейти от однополого размножения к спариванию двух полов. Но не только: склонность к разнообразию переходит со строго биологического уровня на уровень умственной деятельности. Неотения человеческого рода — его постоянная жажда роста, его детское любопытство, — теперь проявляется в обществе. Так приходит в действие самая типичная из человеческих характеристик, с неизмеримыми последствиями. Исследование, открытие, приобретение нового: это требование — великая новость психики, которая проявляется как в охоте и другой экономической деятельности, так и в преображении сексуальности в эротику. До сих пор любовь наиболее страстная объединяет людей из разных групп, культур или рас, Ромео и Джульетт. Так они

проживают, строя мост, преодолевающий культурную разницу, ту необходимость дополнять друг друга, объединяясь с другим, которая в природе проявляется как поиск другого пола.

В сравнении с эндогамией, экзогамия неизмеримо более привлекательна с физической и психической стороны. Уже в примитивных условиях сочетание браком с членом другого племени дает большие преимущества: не только возникает смесь новых генов, но и порождаются новые фантазии, обогащается интеллект и удваивается количество техник, которыми владеют члены семьи. В современном обществе сила пары часто пропорциональна разнице происхождения ее членов. Разные исследования гласят, что люди неохотно вступают в брак с теми, кто учился в той же школе или рос в том же кибуце. Если это происходит, вероятность развода выше. Людям свойственно влечение к тому, что дополняет, что ново: вплоть до определенного порога различия, за которым находится то, что начинает восприниматься как чудовищное и, вызывает скорее отторжение, чем интерес .

Экзогамию редко обозначают как революционное новшество, отделяющее психологию от зоологии. Антропология и психоанализ подчеркивали ограничивающую сторону экзогамии, причем в применении только к половым отношениям, которые известны нам как табу инцеста. Однако, идея экзогамии конструктивна, и она требует союза с внешним, новым и другим, как плотской и психической нормы. Человека можно определить как животное, которое ввело закон экзогамии, не только в отношениях между полами, но в сознании целиком.

Этот императив составляет общее базовое правило создания пар[54] настолько, что антропологические толкования делают из него всеобщий знаменатель человеческого общества. Но мужчина и женщина подчиняются ему по-разному, что интересует нас непосредственно. При переходе от животных к людям, экзогамия не только начала руководить отношениями между полами, но и подчеркнула их разницу.

Животные тоже сопровождают сексуальное влечение определенным интересом к чему-то отличному и новому. Любопытство помогает познаванию; в сексуальной области оно способствует приобретению нового генетического ассортимента, что важно, прежде всего, в ограниченных группах и видах, которым угрожает вымирание. Эта тенденция распространяется до границы вида, после чего приходит в упадок, потому что далее половые сношения становятся бесплодными. Например, мул — жизнеспособное животное, не может дать жизнь детям, — экзогамный эксперимент, дальше которого природа не может пойти. У животных негативная сторона экзогамного интереса — их «табу инцеста» — это отсутствие интереса к половому сношению с индивидуумами, с которыми они в течение долгого времени близки физически. Благодаря длительности материнской заботы у многих млекопитающих, в частности обезьян, сын очень редко образует пару с матерью и, в общем и целом, с сестрами, которые росли рядом с ним. У животных экзогамия в том, что касается матери, уже проявляется, без существования запретов, подавляющих инстинкт. Экзогамия была уточнена, но не изобретена в человеческом обществе.

Сильно отличается от ситуации с матерью ситуация с отцом. Мы уже говорили, что, даже среди животных, наиболее близких к нам, самец является отцом только во время акта зачатия, после чего не «знает» своего родства с детьми и может вступать с ними в любого рода отношения, в том числе сексуальные.

В отличие от экзогамии по отношению к матери, запрет на сношения с отцом имеет по сути человеческий характер. У него нет антецедентов в мире животных и, когда он появляется в человеческом обществе, он уже сформирован: мы ничего не знаем о его происхождении. В нашем обществе императив экзогамии, относящийся к отцу, имеет такой же резкий характер, как и тот, что касается матери; мы только замечаем, что этот закон чаще нарушается. Это непрямое подтверждение факта, что он более недавний и менее прочный. Можно предположить, что это правило было намеренно «выбрано» для борьбы с инстинктом, а не постепенно выработалось из эволюции самого инстинкта. Даже в этом случае при переходе от животной матери к женщине мы имеем преемственность; при переходе от животного «отца» к человеческому наблюдается скачок, может быть, настолько резкий, что он до сих пор остается незавершенным.

Итак, мы снова осознаем, что разница между мужской и женской эволюцией заключается в этом разрыве преемственности. Природа «не совершает скачка» к матери. Но она совершает его, когда появляется отец, который представляется возникшим на пороге культуры. Этот прыжок имеет стигматы противоприродного акта, от которых отец никогда не сможет избавиться. Если экзогамии отца мы в природе не находим, то естественный отец способен на инцест: наблюдение тревожащее и приглашающее сжечь мосты, ведущие к природе. Может быть, мужчина изобретает цивилизованность и выбирает ее, отвергая животное начало, инцест, отсутствие проекта: но до какой степени может борьба с инстинктом учредить цивилизованное общество, не лишив его основ, на которых оно покоится?

Есть вероятность, что отец и цивилизация людей основаны именно на подобной антиномии: хочу, но запрещаю себе. И антиномия, неразрешенная двусмысленность, лежит в основе возникновения и последующего развития человеческой психики. Психика начинает продвигаться по руслу развития, когда определяющие это русла берега-противоположности обретают форму и твердость, предоставляя ей контейнер. Это похоже на корабль и якорь, которые должны возникнуть одновременно.

ЧАСТЬ II
Античность и миф

Глава 6
Общество патриархальное и матриархальное

Самый прекрасный закон: подчиняться отцу.
Эсхил
У кого нет отца, тот должен найти его себе.
Ф. Ницше

Около полутора веков ведется обсуждение, всегда ли отцы были во главе. Не предшествовал ли патриархату, доминирующему в истории Западного мира, в доисторические времена матриархат?

Это один из самых горячих споров из всех, что нам известны. Убежденность в том, что матриархат изначально существовал, была выражена многими авторами, склонными к идеализму. Бахофен (1861) намеревался восстановить исторические основания права; Морган (1851, 1871, 1877) одним из первых защищал права аборигенов; Энгельс (1884) вместе с Марксом боролся за освобождение пролетариата; Нойманн (1956) перечитывал доисторические времена сквозь призму аналитической психологии; Гимбутас (1989), наконец, посвящает свои обширные исследования переоценке роли женщины в развитии европейской культуры. Каждым из них не просто руководил особый интерес, выходящий за пределы его сферы исследований. И все они выступали против агрессивности патриархальной культуры.

Эта тема не только демонстрирует идеалы авторов, но и затрагивает сильные эмоции читателей. Обсуждение того, важнее ли шумеры для развития основ цивилизации, чем аккадцы, не трогает наши воспоминания и вряд ли вызывает у нас чувства. Но идеи патриархата и матриархата для каждого связаны с конкретными образами реальных мужчины и женщины. Связан с воспоминаниями ранними и эмоциональными, над которыми не властно наше сознание. Поэтому они еще более затуманивают нашу способность к трезвому рассуждению. Эта тема пробуждает страсть даже в тех, кто далек от предмета, потому что наш интерес к родителям является не рассудочным, а эмоциональным.

Партия матриархата не обязательно соответствует феминизму, и женщины есть на обеих сторонах. Гимбутас и Мейер Сеталер говорят о древнем обществе матерей; но Симона де Бовуар, Элизабет Бадинтер и итальянские антропологи Ида Мальи и Джудитта Ло Руссо считают, что он никогда не существовал.

Откуда происходит та страсть, с которой многие говорят об изначальном матриархате? Без сомнения, существуют объективные причины говорить о его существовании. Но, помимо них, есть, вероятно, психологическая причина. Неосознанно мы устремляем свой взгляд в центр мира, и ощущаем общество и историю как умножение индивидуального опыта, его продолжение во времени и пространстве. И, так как происхождение даже самого могучего мужчины

было доверено рукам его матери, возникает искушение верить, что нечто подобное происходило и со всем обществом в его совокупности.

Те же, кто считает, что общество было с самого начала патриархальным - какими глубинными воспоминаниями движимы они? На этот вопрос нет такого простого ответа, как на предыдущий. И даже это показывает, что психологические проблемы между отцом и матерью не симметричны, как и в проблеме сексуальных отношений мужчины и женщины. Те, кто стоит на стороне патриархата, реже выказывает эмоции, или демонстрируют глубину идеологической преданности. Можно было бы сказать, что матриархат — это горячий выбор, а патриархат — холодный. Холодный в том смысле, что основан на исторических документах, без эмоционального участия и без предпочтения отца среди двух родителей. Но в то же время именно эта способность объективного выбора и считается качеством отца, который обучает ей ребенка в начале взрослого возраста. Может быть, тот, кто ею пользуется, отождествляет себя с ним, хоть и не проявляет соответствующих чувств. Отец проявляется косвенным образом, через функционирование его разума.

Если существует психологическая связь между этим предпочтением отца или матери и личным опытом, она должна существовать не только для современных людей, но и в более значительной степени для людей древних времен, еще более, чем мы, подверженных магическим и неосознанным влияниям. Первоначальные фазы развития цивилизации — это также первоначальные фазы самоопределения человека. Возможно ли, чтобы в предыстории (начале человеческого существования) формы поведения людей особенно зависели от ранних, первичных образов (то есть образов, сопровождающих каждого человека в младенчестве и раннем детстве)? Каждое начало существования человека, даже мужчины, рассматривается как сопровождаемое женщиной, которая намного больше его и является царицей своего тела: матерью. Может ли быть, что, когда стали формироваться первые ячейки общества, матери, по аналогии, стали царицами общества?

Насчет того, существовал ли изначально патриархат или матриархат, у нас много гипотез и мало фактов.

Более сложные и развитые общества схожи в том, что мифологизировали власть отца и поставили его в центр, стараясь придать стабильность растущим трудностям с координацией. К сожалению, невозможно утверждать обратное и сказать, что в обществах более простых, в отличие от современных западных обществ, власть досталась матерям. Мы можем только подтвердить, что в сохранившихся до нашего времени культурах натурального хозяйства, отцы особенно активно заботятся о детях.

Возвращаясь назад, к наиболее древним историческим и примитивным обществам, сведения о которых дошли до нас, многие авторы не находят убедительных следов матриархата. Лингвистика Западного мира провела аналогичную реконструкцию, которая обычно распространяется как на исторические общества, от которых осталось мало материальных объектов, так и на доисторические. Слова, которые обозначают родство, такие как отец и мать, — одни из самых стабильных и узнаваемых, несмотря на то, что языки понемногу видоизменялись с эпохами, а также происходили переходы от одного

языка к другому, родственному первому. В сравнительном исследовании индоевропейских языков термины, которые обозначают родство, не только оказываются одинакового происхождения, но и подчеркивают общую модель семьи, ориентированную на отца, патриархальную. Матриархат, если когда-либо и существовал, был очень далек от нас по времени, предшествовал индоевропейским цивилизациям.

Если затем мы возьмем за точку отсчета животное общество и будем все больше приближаться к человеку, мы заметим, что у обезьян, которые наиболее близки к нам, власть принадлежит самцам, хотя самкам часто удается побороться за власть. Почему бы тогда исчезнувший мостик, который объединял эти крайности — людей, от нас далеких, и животных, к нам наиболее близких, — должен был соответствовать обществу матерей?

Гипотеза матриархата касается эпох, когда не существовало письменности. Речь идет, таким образом, о косвенных реконструкциях общества, о котором мы почти ничего не знаем. На Ближнем Ворстоке и в средиземноморской части Европы, в некоторые периоды верхнего, палеолита (Ориньякский, а особенно Граветтский и Солютрейский) и особенно в Неолите", изображения людей в настенных росписях и статуэтках — это в основном женщины. Часто живот, грудь, части тела, связанные с плодородием, огромны в сравнении с маленькими или отсутствующими головами, руками и ногами. Поэтому возникла идея, что женщина, с ее порождающей силой, имела в эти эпохи очень важную роль, и что эти образы представляют богинь. Изобретение сельского хозяйства должно было повысить положение женщин, с которыми растения и плодородие были связаны уже в предыдущую эпоху охотников. Золотой период матерей (или, если быть большим реалистом, общества Сравнительного равенства между мужчиной и женщиной) может соответствовать распространению новой сельскохозяйственной экономики. На этот период — переход от Палеолита к Неолиту — Гордон Чильде и Герман Мюллер-Карпе указывали как на эпоху самых великих революций за все время существования людей.

Открытие роли отца в сознании, напротив, могло стать идеологической основой для создания патриархата в эпоху намного более недавнюю, на заре истории. Еще в XX веке многие примитивные народы не знали о ней .

Однако, кто сказал, что все эти женские фигурки представляют богинь? Есть мнение, что религиозный антропоморфизм проявился намного позже. В таком случае речь идет просто о женщинах, которых вспоминали там, где они жили или умерли. Большое количество найденных женских фигурок и небольшое мужских могло быть связано с разными местами, в которых обитали представители двух полов. Женщины жили достаточно стабильно в гротах и — позже - в сельских поселениях; мужчины часто отправлялись на охоту, в путешествия и т. д., то есть действовали и умирали в разных местах: они редко удостаивались ритуального захоронения. Может быть, из-за сложности их задач древность уже была знакома с феноменом «невидимости отцов», которую мы наблюдаем сейчас. (Это напоминает мне одно современное исследование, которое обнаружило отсутствие отношений между отцами и детьми в наблюдаемой группе. Оказалось, это происходило потому, что отношения

можно было наблюдать вечером, когда отцы возвращались домой, а исследователи, в свою очередь, и сами отправлялись по домам.)

Несмотря на то, что фронт сторонников идеи матриархата на протяжении долгого времени привносит важные аргументы, большая часть информации, которая сегодня нам доступна, поддерживает гипотезу, что патриархат преобладал, начиная с происхождения цивилизации. Того факта, что большинство изображений, дошедших до нас от некоторых эпох, — женские, недостаточно, чтобы доказать обратное. Мы, современные люди, психологически бедны и восполняем это тем, что воспринимаем вещи буквально, извлекая статистику из этих фигурок: так, большее количество женских изображений заставляет нас думать о большей женской власти. Но преобладающие в обществе изображения не обязательно говорят о его материальном функционировании и его отношениях с властью. Отдельные изображения, которые дошли до нас, без их контекста, страдают от того, что Элиаде назвал «семантической непрозрачностью».

Некоторые животные тоже могут изображаться в доисторические времена в авторитетных формах и с большой частотой: но это не значит, что они обладали властью над человеческим обществом. Если бы изображений было достаточно для обозначения роли в обществе и если бы, допустим, современное общество, как это случилось с обществом неолита, не оставило письменных документов, то через несколько тысяч лет археолог мог бы раскопать его останки и подумать, что обнаружил матриархальное общество. В самом деле, женские фигуры — обычно с сексуальными атрибутами на виду, — сегодня преобладают не только в рекламе или периодической печати, но и в официальных изображениях, об эмблематической роли которых археолог, конечно, догадался бы. Можно вспомнить статуи Свободы или Родины, монеты с барельефами Британии, Марианны или Гельвеции, подобные современным вариантам богини Афины. В частности, этой богине была посвящена главная статуя главного храма главного города Греции: Афин. Но эта культура, страна, город и сама богиня отличались непревзойденной мужественностью.

В обществе, доверенном скорее мифу, чем истории, статуи или изображения представляют скорее фантазии, которыми вдохновлен мифический рассказ, чем исторических персонажей, которым доверено правление. Это ограничение, которое беспокоит профессиональных историков, не является строгой границей для нас в процессе исследования психологической истории. Речь идет именно о том, что мы хотели знать. Мы не используем найденные предметы, чтобы понять, кто руководил историей, но используем историю — не только материальные вещи, но и мифы того времени и сегодняшние истолкования, — чтобы понять, что руководило фантазией. Если это — наша задача, то «история позволяет нам через факты проникать в фантазии. История дает нам доступ к воображению»[17].

Если у истоков нашей истории были патриархальные общества, то разум этих патриархов должен был быть занят не мужскими образцами, а, скорее, женскими образами, невероятно многочисленными и мощными. Если это -не общественная реальность матриархата, то психологическая реальность эпохи, которую мы должны учесть. Вероятно, патриархат — доминирование отцов в

семье и обществе, — сумел стать таким, только с трудом преодолев контроль со стороны матерей и делая их объектом суеверного внимания. Изгоняя в фетишизм женских функций или культ богинь эту природную, а не историческую власть женщины, мужчины осознавали шаткость своей победы. Этот женский мир продолжал оставаться главным объектом его влечений и его страхов.

Мы не знаем, какую главу *истории общества* рассказывают эти плодовитые женские тела. Но, без сомнения, они рассказывают *психологическую историю.* Они говорят о фантазии беременности. О желании разума производить, порождать, питать. - Может ли быть, что в ходе долгого и будоражащего перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству, эта фантазия была связана с «управлением» самой идеей сельского хозяйства, то есть порывом довериться плодовитости окружающей природы? С попыткой активировать ее «симпатическим» способом, славя с суеверной настойчивостью женское плодородие? Когда мы размышляем о возникновении нового периода, отправной точкой нашей мысли должны быть не новые техники — они являются конечным продуктом эпохи, а верования того времени. Неважно, было ли это убеждение ошибочным. Как в случае Колумба, который хотел достичь Индии, сам характер веры — то есть именно противоположность рациональной точки зрения на факты, — содержал в себе неосознанный проект и открыл путь, который больше не закроется.

Не будем вдаваться в более конкретные археологические и антропологические детали, но отметим, что психология должна пересмотреть тайну матриархата со своей точки зрения: как фантазию ума, который до сих пор исследует ту эпоху, наделяя ее своими эмоциями, филоотеческими или филоматеринскими. Для того, чтобы создать женские статуэтки Неолита, требовалась фантазия беременности, пусть она рождалась в мужском уме. Мысль той эпохи находилась под властью образа порождения: явный симптом того, что человек, его состояние, его психология хотели воспроизводиться, возрождаться, сеять, рожать. А потом культивировать и выращивать.

Наблюдая женщину, впечатлительный ум той эпохи делает ее беременной по аналогии. Этот ум беременен идеей беременности. Фантазия, которая создавала тучные тела статуэток, говорила сама за себя: она была одновременно субъектом и объектом. Если даже эта эпоха не была матриархатом, это была эпоха матриоцентрической психологии.

Первый неизбежный шаг—из созвучия с окружающей средой, из наблюдения за ней, из проекции на внешний мир внутреннего плода разума, — был созданием сельского хозяйства: действительно оформлялась идея порождения («женственное» сельское хозяйство), как альтернатива идее убийства («мужественная» охота). Цветущие и плодовитые богини не были эмблемой, за которой скрывалось возникновение сельского хозяйства: напротив, рождение сельского хозяйства было вызвано, привлечено, вынуждено аналогией с этой священной беременностью. Оно было симптомом и выходом наружу этого фантастического плодородия, предназначенного, по логике вещей, порождать, растить и умножать. Мы не знаем, являются ли статуи-фетиши

именно изображениями богинь; однако мы знаем, что они в любом случае были магическими и способными творить.

Второй шаг был сделан в Неолите: и это было действительно самое большое новшество всех времен, потому что это был момент возникновения цивилизации с ее амбициями безграничного развития. Мысль пересекла порог пубертата и, не удовлетворяясь изобретением сельского хозяйства, стала жить ради роста, развития и бесконечного порождения. Начиная с эпохи Неолита, человек не принимает жизни в неизменных условиях.

Разум теперь управлялся мифологемой плодородия. Плодородие, однако, заключалось не только в образах, но и в самом акте их создания. Порождение теперь доверялось не только природе, но, прежде всего, уму. Говорили, что человек достиг духовности и трансцендентности — то есть высшей и абстрактной умственной деятельности, — когда он уже не покидал своих покойных, но создал культ и обряды похорон. Однако, духовная жизнь родилась, когда доисторический человек окружил преклонением *рождение:* когда спросил себя не только о том что происходит после смерти, но и о том, что происходит до появления в этом мире и какие силы вводят нас в него.

Фактически к культу мертвых человек пришел сравнительно рано, он был уже у неандертальцев, еще в Верхнем Палеолите: и десятки тысячелетий условия человеческой жизни оставались неизменными, несмотря на его приход. Все обстояло иначе с культом плодородия, то есть порождения, рождения, происхождения и роста. Эта эра отмечает начало всего, что мы считаем присущим человеку. В Неолите ум, поглощенный плодородием, уже демонстрирует плодородие, присущее уму. Не только поля, но и человеческая жизнь плодородна. Не имея еще письменности, человек рассказывал об этой тайне с помощью самой важной из идеограмм: цветущего тела женщины.

Мы не можем сказать, когда утвердился патриархат, и соответствовало ли открытие сельского хозяйства царству матерей. Мы не пытаемся восстановить историю общества и тем более техники и экономики; наша история — психологическая. С этой точки зрения мы считаем, что мужчины начали чувствовать — а может, и утверждать, — свою власть в тот момент, в который стали более или менее сознательными отцами: когда начали осознавать свою роль дающих жизнь. Речь идет не о присутствии спермы в акте оплодотворения — это понимание было достигнуто намного позже, — но о роли хранителей семьи, обеспечивающих преемственность между поколениями. Это был решительный выход из сиюминтуного существования и вход в мир проектов и планирования.

Но эта роль не была оригинальной. Она делала их продолжателями, сотрудниками и в то же время соперниками матерей. Матери всегда жили вместе с детьми. Первобытный же мужчина жил сам по себе. Только преображенный в отца, он открыл, что жизнь может быть совместной. И, сделав это, открыл, что он может сравнивать себя с матерью, и так понять, кем на самом деле является. Это тоже было одной из причин создания изображений плодовитых матерей.

Сопоставление себя с чем-то противоположным — в данном случае с другим полом — посредством воспроизведения фигуры этого другого и

навязчивого отождествления с ним, — типичный мотив современной психологии, но подобное случалось во все времена. Этб очевидно в племенных обществах, где психический опыт проявляется общественным способом: племя, которое живет, убивая бизонов на охоте, не убивает их в своей психической жизни. Коллективная фантазия не устраняет их; напротив, населяет их образами свои рисунки, поделки, рассказы, песни и танцы. Как охотник пытается впитать жизненную силу животного, на которое охотится, так отцы старались придать себе материнскую способность порождать жизнь.

Если эти простые соображения правильны, то мы подошли к радикальной асимметрии между историей мужчины и женщины.

Возможно, общество было патриархальным во все доисторические эпохи, в том числе в те, от которых нам остались исключительно женские изображения. И тогда получается, что мужчины, хоть и подчиняя себе женщин в обществе, продолжали чувствовать их влияние в психике. Остается только объяснить, почему в некоторые эпохи зацикленность на женских образах из относительной становилась почти абсолютной.

Но возможно, эпохи, в которые доминируют женские изображения, действительно были матриархальными. Тогда это означало бы, что матриархи были намного более самодостаточны, чем мужчины, и не стремились обладать психической властью, которая исходила от них. Они прославляли в изображениях, и, возможно, в культе только самих себя.

Получается, что мужской разум нуждался в образе другого пола, а женский — нет? В первом случае мужчины доминировали бы над женщинами в том, что касается институтов, но были бы подчинены психологически. Во втором они были бы подчинены на обоих уровнях. В обеих гипотезах мужчины были бы подчинены власти другого пола, что не имело соответствия в женском разуме. Будет полезно помнить об этой исторической нехватке мужской самодостаточности: нехватке не столь великой, конечно, но с нашей точки зрения могущей сделать их более хрупкими. Когда мы будем говорить о современной эпохе, мы столкнемся с совсем другой слабостью. Мы не знаем, какой из полов доминировал в то время в обществе. Но мы знаем, что женщины доминировали в психике. Для психологии мужское было относительным, а женское — абсолютным. Присутствие мужчины представлялось случайным, а женщины — обязательным.

Даже спустя длительное время мужчина несет в себе тревогу по поводу той бесполезности, которая характеризовала самца обезьяны. Кроме того, почти до сегодняшнего дня, сохранились наиболее «примитивные» народы, у которых нет отцовства". Для того, чтобы воздвигнуть здание патриархальной истории, надо было прежде всего воздвигнуть отцовство.

Еще раз констатируем, что симметрия между отцом и матерью ложна и что наивен тот, кто говорит о ней. Мир отцов не может не включать в себя, неважно, на положении равенства, подчинения или подчиненности, мир матерей. Мир матерей, напротив, возвращаясь некоторым образом к животному началу, теоретически мог бы отказаться от отцов и заменить их случайными контактами с особями мужского пола. Миф об амазонках, которые предшествовали историческому греческому обществу, именно об этом: в какой-

то момент этот народ воительниц предпочел не подчинить себе мужчин, а избавиться от них.

Анализ происхождения европейской истории всегда заканчивается реконструкцией не столько общественной, сколько воображаемой.

Существовало общество, существовала семья, но мы не знаем, какими они были. Но мы знаем больше о психическом древнего человека, о его символической жизни. В эпоху Неолита фигура матери доминировала. Фигуре отца еще не удалось выделиться. Рассказывая нашу историю, мы должны учитывать это выстраданное происхождение отца.

Мы вернемся к разговору о мужчинах и женщинах, оставив патриархат и матриархат. Мы не хотим тратить время на этот спор. Патриархат притесняет не только матерей. Со временем, косвенным образом, смещая акценты с психики и чувств на институционные отношения, опустошая символы и ограничиваясь их материальным содержанием, закрепив петлицы и погоны на униформе отца, он подавляет и его самого.

Возникновение патриархата может сделать невидимым собственно отца. Он должен будет в молчании строить свое личное присутствие там, куда его увлекает коллективный кодекс. Матери удается более гармонично стать матриархом, не превращаясь в институт: она остается при этом матерью, ее индивидуальные отношения с ребенком не меняются. Для отца это труднее. Его отождествление с институтами более полное; а строение отношений с ребенком более хрупкое и менее инстинктивное. Это не отрицает глубины данных отношений, но ограничивает его свободу самовыражения. На отцов ложится печать молчания, которую они продолжают, как камень, катить по дороге, проложенной патриархатом, оставляя за собой след печали.

Глава 7
Исторический горизонт

Горизонт— это граница, которой может достигнуть наш взгляд, не встречая препятствий. Он определяет границы содержащего нас в себе небесного свода.

Индия, Китай, Древнеегипетское общество, и многие другие цивилизации находятся за пределами европейского горизонта не только по географическим мотивам: у них нет преемственности с культурой Западного мира. А эта культура больше, чем какая-либо другая, способствовала глобализации, и экспортировала в мир патриархат.

Греция стоит у истоков Западной патриархальной цивилизации, появляясь из мира предыстории, из вечного и мифического мира Великих Матерей. Для того, чтобы понять отца сегодня, мы должны смотреть на Древнюю Грецию не только потому, что она соответствует этим корням, но и потому, что в то время фигура отца проходила через кризис, аналогичный кризису нашей эпохи. Для западного мужчины исторический горизонт отца — греческий.

Современный мир Европы и Америки произрастает из корня древней Римской цивилизации. Многие римские законы и институты до сих пор живы в

современности. Некоторые из них касаются именно отца. Но Рим возник после греков и является их преемником.

Наконец, иудео-христианский монотеизм действительно является общим наследием большей части Западной цивилизации. Но не всей. Даже после прихода христианства, иудаизм играл свою собственную роль, большую, чем можно предположить по его сравнительному количественному составу. Иудаизм является предшественником христианства только с христианской точки зрения. Исторически он — альтернатива, как и ислам. На протяжении некоторых периодов, например, в Средние века, он внес в развитие культуры Западного мира больший вклад, чем христианство, правда, лишь для того, чтобы потом вернуться на Восток.

Мы в большей степени происходим из традиции греко-римской, чем иудео-христианской, поскольку в греко-римской традиции наблюдается преемственность. В иудео-христианской традиции же мы наблюдаем прыжок, разрыв, часто отвержение, как, например, в истории гонений. Христианство говорит о своих еврейских корнях, но не питается ими. Оно перечитало тексты более древнего монотеизма сквозь собственные очки. Оно не ассимилировало иудаизм с восхищением, как Рим поступил с Грецией и греческой религией, но подмяло его под себя с непримиримостью новообращенных фанатиков.

В исторической части нашего исследования мы уделим больше внимания Греции, чем Риму и христианству. Не для того, чтобы умалить их важность в создании стен Западной цивилизации, и ее отеческой формы, а потому, что их институты — юридические в первом случае, религиозные во втором, — дошли до нас с непрерывностью. Они будут у нас перед глазами, когда мы будем говорить о нынешних проблемах.

В том, что касается психологической истории, мы интересуемся больше символами, чем концепциями. По отношению к греческому миру традиции римского права и христианского богословия содержат больше идей и меньше образов. Больше разума и меньше мифов. Для психологии эти традиции менее основаны на бессознательном: том, что нами руководит, но чего мы не осознаем, — и больше: на общественном сознании: том, что мы осознаем, но что часто имеет меньшее значение, чем мы полагаем.

С классической Грецией все иначе. Преемственность здесь менее заметна. Сегодня только незначительное меньшинство жителей Запада — греки. Однако от ее культуры остались орудия, которые наш разум — неогерманский, неолатинский или неославянский; католический, протестантский или иудейский; европейский, американский, — еще использует. Это не только понятия философии и наук, которые используются сознательно. Прежде всего, это мифологические образы, которые использует подсознание и из которых мы унаследовали миф об отце.

Греция создала идеальные образцы: универсальные модели и эстетические каноны, которые не были ни превзойдены, ни оспорены. Они дошли до нас не как официальные институты, такие как Церковь и римское право, которые мы в какой-то степени можем опровергнуть, а как притягательное вдохновение, которое образовало глубинный слой в мире нашего воображения.

В древней Греции не было религии, подчиненной абсолютным правилам и мощным институтам, в отличие от иудейской и христианской. Ценности общества были заключены в миф. Это был весь мир, постоянно бурлящий и эволюционирующий. Он не знал четких границ и определенных канонических форм.

Сегодня одно ревизионистское течение утверждает, что на происхождение Греции оказали сильное влияние пришельцы с юга, в основном египтяне и финикийцы. Но преобладающая историческая версия говорит, что все началось с прихода эллинов. Эллины, которых римляне позже назвали греками, были народом патриархальным и воинственным, индоевропейского происхождения. О том, как они жили до того, как расположились на греческом полуострове и окружающих областях, мы почти ничего не знаем. Их история совпадает с историей этих земель, куда они пришли как иноземцы и завоеватели. Несколькими волнами, на протяжении столетий, они приходили с севера. Местное население было побеждено, но не уничтожено. Роли мужчин и женщин, вероятно, до этого находившиеся в достаточном равновесии (Гимбутас и другие говорят о гиланическом, то есть уравновешенном в плане положения мужчин и женщин, обществе), сместились в пользу мужчины.

Греческий миф описывает несравненные фигуры богинь, таких, как Афина, Афродита, Деметра, и смертных женщин. Это героини — положительные и отрицательные — как Антигона и Медея; даже учительницы мудрости, как Диотима, которая, согласно «Пиру» Платона, была наставницей Сократа. Но речь идет именно о несравненных образах: предмете скорее поклонения, чем подражания, которые, вероятно, воспроизводили фантазии мужского ума и суеверное отношение восхищенного недоверия, с которым он воспринимал все женское. Благодаря преемственности Западного мира, Греция оставила нам много документов, которые позволяют различать мир воображения и реальное общество. Реальные женщины вечно оставались несовершеннолетними. Об их материнском качестве греки говорят мало, в особенности в сравнении с тем, как славят отца. Кроме того, единственная богиня-мать, Деметра, — объект особого, эзотерического культа.

Страх мужчин перед предыдущим миром, перед ужасной властью женщин, сохранится в мифе об амазонках, народе женщин-воительниц, которые избегали или подчиняли себе мужчин. Они даже осаждали Афины, и только прототип мужской силы, Геракл, смог победить их.

В разной степени, в зависимости от местности, эллины подчинили себе предыдущее население, но в то же время смешались с ним. Что-то подобное случилось и с богами. Не только кровь и гены, но ценности, божества и мифы побежденных проникли под сияющую броню победителей.

Боги, которым суждено было править, нисходили сверху - с неба. Или, по крайней мере, с горы Олимп, которая из-за своей высоты приравнивалась к небу. Боги, которые закрепились, были патриархальной группой. Царем богов признавали Зевса, который был также отцом большинства из них.

Но Зевс не был им от века. Иногда он оказывался консортом более значительного божества. В святилище в Додоне ему поклонялись в паре с изначальной богиней природы, называемой Диона. Предыдущий мир был жив.

Зевс контролировал его, то с помощью силы, то с помощью компромисса. Другие небесные боги Олимпа постоянно были готовы к бунту против патриархальной власти Зевса, а снизу эти небесным божествам напоминали о себе более древние земные божества, подчиненные, но не уничтоженные.

Первые остались религиозными фигурами победителей, знати, отцовского и воинственного порядка. А прежние обитатели сожительствовали с ними, невидимые, лишенные наследства, пережитки эпохи, которая еще не была подчинена отцу. Со временем, именно по причине своего полулегального и неканонизируемого существования, эта субкультура обогатилась за счет иноземных влияний, преимущественно восточных.

О главном из антиолимпийских божеств, Дионисе, мы узнаем достаточно поздно. Он проник в Грецию с Востока, как мы уже заметили. Впрочем, вполне вероятно, что его культ существовал и раньше, но начал упоминаться официально, когда достиг компромисса с доминирующими божествами. Дионис стоял во главе популярной религии, мистериальных культов и театра. Неофициальная альтернатива отцу с Олимпа, он обладал сомнительной мужественностью, был временами бисексуален. Изначально, на Крите, острове, на котором была найдена масса изображений Великой Матери, он должен был быть божественным ребенком, у которого есть только мать. Только позже, когда эллины укрепились на территории во втором тысячелетии до Р. Х., он был включен в триаду отец-мать-ребенок и стал собственно Дионисом: одновременно сыном Зевса (Дио) и божественным ребенком.

Формы богов и структура мифологии античности, были официально закреплены около VIII века Гесиодом и Гомером, во всех отношениях первыми поэтами древности.

Гесиод прекрасно знает ценности своего времени и становится на сторону нового порядка. Он категорически не доверяет женщинам. Но он рассказывает о немой стороне мира. В «Трудах и днях» он говорит о бедняках, о полях, о каждодневном труде. В «Теогонии» рассказывает о рождении богов и победах этих небесных обитателей: но описывает и ту дорогую цену, которую пришлось заплатить, и о том, что пораженные земные божества готовы мстить.

Гомер, лучезарный и благородный, упоминает только небесных богов и благородное общество. Низменное и земное его не интересует, будь то неграмотный народ или прежние божества. В отличие от Гесиода, Гомер ничего не говорит о древнем мире щедрой матери. Его голос, вероятно, самый сильный во все времена, хотя по иронии судьбы само его существование ставилось под сомнение, оставит решающий отеческий отпечаток на нашем бессознательном разуме.

Глава 8
Миф о происхождении отца

В радикальном пессимизме греков все было ограничено, ничто не было всемогущим и вечным. Хотя боги были бессмертны, но не вечны, мы узнаем об их происхождении, и о том, что они должны были сражаться, чтобы закрепиться на своих местах, и могли потерпеть поражение. Их власть была

ограничена. Им угрожало соперничество со стороны других богов и удары судьбы, которым они были подвержены так же, как люди.

Иудейско-христианский монотеизм объявляет Бога существовавшим вечно. В начале священной книги Бытия описывается происхождение человека и мира. В первом тексте, предназначенном для греков, «Теогонии», Гесиод рассказывает о происхождении богов.

Вначале был Хаос: не просто беспорядок, как мы представляем себе сегодня, а бесконечные возможности (глагол *kaino* значит «распахиваться»). Потом была Гайя, Земля. Она породила Урана, Небо, подобного ей, посредством продолжения себя, а не через соитие. Земля, женского рода, место хтонических божеств, представляла центр культа древнего населения Средиземноморья. Небо, мужского рода, место олимпийцев, символизировало направление, в котором двигалось новое патриархальное общество. Миф рассказывает, что было в начале и что возникло потом.

Потом Гайя и Уран породили циклопов, которые создали гром и молнию — могущество неба.

Теперь начал разрастаться открытый и хаотичный конфликт между Небом и Землей, мужским и женским. Первоначальная пара породила и других детей. Но отцу они не были угодны, и, чтобы они не путались под ногами, он вновь заточил их в чреве матери. Этот наиболее архаичный из Греческих мифов, как нам представляется, изображает психологию мужчины до изобретения моногамии и семьи. Мужчины, который практически является животным: дети его не касаются, их производит тело матери.

Гайе это не понравилось. Она сделала серп и попросила сыновей наказать отца. Они отступили, испуганные. Только Кронос не колебался. Отец-Небо пришел к Матери-Земле, полный желания. Кронос серпом отрезал ему гениталии и бросил их далеко от себя. Но капли крови опять оплодотворили Гайю, и родились Эриннии, богини первого правосудия, которое было связано с кровью и местью.

Это может быть аллегорией процесса формирования семьи. Изначальный мужчина, родитель, который не растил детей, оказался кастрирован, стал бесплодным: эволюция вытеснила его, потому что он был антагонистом женщины, желавшей умножать жизнь, и угрожал жизнестойкости потомства. Миф прямо говорит нам: отец-животное ведет поединок не с заботливым отцом, а с сыном, который хочет выжить.

Так Небо и Земля утратили первоначальное единство и были насильственным образом разделены, как случается в мифах о происхождении мира многих культур. Уран был устранен, но сохранилась архаическая обязанность отца насаждать свою власть и бороться за нее с сыном.

Наступил черед Кроноса. Объединившись с Реей, он породил многочисленное потомство. Но от Гайи и Урана Кронос знал, что сын отнимет у него власть, поэтому он пожирал детей в тот самый момент, когда они рождались. Всех, пока не настал черед Зевса. И опять решение принимала Гайя.

Должен был родиться божественный мальчик, судьба которого была править небом, а его родитель поджидал его с раскрытыми челюстями. Небеса должны поддерживаться Землей, чтобы они не рухнули, с их воздушными

созданиями и новорожденными, под давлением новой, громадной ответственности. И великая мать, бывшая в основе всего, от этой ответственности не уходила. Гайя обманула Кроноса, заставив его проглотить камень, обернутый в пеленки, и спрятала Зевса на Крите, чтобы выкармливать и воспитывать его [0]. Она поместила его в недоступном гроте, среди гор и лесов. Там, в чреве матери-земли, доверенный первобытной силе, на острове, где обитали великие богини и божественное дитя Дионис, в центре того восточного Средиземноморья, где, возможно, был распространен материнский культ, вырос новый бог и установился новый порядок. Предполагалось, что абсолютная власть должна была принадлежать молодому небесному отцу, но по инициативе древней земной матери. Именно так, как говорят нам реконструкции доисторических цивилизаций, две эти силы были связаны компромиссом и союзом.

Став сильным, Зевс свершил правосудие: в первый раз речь шла не о личной мести, дающей что-то самому мстящему, а об удовлетворении Эринний, внешнего принципа правосудия". Он отомстил старому богу Урану, применив идею равенства. Неважно, что это равноправие было первобытным и жестким. У нового царя было теперь намерение. Был совершен громадный шаг вперед, как по сравнению с бессмысленной жестокостью, с которой началась «Теогония», так и по сравнению с параллельными восточными мифами. Это тоже стало характеристикой правления отца: иметь программу.

Зевс также освободил братьев своего отца. В знак благодарности они вручили ему гром и молнию, которые Гайя хранила под землей. Еще раз власть в повествовании смещается на небо. И снова прежняя земная богиня способствует ее утверждению.

Но окончательная власть олимпийцев и правление Зевса среди них еще не были гарантированы. Последовала смертельная борьба между Титанами и богами с Олимпа. Последние победили с помощью сторуких чудовищ, которые были помещены в заключение Ураном и теперь стали союзниками Зевса. Когда борьба закончилась, выступила Гайя и убедила богов вверить Зевсу высшую власть.

Гесиод, который, вероятно, представлял свое время с большим реализмом, чем аристократичный Гомер, включает в повествование многие темы: j антагонизм между небом и землей, отцом и матерью, но также между богами и людьми, мужчинами и женщинами и разными видами сверхчеловеческих существ, Титанами и собственно богами. Эти образы показывают нам, каким медленным и неуверенным было утверждение власти отца.

Длинное отступление рассказывает о самом знаменитом из Титанов, Прометее. Он обманул Зевса из любви к людям и впервые дал им огонь. До того времени люди были только мужчинами. Но в наказание им, согласно Гесиоду, Зевс, в свою очередь сделал им дар: женщин [2]. Они описаны как бедствие. Как трутни среди пчел, они пользуются продуктами, но ничего не производят: Гесиод, похоже, не обращает внимания на тот факт, что трутни мужского пола и что среди пчел производят только женские особи. Мужчина, который женится, страдает всю жизнь; тот, кто не женится, тоже страдает от отсутствия детей. Ценности архаической Греции понятны. Борясь с быстротечностью жизни,

иметь потомство — единственное благо: подразумевается, в преемственности между отцом и сыном. В то время как Зевс представляет собой наиболее возвышенную мужскую фигуру, которой, хоть и с большого расстояния, мужчины могут вдохновляться, женские персонажи окружает полный пессимизм. Гесиод говорит, что женщина — это *genos*, то есть отдельное племя, по сути своей неспособное давать. Невозможно представить себе более радикальное несоответствие, чем между ее фигурой и фигурой Гайи, Великой Богини Матери. Пандора, женский прототип, о котором рассказывается в «Трудах и днях», отличается непредусмотрительностью, непобедимым любопытством и прежде всего жадностью: все это отрицает материнские качества.

Представляется, что Гесиод хочет доказать, что идеал женственности может быть найден только в богинях, в то время как земные женщины безнадежны. Кто, в таком случае, рождает и кормит детей? Может даже показаться, что таковой была заслуга первозданной матери, но что поэт не наблюдает ничего подобного среди женщин, которые его окружают. Все перипетии этой истории объясняют, как от изначальной божественной матери, рядом с которой был отец, равный ей, мы перешли к божественному отцу, иерархически превосходящему богинь, которому подчинены мужчины, наделенные еще большим превосходством в сравнении с женщинами. Рассказ ведет нас к отцу, который является всем, а женщина оказывается почти ничем: даже не матерью.

Прежде чем завершить «Теогонию», Гайя делает пугающий крутой поворот, который кажется желанием вернуть все назад, в ее архаическое царство, и это показывает нам, как опасна Великая Мать. Охваченная желанием, она сочетается с Тартаром, божеством печального подземного царства мертвых: мрачным символом, отрицающим сияющую жизнь, которая должна появиться при рождении. От этой чудовищной любви рождается бог-чудовище Тифей: на плечах у него было сто огненных голов драконов и змеев, явные символы хтонического мира, который не хочет подчиняться, и говорил он, как животные. Мир возвращался в животное состояние, потому что Тифей хотел подчинить его себе. Но Зевсу удалось выступить против него с молнией, небесным оружием, и низвергнуть его. Застонала земля, признав себя побежденной, и Тифей был посажен в Тартар, откуда до сих пор посылает нам бури, которые губят людей, не имеющих убежища.

Затем Зевс сочетался с Метидой, чье имя означает разум мудрый и осторожный. Гайя и Уран предсказали ему, что у него родится потомство, отличающееся великими качествами, которое захочет занять его место. Поэтому, когда Метида собиралась рожать, Зевс проглотил ее. Двойная, свирепая хитрость. С одной стороны, бог предотвратил опасность. С другой, богиня-осторожность теперь обреталась внутри него и могла вечно давать ему советы [6]. Миф хотел таким образом отметить — с помощью насильственного действия, — отделение от опасности первичных богов. Но это было не все. Божественная дочь, которая была во чреве Метиды, была той, что отвечает за разум, мудрость и непобедимую воинскую доблесть: богиня Афина. Но она в

данный момент находилась в теле отца, и ее надо было родить. Так и случилось, и однажды она появилась, уже в полном вооружении, из головы Зевса.

Одним жестом новый царь богов укрепил собственное превосходство, включив в себя качества, которых больше всего не хватает первобытному склонному к насилию мужчине, и стал единственным родителем — отцом, который порождает без матери, — и получил себе непревзойденного союзника, действующего также как алиби. Богиня Афина в самом деле обладала всеми качествами дочери одного отца: она была мужественной и покровительствовала только мужчинам-победителям. Она вступила в битву на стороне Ахилла, когда ему оставалось только добить Гектора, уже осужденного на весах Зевса. Она устроилась благосклонно на мачте, чтобы помогать управлять кораблем Улисса, когда тот уже избивал безоружных и застигнутых врасплох женихов. Афина обладала качествами, которые по традиции считаются мужскими: «Мое сердце (...) все для мужчины. Я принадлежу только отцу». В то же время ее представляли как женщину расчетливую и очаровательную, нечто вроде духовной любовницы двух героев «Илиады» и «Одиссеи».

«Теогония» содержит неистощимый список других поступков Зевса, которые символически рассказывают о его колонизации женского континента. Он женился на Темиде, породившей Оры, богинь времен года; Евномии, добром законе; Дике, правосудии; Ирине, мире; потом породил Мойр, богинь судьбы как благой, так и плохой: все эти качества и сейчас считаются феминнными. Теперь они как дочери подчинены сильнейшему богу-отцу. Затем Зевс женился также на Деметре, богине плодоношения полей, непревзойденной благотворной матери; и Мнемозине, памяти, которая породила ему Муз, во всех культурах наставниц искусств. Дело было сделано. Посредством войны, хитрости, обольщения и порождения новая мужская власть распространила свое влияние на основные качества жизни, в том числе те, которые имели как эмблему женское божество.

Глава 9
Гектор

Даже среди народа, который выделяется героизмом, он являет уникальный пример героя, для всех и на все времена: Гектор, сын царя Трои Приама, последняя защита города от убийства, которое готовят греки. Гектор одновременно патриот и отец: эти два слова почти одинаково звучат *(patriota* и *padre)* и имеют — как мы увидим позже — почти одно и то же значение.

Ахилл и его подвиги доминируют в «Илиаде». В нем преобладает унизительная, эгоистичная, человекоубийственная ярость. Его отвага и сила велики, но не свободны от высокомерия. Его героические качества патологичны: только в финале его излечивает лекарство боли.

«Одиссея» наполнена приключениями Улисса. Но в его приключениях преобладают хитрость и выгода. Дар себя, который герой должен сделать без остатка — скрывает его дар себе, фактически изобретателю такого поведения. Этот герой с примесью утилитаризма готовит нас к законам свободного рынка.

Его критерий — не посвящение абсолюту: он устремляет взор в современность и реальность. Он является эгоистом, пусть даже в осознанной и смягченной форме.

Гектор не таков. Он также подвержен действию искушений. Это не искушение гнева, которое охватывает Ахилла, или новизны, что обольщает Улисса. Он искушаем теплом и разумностью женщин. Его желания не запретны, напротив, они присущи всем. Однако в случае Гектора, они оказываются в конфликте с чувством долга. Гектор слушает голос привязанности и компромисса; он признает разумность этих мотивов. И отвергает этот голос по причинам, свободным от морализаторства.

Фигура Гектора в «Илиаде» ведома высшими силами, но не иррациональна. Простые слова доходят до него и трогают его. Гектору недостает одного качества античного героя: *hybris,* высокомерия, которое бушует в душе Ахилла, Агамемнона, того же Улисса, когда тот ранит уже терзающегося и слепого Циклопа.

В отличие от «Одиссеи», которая рассказывает о путешествиях, полях, еде и семьях, «Илиада» рассказывает о войне. Но доспехи воина внезапно ломаются в шестой книге, когда мы обнаруживаем внутреннюю жизнь, которая происходит внутри стен осажденной Трои. Здесь Гектор оказывается в местах, отмеченных женским присутствием.

В шестой книге Гектор вынужден сказать «нет» женщинам, настаивая на своих обязанностях мужчины: он не может сочетать интимность объятий и свою публичную роль воина. Его отказ приемлем для женщин, потому что в нем нет гордыни, ведь это отказ отца, а не мужчины. Но этот отец может растеряться, когда дело доходит до его отношений с сыном.

Гелен, самый уважаемый из прорицателей, обратился к Гектору: греки пользуются помощью богини Афины, нужно, чтобы женщины Трои умоляли ее, принеся на ее жертвенник самые прекрасные дары. Гектор только что водил своих воинов в контратаку: он возвращается в город. Эта инверсия не только физическая: она прежде всего психологическая. Из мужского мира, с войны, он возвращается в мир женский, стены дома и храма, где даже божество — женщина. Гектор умеет разговаривать с женщинами, и это уникальный для эпической поэзии фрагмент, в котором воин встречается с феминными энергиями в себе самом.

Ему навстречу выходит толпа троянских женщин [8]. У каждой есть муж, сын, отец, брат: каждая хочет услышать новости о своем мужчине в битве. Гектор, однако, без морализаторства способен превратить желание в долг. Нет времени рассказывать — говорит он — об отдельных судьбах, которые непрерывно колеблются под ударами судьбы. Время молить богов о судьбе Трои, которая касается всех.

Гектор идет в царский дворец, чтобы встретиться со своей матерью Гекубой. Там, в комнатах сестер, он встречает царицу, которая находится у Лаодикии, своей самой красивой дочери. Гекуба берет его за руку: «Что ты, о сын мой, приходишь, оставив свирепую битву? Верно, жестоко теснят ненавистные мужи ахейцы (...) Но помедли, мой Гектор, вина я вынесу чашу Зевсу отцу возлиять и другим божествам вековечным; После и сам ты, когда

пожелаешь испить, укрепишься; Мужу, трудом истомленному, силы вино обновляет; 'Ты же, мой сын, истомился, за граждан твоих подвизаясь».

«Сладкого пить мне вина не носи, о почтенная матерь! Ты обессилишь меня, потеряю я крепость и храбрость. Чермное ж Зевсу вино возлиять неомытой рукою Я не дерзну, и не должно сгустителя облаков Зевса Чествовать или молить оскверненному кровью и прахом. Но иди ты, о матерь, Афины добычелюбивой в храм, с благовонным курением, с сонмом жен благородных. Пышный покров, величайший, прекраснейший всех из хранимых» [9]. Гекуба следует совету, собирает женщин и идет с ними к жертвеннику богини, чтобы принести ей самые прекрасные жертвы. Но Афина не выражает им своей благосклонности.

Опасности, связанные с женщинами, смыкаются, как кольцо. Сначала мать-царица использует свою привязанность и свою власть, чтобы толкнуть сына на то, чего он боится: выйти из боя, смягчить свою волю вином. Потом Афина, богиня, облаченная в латы, интеллектуальная и не материнская, сурово отвечает на просьбу Гекубы; ее холодное отношение замыкает цикл, открытый чрезмерным теплом матери. Гектор же следует своим путем.

Вот мы наблюдаем его в покоях на вершине скалы, где живет человек, с которого начались все несчастья, описанные Гомером: брат Парис, своим похищением Елены навлекший месть греков и их поход на Трою. Мы снова встречаемся с двусмысленным женским голосом. Чуть ранее двусмысленность была в богине-женщине с характером воина; здесь мы видим воина с женственным характером. Там женщина была матерью, которая ослабляет любовью; здесь это искусительница, которая обольщает. Вдали от поля боя, беспокоящийся скорее о своей красоте, чем доблести, Парис чистит доспехи. Упрек Гектора ранит его сильнее, чем вражеское копье: смущенный, этот воин парадов предлагает тут же вернуться в бой и признает, что вел себя неправильно; он был дома, чтобы утешить Елену в ее скорби.

Теперь прекрасная женщина обращается к Гектору со словами сладкими, как мед: «Деверь жены бесстыдной, виновницы бед нечестивой! Если б в тот день же меня, как на свет породила лишь матерь, Вихорь свирепый, восхитя, умчал на пустынную гору, Или в кипящие волны ревущего моря низринул, — Волны б меня поглотили и дел бы таких не свершилось! Но, как такие беды божества предназначили сами, Пусть даровали бы мне благороднее сердцем супруга (...) Но войди ты сюда и воссядь успокоиться в кресло, Деверь; твою наиболее душу труды угнетают, Ради меня, недостойной, и ради вины Александра».

«Елена, Сесть не упрашивай; как ни приветна ты, я не склонюся; Сильно меня увлекает душа на защиту сограждан, Кои на ратных полях моего возвращения жаждут. Ты же его побуждай; ополчившися, пусть поспешает; Пусть он потщится меня в стенах еще града настигнуть. Я посещу лишь мой дом и на малое время останусь Видеть домашних, супругу драгую и сына-младенца, Ибо не знаю, из боя к своим возвращусь ли еще я Или меня уже боги погубят руками данаев».

Гектор идет дальше. Теперь он в своих покоях. Он ищет Андромаху. Дома пусто. Он спрашивает у прислужниц. Супруга ушла с кормилицей и

маленьким^ Астианаксом. Не к другим женщинам и не в храм Афины. Она побежала вся в слезах, и казалась безумной, на башню, с которой видно поле боя, чтобы видеть, остановил ли ее муж греков, которые наступали. Гектор поворачивается на своем пути. Он, не медля, бежит по улицам центра города к воротам. Там он встречает свою семью. Смотрит на сына и, молча, ему улыбается.

Но Андромаха подходит к нему, плача, берет его за руку и говорит: «Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость! ни сына Ты не жалеешь, младенца, ни бедной матери; скоро Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя аргивяне, Вместе напавши, убьют! а тобою покинутой, Гектор, Лучше мне в землю сойти: никакой мне не будет отрады, Если, постигнутый роком, меня ты оставишь: удел мой — Горести! Нет у меня ни отца, ни матери нежной! Старца отца моего умертвил Ахиллес быстроногий (...)Феба ж и матерь мою поразила в отеческом доме! Гектор, ты все мне теперь — и отец, и любезная матерь, Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный! Сжалься же ты надо мною и с нами останься на башне, Сына не сделай ты сирым, супруги не сделай вдовою». Потом следует последний аргумент, который она пытается адаптировать к мужскому языку: осторожность — это не трусость, это выбор определенной стратегии. «Воинство наше поставь у смоковницы: там наипаче Город приступен врагам и восход на твердыню удобен»[41].

Но герой следует не законам стратегии, а законам чести, которые велят ему выходить на борьбу с врагом. И нет в мире голоса, который мог бы объяснить эту трагическую судьбу женщине и ребенку, которые хотят жить. Сейчас, слушая женский голос, нельзя избежать боли. Нет больше незаметной потребности во власти, которой были проникнуты слова матери и Елены, нет больше тайного соперничества в голосе женщины, осталась только искренность и грусть, которые Гектор узнает, потому что сам их испытывает. Исчезло противопоставление, остается идентичность.

С «Илиады» начинается эпос и сама литература Западного мира. Но любовь, кажется, почти что заканчивается с этим произведением. Почему диалог Гектора и Андромахи проникнут грустью и ощущением конца? Почему его нежность непревзойденна? Будут еще великие страсти, но никогда больше такой гармонии чувств. Гомер оставил нам не только канон эпоса, он оставил канон бескомпромиссной, несомненной любви. Он воспевает ее впервые и на все времена.

«Всё и меня, то, супруга, не меньше тревожит; но страшный Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой, Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя.

Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным (...) Будет некогда день, и погибнет священная Троя, С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама. Но не столько меня сокушает грядущее горе Трои, Приама родителя, матери дряхлой Гекубы, Горе тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых, Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных, Сколько твое, о супруга! (...)Но да погибну и буду засыпан я перстью земною Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу!»

Произнеся эти слова, Гектор протягивает руки сыну. Но ребенок прячется на груди кормилицы с криком, испуганный доспехами и шлемом, над которым возвышается впечатляющий гребень.

В Гекторе отеческая фигура отличается удивительной односторонностью. Как Авраам, который заносит нож над Исааком, он устремляет взгляд, полный уважения, вверх, а не вниз. Он ведет себя образцово, когда чтит небесного отца, но смущается, когда в свою очередь играет роль отца. Выходя на бой, Гектор доказывает свою верность Зевсу, отцу людей и богов. Он отказывается от предложения матери совершить возлияние в честь бога[42], потому что покрыт кровью и пылью после боя. Но этому осознанию отношений с небесным отцом не соответствует осознание отношений с земным сыном: то есть ясное представление о себе как отце. Он помнит о том, что покрыт пылью и кровью, но забывает о том, что на нем надета целая защитная броня. Сейчас броня защищает его не от врага, а от сына.

Как в любых отношениях, чтобы быть отцом, недостаточно знать, кто такой отец: надо знать ребенка и иметь отношения с ним. Неожиданно этот человек без высокомерия не может наклониться к ребенку. Это значит, что он не чувствует больше детства внутри себя. Слишком частое общение с взрослыми воителями сделало его чуждым этому.

Тут отец и мать улыбаются. Гектор снимает шлем, ставит его на землю и может обнять сына. Разбуженный этим маленьким инцидентом, троянец теперь ощущает опасность изоляции в трауре по поводу грядущих трагических событий. Обращаясь к надежде на будущее, он поднимает ребенка на вытянутых руках, превозносит его над собой, и физически и психически. *Этот жест будет во все времена признаком отца*.

Гектор молится за ребенка, бросая вызов законам эпоса ради него:

«Зевс и бессмертные боги! о, сотворите, да будет Сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди граждан; Так же и силою крепок, и в Трое да царствует мощно. Пусть о нем некогда скажут, из боя идущего видя: Он и отца превосходит!»

Революционные слова. Молитва Гектора перевернула вверх дном неподвижное всемогущество мифа, объявляя ребенка сыном, а сына — надеждой на нечто лучшее в мифические времена. Для того, чтобы придать силы прошлому, которое должно было быть недостижимым образцом, эпос говорил всегда, что люди с поколениями становятся слабее: сам Гектор поднимает камень, «какого не подняли б два человека, Ныне живущих». Но Гектор молит богов о том, чтобы они устроили прямо противоположное: чтобы его сын стал сильнее, чем он. Сегодня непросто представить себе такого щедрого отца. Толкования, преобладающие сегодня, видят в отношениях отец-сын постоянное присутствие зависти и убийственной ревности. Но современное мышление, тем самым актом, которым изобрело подобное подозрение, постаралось также отрицать, что речь идет о недавнем толковании, приписывая его происхождение именно греческому мифу: согласно теории Фрейда, убийственное соперничество между отцом и сыном восходит к греческому царю Эдипу. Если не принимать во внимание это толкование, то

недоверие между поколениями вошло в поговорку: современные отцы не могут себе позволить снять доспехи.

Астианаксу, напротив, удалось сделать то, что для греков было практически немыслимым: напомнить отцу о надежде на будущее и объединить его на мгновение, в едином чувстве, с матерью. Два столь различных существа, с трудом находящих общий язык, объединены ребенком, который не говорит. Эта сцена выделяется на фоне сурового эпоса своей особой аурой интимности и почти христианской чувствительности.

Чему Гектор говорил «нет», встречаясь с женщинами Трои? Им самим, или чувствам, которые знакомы и ему, но которые он отвергает как женственные? Он может преодолеть страх перед врагом, но боится расчувствоваться? Что означает такая чрезмерная, подчеркнутая защита для воина, который преуспевал в отваге?

И почему эта фигура, такая далекая от нас во времени, в неповторимой простоте своей истории, способна тронуть нас сильнее, чем любые герои других эпох? Его слова доходят непосредственно до нас, как голос друга, как звук, звучавший еще вчера.

Гектор стал мифическим героем только благодаря Гомеру. В отличие от других греческих героев, ему не посвящено множество рассказов. В этом он тоже аномальный персонаж, свободный от высокомерия. Но зато каждая последующая эпоха делала его своим.

Он воин и отец семейства. У других героев эпоса тоже есть дети: но между этим обстоятельством и борьбой нет никакой связи. У Гектора, напротив, одно вытекает из другого: он воин, потому что отец. Углубленное в эпические времена, отеческое великодушие Гектора — это крайне необычная черта для его времени, и это первая из причин, по которой мы чувствуем его близость к нам.

Гектор выходит на поле боя, хотя мог бы бороться с врагом под укрытием стен. Он пренебрегает материальной выгодой, потому что она ведет к моральной потере. Он в первом ряду, чтобы подать пример: темперамент отца без гордыни проявляется косвенным образом в необходимости учить, не командуя. Для Гектора меч — орудие не славы, а долга. Только в конце его жизни, когда он убивает Патрокла, прежде чем быть в свою очередь убитым, его тон кажется экзальтированным. Здесь проявляется повествовательная потребность эпоса. Для него колесница судьбы движется осмысленно, а не случайно: и, если Ахилл скоро убьет Гектора, Гектор, герой гуманный и несовершенный; должен хотя бы раз проявить грех гордыни. Но экзальтация ли это гордеца или просто человека в отчаянии, который, ощущая, что колесница мчится галопом, знает, что его смерть на подходе?

Со свойственной ему осознанностью и радикальным анахронизмом он сражается, чтобы защитить семью и город — подданных, которые в свою очередь представляют собой продолжение семьи, — от смертельного нападения врагов: об этом говорят сам Гектор, его отец, мать, супруга и голос рассказчика-поэта. Гектор уже является отцом в плане аффективном и гражданском. Он одновременно является двумя современными персонажами: отцом для семьи и для отечества. Он знает, что недостаточно однажды произвести на свет детей, надо каждый день возвращать им жизнь на другом уровне. Надо ежедневно

подвергать себя опасности смерти, чтобы спасти семью и подданных от руки греков, которые хотят их умертвить. Эпос и трагедия передали нам образы убийств, которые будут совершены: греки будут разбивать о стены головы маленьких детей. Троянцы знают об этой связи Гектора с последующим поколением, и об этом говорит имя, которое они выбрали для его сына: Астианакс, «защитник города». Не только Гектор, но и присутствие сына рядом с ним — стена, которая окружает Трою.

Все это может показаться само собой разумеющимся нам, современным людям. Но на фоне менталитета, который управлял микенским обществом, — где отцы обладали по отношению к детям не столько обязанностями, сколько архаическими правами, — это радикальное предвосхищение: как если бы герой «Илиады» включил электрическую лампочку. В те времена, когда сражаются за славу, за честь и за золото, мужчина бессовестно сентиментален, сражаясь за детей.

Ахилл и Улисс горько оплакивают самих себя, когда сталкиваются с эмоциями, которые обычно гонят от себя. Гектор обладает новой для древнего героя гармонией: храбростью зрело принимать не только сражения, но также чувства и воспоминания. В шестой книге он перечисляет моменты собственной боли и слушает о печалях жены, с грустью, но без слез. Это его достоинство вызывает уважение и помогает нам открыть в нем персонажа, явно отличающегося от античного героя. В самом деле, Гектор, в отличие от других воинов, не знает гнева. Может быть, он хотел бы испытывать его, конечно, охотно поменял бы на него свою грусть. Но он знает, что от своего темперамента не убежишь, а судьба наделила его именно таким характером.

В то время, как Улисс очаровывает, а Ахилл вызывает экзальтацию, Гектор несет в себе тепло, от которого внутри у нас все расслабляется, как при возвращении дорогого человека. Он представляет нечто более истинное, и, в силу этой правдивости, более близкое нам.

Но печаль, которую Гектор вызывает, показывает, что он жив в нашей психологии, а не в обществе. То, что в его истории мы ощущаем как реальное и актуальное, — это не его жизнь и присутствие, а его смерть и отсутствие. Его история предполагает также падение отцов во все времена. Вот вторая причина, по которой рассказ о Гекторе нас трогает. Он содержит не только архаическое описание ответственного и проницательного отца: как пророчество, он предвосхищает одно из необратимых событий истории, его болезнь и смерть. Гектор — это образ отца, которого мы хотели бы иметь, но который был убит более склонными к насилию мужскими проявлениями.

Гектор, который берет в руки копье и выходит на поле боя против греков, проходит по местам нашей самой сильной ностальгии. Это отец, который совершает простой, а не героический жест: как крестьянин, который берет мотыгу и выходит в поле перед домом, чтобы позаботиться о жизни своей семьи. Реальность, которой больше нет, потому что современная отчужденность от природы сделала задачи отца все менее заметными для детей.

Само великодушие Гектора обрекает его на смерть. По окончании дуэли он дарит Аяксу свой меч. Но, говорит Софокл, когда тот падет в отчаянии, он воспользуется именно мечом Гектора, чтобы убить себя.

Семья Гектора, без сомнения, стала известной не только потому, что была описана Гомером: почему же тогда так важны эти стихи, из десятков тысяч? В героическом климате «Илиады» эта семейная группа — выделяется даже в нехарактерной шестой книге: почти христианский эпизод, который попал не в том веке не в ту страну. Некоторым образом он описывает святое семейство, отец в котором вполне реален и присутствует: он не метафизический, и не представлен скромным отчимом, вроде Иосифа. В другом смысле он предвосхищает на тысячелетия компактность семьи как ячейки общества, описывая ее в те времена, когда основным организмом общества был род. Но если встреча Андромахи и Астианакса с Гектором готовит нас к патриархальной идее семьи, то она предвещает и ее проблемы.

В этой семье был традиционный отец, который каждый день покидал домашний кров, чтобы встретиться с миром с оружием в руках, материальным или символическим. Помимо агрессивных качеств, представленных оружием нападения, отец должен был обладать оружием защиты, броней, щитом, шлемом. Эти жесткие и ржавеющие средства защиты вокруг отца придавали ему недоступный вид и делали его воином.

Во все времена отцы обладали этими двумя качествами воинов. Первое, агрессивное, помимо воинственного поведения может проявляться в твердом тоне голоса, в способности немедленно принимать решения. Второе, защитное,

— это сопротивление не только врагам, но и чувствам и просьбам членов семьи, или, в собственной личности отца, сопротивление разума душе. Потому что нежность может отступить перед порядком и планами, если противопоставить их ей как нечто твердое и компактное, подобно поверхности брони. Таким образом, патриархальный мир приучил нас к виду брони, заставив забыть, что ее смысл заключен внутри: согласно этимологическому мифу, *corazza* («броня») — это то, что защищает сердце (по-латински: *cor)*.

Как мы знаем, отец — это хрупкая и недавняя пена на долгой волне человеческой эволюции. Даже агрессивная специализация мужчины не. постоянна, не стабильна, не прослеживается у всех дочеловеческих видов. Там, где самцы сражаются за самку, это часто происходит в ритуальных формах, и вред обычно ограничен. Там, где важна охота, убийство жертвы может быть ролью как самцов, так и самок. Монополия мужчины в охоте и на войне не порождена природой: это человеческое изобретение. Скорее культурной является агрессивная специализация отцов.

Отцы, в свою очередь, дети культуры и истории, однажды заключили пакт ответственности за женщин и детей. За отсутствием инстинктивной базы, обучение и - в психике каждого - самообучение должны были постоянно зависеть от усилий отцов. Усилия эти подвергались не только внешней опасности из-за возможного противодействия общества, но также внутренней, в связи с искушением регресса и беспечного поведения в душе каждого отца.

У древних людей возвращение к индивидуализму без ответственности предотвращалось посредством приписывания отцу все большего почета, приближавшего его к божеству; и непрочность этого отцовского состояния пряталась за авторитетной воинственной броней: потому что ему постепенно была вверена монополия на власть и войну. Ужесточение этого аппарата на заре

истории, таким образом, открывает нам не *природу* отца, а, скорее, обратное ей: страх вернуться к незначительности. Если мать теряет авторитет, который дала ей культура, она остается матерью. Если его теряет отец, он теряет уверенность в собственном существовании.

Поэтому не случайно эти отеческие качества нашли выражение в оружии и броне. Они никогда не смогут вырасти сами, как рог, копыто или коготь. Каждый сын, чтобы стать отцом, должен в свою очередь добыть себе оружие; броня не заменяет кожу со временем, но она должна быть создана, чтобы быть одета для подготовки к битве: отдыхать, спать, заниматься любовью в броне было бы не просто неестественно, это было бы настоящим мучением.

Броня — сложная метафора отцовского института. Как всякая недавняя и хрупкая конструкция, заново изобретаемая в каждом обществе и в каждой семье, власть отца остается колоссом на глиняных ногах. И таковым себя чувствует в темном углу так называемого бессознательного даже самый высокомерный отец. Независимо от того, прошел ли он обучение, которое передает военные ценности, или нет, каждый отец ощущает хрупкость своего положения и, куда бы он ни повернулся, у него возникает искушение окружить себя защитной броней.

Отец семьи защищается не только от внешнего, от других отцов. Он защищается внутри самой семьи, от детей, которые растут, и от подруги, которая вызывает его на соревнование. Эта защита основана на инстинкте — естественных импульсах роста и утверждения — без необходимости такого культурного изобретения, как авторитет, чтобы поддерживать и продолжать его. Но отец пытается односторонним образом устранить все не авторитетное, что присутствует в его личности. Такая цензура - это не то же самое, что настоящее познание себя, и в конечном итоге подавление не настолько эффективно, как предотвращение. Стараясь истребить в себе все слабое и сентиментальное, он провоцирует радикальный бессознательный рост этих свойств. Иначе говоря, отец «как он есть» в смысле не только общественном, но и психологическом, нуждается в броне не только перед другими отцами или родственниками, но и перед самим собой. Поэтому время и цивилизация создали в нем нечто вроде «внутренней брони».

Последовательный отец не меняет содержимое в зависимости от обстоятельств. Изменение нарядов и поведения усложняет сохранение своей личности: для каждого, и в особенности для отца, который высоко ценит твердость. Нельзя прекратить одним махом то, чему учишься в течение долгого времени. От брони не отказываются: броню носят и перед подругой, и перед детьми, в которых нет ничего агрессивного. Тот, кто постоянно носит броню, привыкает к ограниченным, жестким движениям, забывая, что, как говорит само название доспеха на латыни, он связан с сердцем.

Отношения отца с сыном всегда несут на себе знак изобретения и воли. Отец, который старается соответствовать своему отцовству, не «инстинктивен». Но маленький мальчик еще не прошел через такое подавление инстинктов и деформацию природной сути. В то время, как ребенок знает способы продления симбиоза с матерью после рождения, он не имеет механизмов приспособления к социальному поведению, созданному отцом. Именно отцовское *намерение*

принять ответственность по отношению к ребенку препятствует непосредственности общения: отец и сын сначала должны изучить друг друга, чтобы познакомиться. Поэтому наивность Гектора, который забывает снять шлем, когда обнимает ребенка, поражает нашу фантазию и заставляет улыбнуться.

Гектор, таким образом, — древнейшая метафора традиционного отца, но и его непоправимого отдаления от мира матери и ребенка. В то время как мать и кормилица общаются с маленьким Астианаксом без проблем, образ отца, такой отличный от них, его пугает. Прежде чем обнять ребенка, отец должен снять часть брони. Он забывает об этом, потому что уже привык быть одетым как воин.

Как и Христос, но намного раньше его, в миг своей смерти Гектор один. Ахилл вернулся в бой, чтобы отомстить за смерть своего друга Патрокла, которого Гектор, по правилам войны, вызвал на поединок и убил. Раньше Ахилл сражался ради своей славы, сейчас он сражается, чтобы удовлетворить свою жажду мести. Под натиском его яростной атаки ряды троянцев колеблются и отступают в беспорядке в стены города. На поле остается только Гектор, который отказывается скрываться аз стенами Трои. Он чувствует долг перед троянцами, потому что он повел их в бой, убедив, что Ахилл не вернется; он знает, что Ахилл ищет именно его, и он не должен избегать поединка.

Родители просят, умоляют его спасаться за мощными стенами города! Регрессируя к инстинктивному в мужчине — возвращаясь к животному началу — уязвимый и одинокий отец мог бы укрыться в неприступном лоне. Но Гектор не соглашается на это. Это не его место. С регрессией нельзя бороться с помощью другой регрессии.

Гектор знает, что он намного слабее Ахилла. У него возникает искушение пойти на компромисс. Голоса женщин, которые призывают его к миру, соответствуют, вероятно, чему-то, что есть внутри него самого: он уже давно борется со своим сердцем *(thumos),* которое предлагает ему пойти на мир с противником. Он отвергает эти доводы: не потому, что его гордость их исключает, а потому, что он знает: Ахилл не пойдет ему навстречу.

Ахилл настигает его. В этот момент Гектор доказывает еще раз, что он — не просто героическая фигура; он испытывает страх. Воля отца, всеобщего защитника, уступает первобытному инстинкту самосохранения.

Преследуемый своим соперником, Гектор трижды обегает вокруг Трои, от убежища, от которого он отказался. Если город с его защитными объятьями был эмблемой матери, то вне его стен остается в одиночестве даже самый сильный отец.

На четвертом круге Зевс взвешивает на золотых весах судьбы двух воинов: судьба Гектора устремляется к царству мертвых. Боги его покинули[61]. Богиня Афина спускается на поле для последнего обмана, принимая облик брата Гектора, Деифоба (значимое имя: «страх богов»). Подкрепленный этим присутствием, которое он считает дружеским, Гектор решает сразиться. Он снова действует как человек долга и прежде, чем начать сражаться, предлагает противнику договор. Если ему удастся убить Ахилла, он не отдаст его тело в

добычу псам и стервятникам, но передаст грекам. Такое же обещание должен бы дать и его противник.

Ахилл, однако, — человек гнева, а не гражданского долга. Его слова возвращают во времена животных, которые дерутся друг с другом: не как ужас, которого надо избегать, а как логика, по которой строит свое поведение мужчина доотеческой эпохи. Не может быть соглашений между человеком и львом, — отвечает он, — и пактов между волком и ягненком. Ахилл тут же мечет свое копье, чтобы убить. Он не попадает в цель. Наступает очередь Гектора, который не пробивает щит противника, потому что этот предмет, как и ловушка, в которую он попадает, создан богом. Гектор просит у Деифоба второе копье: но оказывается, что он остался один, так как Афина уже утешила Ахилла и выказала ему свою поддержку.

«Горе! к смерти меня всемогущие боги призвали! (...)Часто меня избавляли: судьба наконец постигает! (...) Но не без дела погибну, во прах я паду не без славы». Гектор собирается оставить достойное воспоминание о своей кончине. Он кидается на противника с мечом, но копье Ахилла останавливает его. Корчась в пыли, Гектор просит принять выкуп, который отец Приам даст за его тело. Ахилл повторяет, что хочет, чтобы его растерзали псы и стервятники. На стены Трои выходят плакать родственники, тем временем Ахилл выполняет до конца ритуал, который погружает Гектора в животное состояние: продырявливает ему пятки, пропускает через них ремень и подвешивает тело к своей колеснице, повторяя жест охотника. Андромаха выкрикивает пророчество о будущем Астианакса: «Увы, ни ему ты не будешь в жизни отрадою, Гектор, — ты пал! — ни тебе он не будет!» Ребенок без отца становится изгоем, все шишки валятся на него. Его выгоняют с пиров: «Уходи, твоего отца среди нас нет»[65]. Согласно жестоким законам древности, *ребенок без отца остается без личности и без чести.* Так как отец и общество —. это одно и то же, ребенок без отца выпадает из общества, ни у кого нет к нему уважения, он — ничто.

То, чего мы боялись, случилось. Два мужчины, наиболее часто представленные в нашей психике, столкнулись между собой. Тот, кто следовал путем отца, оказался убит другим, который подчинял свое поведение инстинкту. Это реальная опасность, которую Гомер, режиссер наших древних мифов, хочет показать нам. В целом, вся Троянская война символизирует бренность отца и опасность регрессии к животному состоянию. Долгая борьба бесконечного количества воинов за женщину, Елену, — это массовое возвращение к истокам, когда мужчины сражались за женщин.

Ахилл — это герой-воин за границами отеческого измерения. Древнее предание действительно гласит, что у него был сын; но нам не рассказывают об отношениях между ними. Его сын, Неоптолем, свиреп, как отец: это он убьет маленького Астианакса, повторив между сыновьями насилие, которое объединило их отцов. Именно ему, когда троянок делили между победителями, была отдана рабыней Андромаха.

Гектор, еще слабый отец, обманутый богиней Афиной, расчетливой и неженственной, был убит Ахиллом, яростным мужчиной. Потом с него сняли броню, защиту, на которую он наивно рассчитывал, и бросили добычей псам и

стервятникам. Животные, которые пожирают Гектора, — это возможность возвращения от ответственности к инстинкту, метафора истребления образа отца.

Постепенно собирая традиционные рассказы, которые составили троянский цикл, Гомер включил в заключительную главу легенду, которая обладала не только военной природой: она описывает символически риск того, что антропология вернется назад, к зоологии.

Так как ни его история, ни наша, никогда не заканчивается, Гомер наделил свое негативное пророчество одним божественным вмешательством и двумя человеческими изменениями мнения. Вмешательство богов защищает тело Гектора от воли Ахилла. Сам Зевс решает, что Приам должен явиться к Ахиллу с дарами, чтобы выкупить тело сына; и что Ахилл не должен ему препятствовать. Меняет свое мнение царь Приам, который соглашается унизиться перед врагом и поцеловать руку, которая убила Гектора и других его сыновей. Потом меняет свое решение Ахилл. Приам просит его уважить свою боль старого отца, напоминая, что и его отец, также старый, ждет его возвращения. Ахилл тронут.

«Илиада» завершается символами, связанными с запутанной проблемой. Гектор мертв, убит фигурой более примитивной, чем он сам. Но Гектор остается жив именно через то, что он символизирует, то есть как отец. Изменяя порядок поколений, в конце «Илиады» наступает час Приама. Следуя по пути, предложенном божественным отцом, Зевсом, этот земной отец приносит почести непобедимому варварству Ахилла. Ничто в самом деле не может стабильно идти по пути развития цивилизации, если не отдает должное инстинкту, естественной потребности, которая его заново предлагает, и потребности цивилизации, которая заключает с ним компромисс. Когда это происходит, зверь может быть укрощен цивилизованными чувствами. Ахилл с уважением думает о собственном отце и о Приаме, отце-враге и отце врага. Результата, которого не добился Гектор, удается добиться его отцу. Приам слаб физически, но не морально. Он может пожать руку дикаря, не осквернившись. Мудрость сильнее героизма.

Гектор мертв, его сын Астианакс скоро умрет. Если миф «Илиады» хотел рассказать нам о судьбе отца, может ли он двигаться против течения времени и довериться отцу отца, Приаму, жизнь которого в свою очередь будет короткой?

Символы, которые представляет нам финал, не вселяют уверенности. Но задача отца в том и состоит, чтобы противостоять времени: учредить ответственность, которая не умолкает с его течением, создать преемственность и память; уничтожить то обнуление, которое постигло бы всякое поколение, не будь их у нас.

Глава 10
Улисс

Если и существует мифический герой, ставший моделью для исторических и реальных людей, то это персонаж из далекой греческой провинции, Улисс, прототип античных и современных жителей Запада.

Говорят, что Улисс, после Христа, самая известная и цитируемая фигура всех времен. За плечами Христа стоит самая мощная на земле религия. Улисс одинок. Христос реален, историчен, он совершил величайшую революцию всех эпох. Улисс в истории не играет никакой роли, потому что принадлежит к миру легенды. Он не оставил нам никаких новшеств: Улисс был не новатором, а просто царем крохотного островка. Однако, сказав все это, мы не сказали о нем ничего. Если он так важен, несмотря на свою историческую несостоятельность, очевидно, что он передал нам какое-то психологическое наследство.

Улисс не был бы героем, если бы не определенные обстоятельства: в остальном он глубоко человечен, то есть несовершенен, двусмыслен, иногда даже бывает неправ.

Улисс обычно воспринимается как прототип хитреца. Но это ограниченная точка зрения. Улисс остается достойным доверия и смелым, несмотря на свои проделки. Его психологическая новизна именно в том, что он—существо сложное и противоречивое: подобное нам. С ним мы отождествляемся без стеснения, помня и про свои несовершенства; ведь несовершенства являются необходимой частью в панораме приключений, приводящих Улисса к искуплению. Прототип лукавства, которое свойственно всем нам, он оказывается по большому счету примером честности, искупая этим самого себя и нас.

В отличие от традиционного героя, Улисс, как и мы, обычные люди, интересуется не столько благородным деянием, сколько приносимой им выгодой; его интересует знание и, в конечном итоге, победа. За эти вещи он готов платить.

И, так как Улисс не герой, приверженный одной ясной цели, а неоднозначная фигура, полная острых противоречий, его воля также не едина и не всегда прозрачна. Христос колеблется в крайних ситуациях, в боли или одиночестве. Улисс колеблется регулярно. В момент сомнения, страха или просто неспособности принять решение, его мысль колышется *kata phrena kai kqta thymon,* между двумя противоположными волнами души, которые сегодня мы можем перевести лишь неточно: между умом и сердцем.

Это одно из многих устойчивых выражений, встречающихся у Гомера? Нет: это описание, которое Гомер применяет только к Улиссу. Это предыстория внутреннего диалога. Две крайности — среди которых мысль и действие должны быть движениями, а не изолированными пунктами, — видны в анатомии души, на мифической карте внутреннего пространства. Путешествие Улисса - это черепа остановок, отклонений и возвращений назад, также и его размышления следуют бесконечными зигзагами и поворотами внутри его души. Когда, наконец, он добирается домой, мы замечаем, что в пути изменился и его способ мыслить. Это больше не блуждающая идея: мы узнаем ее как пришедшую к заключению мысль; и мы четко отличаем ее от мышления

архаических героев, для которых мысль была синонимом воли, и, столь массивная и решительная, была слишком простой, не более, чем ментальным слепком инстинкта.

В отличие от поведения архаического героя, воля Улисса — это мысль, а не импульс. Поэтому она может быть сдержана. Это влечет за собой две новые возможности, которые также являются отсрочкой действия:, ожидание подходящего внешнего момента; и терпеливое выдерживание внутреннего конфликта, пока две альтернативы не придут к внутреннему синтезу.

Для Улисса память — это не запечатанный архив, а текучий акт творчества; он не фиксирует то, что умерло, но питает то, что не завершено, что жизненно важно завершить и к чему важно вернуться. Это первая настоящая память в мире, и нам представляется, что ее мощь заключается в том, что она предлагает, одновременно с героической смелостью, на которую щедр античный эпос, изобретение верности себе самим и собственному прошлому. Отвага Ахилла была лишена ответственности, слепа и саморазрушительна; а у Улисса есть внутренняя система ценностей, где ценится не только действие, но его затратность и своевременность. Первобытный герой сражается с врагами, и мы восхищаемся им со стороны. Но Улисс сражается за преображение первобытного героя, понимая, что этот образ устаревает внутри его психики, в героя нового исторического этапа; и мы отождествляем себя с ним, потому что эта задача касается и нас.

Архаический герой ведет себя так, словно он все время в бою, шум — единственное, что он знает: он гордо выкрикивает свое имя. Его слава должна быть признаваема всегда, она так хрупка, что не может существовать, когда публика не подтверждает ее. Улиссу также знакома хрупкость идентичности, но он выворачивает ее наизнанку, извлекая из нее выгоду. Когда он находится в новых ситуациях и не чувствует себя в безопасности, он придумывает себе новую идентичность, намного более анонимную, чем его реальная. Он думает о будущем и предвидит ненужный риск. Архаический герой возвышается; так некоторые самцы животных раздуваются перед дуэлью. Герой носит блестящий щит и шлем с перьями, чтобы произвести впечатление на противника. Улисс же, как современный человек, который использует одежду для мимикрии, не для инфляции, а чтобы стать менее заметным. Когда он говорит Циклопу, что его зовут Никто, он не просто использует первую пришедшую на ум идею, он доводит до крайности свою основную стратегию.

Характер Улисса выдает жест его рук не тогда, когда он держит меч, но когда зажимает кому-то рот, чтобы не дать ему говорить. Так происходит с Антиклом, товарищем-греком, который хочет заговорить в опасный момент. Это момент, когда решается судьба Трои. Греки сделали вид, что сняли осаду, оставив на берегу громадного деревянного коня. На глазах троянцев Елена ходит вокруг этой «засады» и одного за другим зовет греков, спрятавшихся внутри нее, подражая голосам их жен. В одно мгновение, подобно псам, которые сразу отвечают, если слышат лай, потому что так работает их инстинкт, греки перестают быть воинами: они чувствуют воздух родного дома, и у них возникает желание ответить на голос женщины. Улисс требует, чтобы все молчали: каждый должен стать Никем. Он зажимает рот Антиклу, который не

может совладать с собой. Когда он возвращается домой, переодетый нищим, чтобы обмануть соперников, он так же зажмет рот старой кормилице, которая узнает его, и могла бы выдать своими криками радости.

Только Улисс сдерживается сам и сдерживает своих товарищей. Он тоже любит семью больше всего на свете: но он знает, что немедленное удовлетворение - это буря, которая разделяет отца и его семью. Он знает, что воссоединение с семьей придет не как импульсивное удовлетворение, и он готов терпеть лишения и подтверждать преданность своей цели.

Цель Улисса - сдерживать, помнить, подчинять архаическое существо, которое пульсирует внутри. Для него нет разницы между мимолетными мыслями и действиями, растянутыми на годы: в конечном итоге все связано с одной целью. Герой — иногда укротитель, иногда педагог, иногда родитель самому себе. Он одновременно и ребенок, и взрослая рука, которая его ведет.

Иногда он проявляет нечувствительность воина, а иногда он демонстрирует женскую чувствительность. Погруженный в войну, ожесточенный, Улисс почти забыл о собственном страдании: когда неожиданно он вспоминает о нем, потому что голос певца рассказывает его приключения, он охвачен жалостью к себе и начинает плакать. Совершенно меняются роли: в этот момент он плачет, «как женщина плачет, упавши на тело супруга, павшего» . Улисс может быть ребенком и взрослым, мужчиной и женщиной. С ним рождается сложный персонаж, который пытается управлять всеми ресурсами характера, применяя каждый из них в нужное время. Только из этой внутренней экономии может родиться внешняя. Личность — это теперь образовательная и общественная система в миниатюре: она больше не будет, как у предыдущих героев, бусами из капризов, нанизанными на жизненную нить.

Когда Улисс вернется домой, переодетый нищим, его поведение будет неоднозначным и не только расчетливым. Сердце, взволнованное и неосторожное, требует от него действия.

«Сердце, терпи! Ты другое еще погнуснее стерпело. В день тот, когда пожирал могучих товарищей наших Неодолимый циклоп. Ты терпело, пока из пещеры Хитрость тебя не спасла, уже к верной готовое смерти». С таких наставлений к самому себе начинаются внутренние диалоги, составляющие основу поэзии, современного психологического интроспективного повествования.

Улисс — это также разум, который подчиняет и воспитывает тело. Это не вялая и слабая мысль, без которой тело вполне обошлось бы. Тело также нуждается в поддержке, как и мысль. В «Илиаде» Ахилл, жаждущий мести, бросается в атаку, не поев. Умственный горизонт Ахилла, не говоря уже о планах, не дотягивает до вечера: какой воин способен сражаться весь день на голодный желудок? Ответом ему стал Улисс: тот, кто думает о еде, думает о победе. Дальновидному взрослому удается обуздать капризного ребенка. Желудок, повторяет Улисс в «Одиссее», — это собака, которая лает не реже, чем сердце". Он кричит без устали, и надо наклониться, чтобы прислушаться к нему. Каждой собаке надо давать ее ежедневную косточку. Улисс, взрослый и ребенок, мужчина и женщина, — также человек и животное.

По сути, сила Улисса заключается в очень простом качестве. У него всегда присутствует альтернатива: другая возможность, которая может быть не только новой приводящей в энтузиазм находкой, но и прежней реальностью, которой пренебрегают только глупцы. Нам повторяют, что он представляет собой необходимость открытия, что он — прототип западного человека всех времен с его жаждой новшеств. Но еще более пророческой является его потребность перемещаться в новое, не платя за новшество кровавой ценой. Отвага уже существовала, но ей недоставало целенаправленности, и она страдала от собственного размаха.

Этот новый путь, не столько в сторону новшеств, сколько в сторону созидания, рождается во внутренних колебаниях Улисса: кроме сомнений, в них таится выбор. Пока Ахилл бушует, Улисс молча распознает. Даже если ситуация такова, что какая бы то ни было альтернатива отсутствует, герой, несмотря ни на что, словно воссоздает для себя возможность выбора. Даже в отчаянии (*verzweifeln)* он хочет быть активным. В такие моменты он сомневается *(zweifeln),* принять ли обстоятельства или бежать от пассивности, изобретая еще одно, новое движение: самоубийство.

Улисс думает и решает: он изобретает выбор. Это новшество, в котором возможны погрешности, но которое побеждает, если сопоставить его с проигрышной неподвижностью того, кто непогрешим, потому что не выбирает. Улисс никогда не обретет безоговорочных воли и власти. Возвращение Улисса непросто, и полно отклонений, потому что цель является частью процесса. Возвращение отцовской оседлости - это в случае Улисса продолжение роли искателя приключений. Он постоянно колеблется: он возвращается доМой не безошибочно и прямо, но поэтапно, каждый раз выбирая двусмысленность и повторяя процесс выбора. Приключение и возвращение соединяются, таким образом, в одну сущность: путешествия.

Задача жизни Улисса — это «видеть хоть дым восходящий родимой земли», моя Боль, и держись спокойнее) как поэт изначально сообщает богам[79]. Или, как он сам говорит, он готов погибнуть, «лишь бы увидеть Мне достоянье мое, и рабов, и дом мой высокий». Нет для него ничего более идеального, чем согласная семья. Однако его собственная жизнь останется, как предскажет ему Тиресий, приключением, без противоречий и до смерти. Итака не возвращает ему дом и землю: она учит путешествию.

Даже когда это новшество — двусмысленность — не представляется в психологической форме, как внутреннее движение героя, легко проследить его в отношениях между ним и товарищами по путешествию, в этих символических противопоставлениях, которые делают таким непосредственным повествование «Одиссеи».

Улисс проводит в путешествии двадцать лет: годы войны, потом странствия, преодоление препятствий, непреодолимое любопытство, любовные истории, — все это заставляет нас сомневаться: не в этом ли вся его жизнь? Но в течение этой вечности — периода, который равен половине средней человеческой жизни того времени, — он твердо держится за один приоритет: прежде всего возвращение, он должен думать про возвращение, когда предпринимает какие-либо действия. Таков его закон: но с ним путешествуют

бестолковые товарищи, чей умственный горизонт намного уже. Из-за голода, усталости или жажды богатства они вмешиваются в его программу и замедляют ее выполнение.

Образец такого характера — Ельпенор . Молодой, не очень доблестный на войне и не отличающийся ясностью в мыслях, он добирается вместе с Улиссом до волшебницы Цирцеи и засыпает на крыше, пьяный. Когда надо уезжать, Ельпенор, как случается со многими молодыми, не до конца проснулся. Дезориентированный, он промахивается мимо лестницы и падает, ломая себе шею.

В немногих словах внутренний противник описан: неопытность, неумение сражаться, пьянство, отсутствие твердого стояния на земле (выбор крыши), неспособность противостоять искушениям (дом Цирцеи), иллюзия, что можно расслабиться, а потом тут же вернуться к своему долгу (падение с лестницы).

Аутодисциплина Улисса — определенно не до конца освоенное качество. В конце концов, роли меняются. Товарищи становятся мудрыми и просят Улисса не забывать о сладости отечества, призывают его ехать домой.

Товарищи напоминают о возвращении, когда Улисс входит в чудовищную пещеру Циклопа. Ему же, напротив, хочется исследовать ее, он одержим любопытством подростка: его вина - не нескромность, а любопытство, которое требует немедленного удовлетворения.

С того момента, как греки оказываются в пещере, миф еще раз меняет полярность тех, кто находится в центре внимания. Оппозиция между Улиссом и товарищами прекращается. Конфликт между предусмотрительностью и безответственностью продолжается, но последняя приписывается новому врагу. На сцене появляется Полифем, грубое существо без общественной жизни и без семьи, который питается овцами, живя животной жизнью. Гигантская душа Циклопа — рабыня нерешенной отеческой проблемы, что, по всей видимости, помешало ему стать взрослым. Тот, кто не может стать отцом, останавливает поток поколений и остается, в свою очередь, заложником отца. Полифем живет сегодняшним днем, удовлетворяя свои элементарные потребности. В Циклопе нет ничего от отца, внешним и недостижимым является его собственный отец: бог Посейдон, господин вод. Полифем берет в плен греков, потом, два дня живет, напиваясь — пьянство, вечный враг отеческой фигуры, — и пожирая пленных.

Рассказ завершается двойным упоминанием об отце, словно это путеводная звезда, к которой стремится тот, чья судьба пошатнулась. Бежав от Полифема, ослепив его, Улисс возвращается на корабль. Но, живя в пещере и борясь с циклопом, он, наверное, заразился его образом мыслей: в нем пробуждается нечто не менее примитивное. Вдруг он уступает искушению героизма, которое находит на него. Товарищи окружают его, чтобы удержать, взывают к его разуму: сумасшедший, не провоцируй это чудовище! Но его гордость, как раньше любопытство, пересиливает осторожность: «Если, циклоп, из смертных людей кто-нибудь тебя спросит, Кто так позорно тебя ослепил, то ему ты ответишь: То Одиссей, городов разрушитель, выколол глаз мне, Сын он Лаэрта, имеющий дом на Итаке скалистой».

Ответом должно быть наказание, такие выходки не проходят бесследно. Об этом в «Одиссее» говорится очень ясно: мгновение импульсивного поведения повлечет за собой годы мучений на пути домой. «Вот и сбылось древнее пророчество!» — кричит Полифем, которому прорицатель предсказал имя человека, который его ослепит: но стал бы тот, кто живет одним мгновением, интересоваться пророчествами, которые исполняются не сразу? Циклоп признается в собственном бессилии, призывая единственную силу, которую он знает. Как ребенок кричит, прося о подарке, гигант просит отца отомстить за него: «Слух преклони, Посейдон, черновласый Земли Колебатель! Если я впрямь тебе сын и хвалишься ты, что отец мне, Дай, чтоб домой не попал Одиссей, городов разрушитель»

Очевидно, что автор «Одиссеи» вновь предлагает нам понять противопоставление между персонажами как внутренний конфликт между двумя субличностями, которых он поселил в душу главного героя: того, кому все надо получить срочно, молодого, доотеческого и того, что верен будущему; того, который жаждет приключения и того, что должен вернуться к своей семье. Иногда эти две точки зрения борются внутри героя, иногда представлены разными персонажами. Иногда Улисс играет роль человека, который осторожно и постепенно выполняет свою задачу, иногда — человека дерзости.

В «Одиссее» победа принадлежит терпению, программе, которая развернута во времени; но она постоянно прерывается экзальтированными эпизодами. Во время приключения Улисс помнит о пути возвращения; на пути возвращения ему хочется вернуться к приключениям.

По указанию божественной Цирцеи он должен спуститься в царство мертвых, чтобы получить у прорицателя Тиресия пророчество о своем путешествии домой. Но кого он встречает первым? Ельпенора. Его тень блуждает перед входом в ад и не может войти туда, потому что его тело еще не было похоронено. «Вспомни же там обо мне, умоляю тебя, повелитель! — обращается он к Улиссу. — Не оставляй меня там неоплаканным, непогребенным, В путь отправляясь домой, - чтобы божьего гнева не вызвать. Труп мой с доспехами вместе, прошу я, предайте сожженью, Холм надо мною насыпьте могильный близ моря седого, Чтоб говорил он и дальним потомкам о муже бессчастном. Просьбу исполни мою и весло водрузи над могилой То, которым живой я греб средь товарищей милых».

С обещанием Улисса цикл завершается, и символы обретают логику, позволяющую путешествие домой. Представитель неосторожности будет похоронен: одним действием он устраняется и с ним заключается мир. Ельпенор больше не символизирует врага последовательности, необходимой для возвращения; он представляет первый его этап, отмеченный печатью легкомыслия.

Наконец, Улисс может задать вопрос Тиресию. Тиресий отвечает: он сможет вернуться на Итаку, но только много пережив. Восстановив справедливость в своем дворце, он должен был удаляться от моря пешком, с веслом на плече. Только когда он встретит людей, никогда не видевших весла, его путешествие будет закончено и он сможет вернуться к своим родным. В конце его ждет мирная смерть, в глубокой старости.

Путешествие в Гадес достигло своей цели, и Улисс мог бы возвращаться к живым. Но Гомер задерживает его еще на какое-то время среди мертвых, чтобы позволить ему встретиться с другими тенями. Так, он беседует с Агамемноном. Каких новостей от живых хочет царь греков? Он хочет знать, как поживает его сын Орест. Далее, Улисс встречает Ахилла, который спрашивает об отце Пелее и сыне Неоптолеме. Только узнав новости, призраки героев успокаиваются; и только тогда путешествие в Гадес на самом деле завершено. Поэт рассказал нам, что связь между живыми и мертвыми и между отцами и детьми — одно и то же. Мы всегда можем рассчитывать на отцов, потому что, даже когда они умирают, они думают о нас.

Путешествие Улисса рассказывает нам о трудном рождении ответственности мужчины за семью, и вместе с ней — о возможности выбора. Оно напоминает о том, какими страданиями и противоречиями окружено появление отеческой фигуры и развитие ее верности и постоянства. Это все очень драматично, и исключает насмешки.

Когда Улисс хочет убедить прекрасную и божественную Калипсо в том, что он должен ее оставить, он не скрывает разные влияния, которые оказывает на него женщина: «Не рассердись на меня, богиня-владычица! Знаю Сам хорошо я, насколько жалка по сравненью с тобою Ростом и видом своим разумная Пенелопа. Смертна она - ни смерти, ни старости ты не подвластна. Все ж и при этом желаю и рвусь я все дни непрерывно Снова вернуться домой и день возвращенья увидеть» Что мы ответим современным материалистам, которые критикуют мифические поэмы, потому что в них нет течения времени? Которые напоминают нам, что Пенелопа, через двадцать лет отсутствия супруг, была в то время почти старушкой? Мы скажем, что «Одиссея» более сложна, чем их буквальное понимание, и что в ней учитывается все: женихи ухаживают из выгоды за этой царицей среднего возраста, и Улисс прекрасно знает, что возвращается к женщине, покрытой морщинами. Но, среди выражений уважения по отношению к Калипсо, Улисс сообщает важное решение: если я не вернусь на свое место, зачем мне твоя вечная молодость? Мне нужна моя жена.

Что могло бы привлечь Улисса в бессмертии, которое обещает Калипсо? Это не дар, который делает сильнее, а обольщение, которое ослабляет. Это уход от времени, нарушение непрерывности семейной системы *(oikos,* откуда *oikonomia:* правление этой системы, экономия), постоянное откладывание сражения с женихами. Улисс поворачивается спиной к богиням, и, в их лице, к самым архаическим мужским фантазиям о непостоянстве и разнообразии.

Когда он рассказывает царю феаков трудности своего путешествия, герой не скрывает подробностей и говорит конкретно, чем были для него Цирцея и Калипсо. Разумеется, он не перечисляет незаконных детей, которых он зачал с ними, — это делает Гесиод, нотариус мифа, — но начинает список своих невзгод именно с этих двух обольщений. Это не случайно. Ужасный Циклоп смог продержать его в плену только две ночи; Цирцея — год, Калипсо — семь лет. «Нимфа Калипсо меня у себя удержать порывалась В гроте глубоком, желая своим меня сделать супругом; Также старалась меня удержать чародейка Цирцея В дальней Ээе, желая своим меня сделать супругом: Духа, однако, в

груди мне на это она не склонила. Слаще нам нет ничего отчизны и сродников наших»[91]

Где в этих словах его супруга Пенелопа? Упомянута только родина, но не она. Улисс отказывается от других женщин не столько ради нее как личности, сколько ради безличного возвращения: *nostos* — слово, от которого во всех языках произошла «ностальгия»: жажда возвращения. Но слова «Одиссеи» говорят нам и кое о чем более важном.

Естественно, Пенелопа — в центре того порядка и той родины, куда Улисс хочет вернуться. Но этот порядок — отеческий порядок, о чем Улисс постоянно напоминает. Вернуться в землю отцов, повторяет он как припев. Мы говорим об отечестве, но забыли, что значит это слово. По-гречески «отец» — *pater* (от корня *pa-:* обладать, питать, руководить). *Patria* или *patris gaia* не значит «моя земля», а значит «земля отцов». Родина — не моя, она принадлежит отцам. Я, в свою очередь, принадлежу родине, только если твердо принадлежу отцам. Моя физическая личность и эта конкретная земля связаны метафизической идеей: идеей отцовства. То есть, Улисс путешествует не туда, где находится его супруга, но *Kpatrio.* Это слово означает: где вечно обитают отцы и где можно вечно быть отцами. Вся «Одиссея» проникнута этим предупреждением и этими кличами: горе тому, кто забудет о своем отечестве!

Когда Улисс, два дня плывший по воле волн, уже готов утонуть, но вместо этого наталкивается на берег, поэт использует сравнение, двойственный смысл которого не ускользнул бы от греков: для терпящего крушение вид земли подобен виду отца, оправившегося от тяжелой болезни, для его детей. Отец — это сила и нежность, общество и земля, дисциплина и питание: это отец и мать вместе взятые. Поэтому желанный берег для грека не родина-мать, как для современных людей, а опять-таки часть его: отца, который объемлет все.

Каково в этом порядке место сына, Телемаха? В самом начале, как в программе, «Одиссея» представляет нам свою иерархию ценностей. Телемах описан как ум без содержания: он не может представить себе отца, защиты которого он хотел бы. Улисса недостает ему в реальности и в разуме. Телемах весь в ожидании: он ждет не столько человека — он не помнит его, так как был в пеленках, когда Улисс покинул его, — сколько *образ* отца, благородный и достойный восхищения. Только его царское происхождение — косвенным образом опять-таки институт отца — защищает снаружи то, чем Телемах является внутри: молодым неприспособленным человеком, возможным изгоем общества. Улисс, уехав, оставил сыну все, о чем может мечтать принц: дворец, богатство, любящую мать, друзей и союзников, законный престол в наследство. Но Телемах — сирота в экзистенциальном плане.

Есть только один способ это изменить: богиня Афина продолжает преображаться в мужчин, которые дают наставления и советы. Первые книги поэмы, —которые, вероятно, были добавлены позже, — образуют так называемую «Телемахию»: путешествие Телемаха от Пенелопы к Улиссу, но прежде всего его символическое путешествие от детства к взрослой мужественности. Здесь говорится о созревании и инициации сына, которые происходят так же колебательно, как и путь его отца: в процессе поисков отца Телемах сталкивается с его образом, внутри себя. На протяжении тысяч стихов

«Телемахия» велит растерянному сыну славить потерянного отца. Хотя она помещена в начало, логично предположить, что она была добавлена, когда поэма была уже завершена: то есть сначала был отец, потом сын.

«Если б все делалось так, как желательно людям, — говорит Телемах, — то первым Делом бы я пожелал, чтоб отец мой вернулся в Итаку». В этот момент Улисс, переодетый нищим, отбрасывает свои лохмотья, чтобы открыться ему одному. Представляется, что Гомер подумал о наших временах и сообщил нам: отец никогда не исчезает совсем. Но не ищите его среди шумных мужчин: это женихи, вечные юнцы. Если же кто-то смирен и терпелив, это может быть он, переживший войны и бури.

Супруга, сын, друзья, рабы, пес — все они как стая в ожидании вожака, все заключены в порядок отца, окаменели в ожидании его. Сегодня этология Лоренца научила нас, что подчинение домашнего пса человеку — продолжение природного: он зависит от человека так же, как — в природе — от вожака стаи. В «Одиссее» описывается подобная ситуация. Вокруг Улисса и члены семьи, и животные участвуют в этом первозданном порядке, находятся в «подвешенном» состоянии ожидания отца и главы группы. Аргус — пес Улисса: пережиток архаических времен, в котором предполагается эта верность. Вся его жизнь — застывшее ожидание. Он был очень молод, когда Улисс уехал. В момент его возвращения это презренное животное, которое ищет пропитание на свалке. Он возвращается к жизни на мгновение, навострив уши и подняв хвост, чтобы тут же умереть от чувств, когда слышит голос «хозяина», — человека-«отца» животного — который звучит после двадцати лет тишины.

Отцу и сыну предстоит борьба с врагами, и зрелость Телемаха подвергается проверке. Поймем это правильно. Задача — не просто выгода в союзе между ними двоими, но и достоинство: возвращение отца, который притворился нищим, и обретение сына, который до сих пор был пленником инфантильности. Улисс не ищет в сыне внешней защиты для себя. Он хочет, чтобы принцип Отца присутствовал в бессознательных законах сына. Так, их союз имеет глубокий внутренний смысл. Для Телемаха также важно не просто помогать отцу, а дать себе отца внутреннего. «Многим швыряли в меня. И бит бывал я нередко. Дух мой выносли в. Немало трудов перенесть мне пришлося В море и в битвах. Пускай же случится со мною и это», — наставляет Улисс[0]. Так и случится. Не вмешиваясь, чтобы помочь отцу, Телемах позволит ему до конца скрывать свое присутствие, чтобы застать врага врасплох. В противоположность архаическому воителю, для отца невидимость — это сила.

Телемах участвует в последнем соревновании с луком Улисса, который он называет: «прекрасным оружием отца» Если один из претендентов победит, он получит все, что принадлежит Улиссу: богатства, положение царя, Пенелопу в жены. Телемах пробует участвовать трижды. На четвертый раз у него может получиться. Отец издалека подает ему знак не делать этого. Отцовское «нет» передается без слов, почти без движений. Достаточно простого жеста.

Если бы Телемах выиграл соревнование, он спас бы мать и дворец от женихов, но и избавил бы последних от смерти, которую они заслужили. Если, говоря языком символов, побеждает сын, конфликт завершается слишком быстро и внутренний противник остается неприкосновенным.

Копошащиеся женихи, которые делают поползновения на постель царицы и на трон, — это та поверхностная масса, которая немедленно заполняет любой недостаток власти в обществе. Но в психике они — внутренний противник, распад ответственности, которая при отсутствии твердой воли — «законного царя» внутренней иерархии — уничтожает то, что накопила цивилизованность. Дворец Улисса хрупок и недавно построен, он возрождается за счет переделки. Женихи — это отсутствие проекта, которое предполагает, что этого обновления не будет. Улисс ненавидит в них больше всего не высокомерие, — оно не настолько ему чуждо, — а жизнь одним днем, без смысла: поверхностность действий *(anenysto epi* ergo) .

Женихи смеются над старым нищим, в лохмотья которого переоделся Улисс, скрывающий свою силу с терпением и смирением. Молодые принцы подначивают друг друга, чтобы скрыть свою неуверенность, и их поведение все дальше отдаляет их от мудрого поведения, которое символизирует старик. Афина, которая желает им поражения, еще больше сокращает их умственный горизонт, погружая их в идиотизм: они отчаянно смеются, в то время как из глаз текут слезы. Машинально они начинают кусать кровоточащее мясо. Они — только лай собак, только утроба.

Может быть, эти люди могли бы стать более отважными, более щедрыми: иногда они близки к этому и могут даже показаться симпатичными на фоне тяжелой суровости Улисса. Но то, что они представляют, не меняется и не может вернуться в цивилизацию под страхом ее распада: веселье, под которым незрелый человек скрывает свой страх; день, проживаемый, чтобы достичь вечера; желание завоевать женщину и дом, царицу и дворец, без способности организовать систему семьи и экономии. Еще один раз мы видим картину неприспособленного юноши. Они — а не женщины, как писал Гесиод, — настоящее общество трутней, и греки не могли, по крайней мере, в этом случае, принять выбор отеческого принципа.

Во времена написания «Одиссеи» существовало множество «мифов о возвращении», и возможность регресса должна была казаться близкой. Риск того, что недавно установившийся порядок отца будет заменен возвращением к орде и беспорядочным связям (так представляли себе древние доисторические времена, но этот образ настолько архетипический, что он был жив еще в XIX веке) косвенным образом, но ясно выражается в цифрах. Улисс один против претендентов. Осторожность, умение владеть собой, — укрепляют его волю, которой нет у орды, и компенсируют количественный перевес.

Есть и более непосредственное описание опасности дегенерации, отразившееся в другом варианте мифа, которое Гомер проигнорировал, так как оно не соответствовало его торжественным представлениям о семье. Пока Улисс был далеко, женихи склонили Пенелопу к первобытному разврату и породили Пана, бога-животное, подчиняющегося инстинкту. Под дисциплиной отца, заключенной в официальном мифе Гомера, скрывается анархия тайного мифа: в самых смелых вариантах Пенелопа родила Пана, переспав со всеми претендентами. Пан, чистый инстинкт, сын всех: его имя в переводе с греческого значит «все». Но, если его зачали все, то собственно отца у Пана нет.

Испытание с луком — это итог столкновения между непредусмотрительностью женихов и отеческой дисциплиной. Пока Улисс присутствует переодетым, претенденты пытаются натянуть его лук, который двадцать лет хранился неприкосновенным. Пробуют самые сильные и нетерпеливые. Его смазывают жиром, греют у камина: но, как характер его владельца, лук не гнется. Женихи начинают приходить в отчаяние один за другим. Мы почти начинаем чувствовать уважение к ним, когда они становятся серьезными и отходят в сторону: «Стыд и позор мне, что я терплю поражение там, где у Улисса все получалось!»

Но самый болтливый из женихов, Антиной, может предложить им средство не справиться с луком, но расслабить ум: «Празднует праздник народ Аполлона-владыки сегодня Чистый. Ну как в этот день натягивать лук нам? Спокойно Можно его отложить... Пусть же теперь виночерпий нам доверху кубки наполнит! Мы совершим возлиянье, и лук Одиссеев отложим». Ему аплодируют, вино течет рекой. Что может быть приятнее, чем на время забыть о делах? День за днем, ни к чему не привязанные, эти люди-бабочки движутся не ко взрослому состоянию, но к психическим колебаниям без происхождения и без цели.

Потом наступает очередь Улисса, который ведет себя противоположным образом. Он терпеливо изучает оружие — отцовский авторитет — чтобы посмотреть, не испортился ли он за годы отсутствия отца от жучка — сил, подрывающих отцовский авторитет. Закончив изучение, он сгибает лук и натягивает тетиву без усилия, как певец натягивает струну лиры.

Воспоминание о музыке здесь не случайно, поэт как раз намерен подчеркнуть силу и мягкость Улисса: согласно греческой традиции, таковы отеческие качества. В момент, когда они объединены разумом, — находящимся под покровительством Аполлона, которому были посвящены как лук, так и лира, — Улисс в самом деле вернулся: он вернулся себе то, что ему принадлежало.

В одно мгновение он побеждает в соревновании. Через мгновение он заряжает лук и, закончив притворяться, начинает бойню. Нежность только что касалась его рук, но это не мешает мужественному закону отца. Сейчас наступает время строгости без уступок. Улисс не останавливается, пока не убивает всех соперников одного за другим. Он не принимает предложения сдаться и возместить ущерб. Он уничтожает и собственных рабов — вопреки собственной выгоде — которые сотрудничали с узурпаторами. Тот, кто это делал, не столько виновен в том, что служил врагу, сколько в том, что не верил в возвращение Улисса. Этого он не может принять: променяв обязанность перед будущим на непосредственную выгоду, они стали похожими на своих новых легкомысленных хозяев.

Повествование обретает особую силу в финальной сцене во дворце. Улисс восстановил порядок и вернул своим подданным общество. Он дал своему сыну взрослую жизнь. Он воспользовался своими копьями, мечами и стрелами, чтобы перебить орду женихов. В отличие от Ахилла, который ликует над поверженным Гектором, он попросил отпраздновать победу скромно, без высокомерия *(hybris):* так он подтвердил, что переодевание в скромного старика

было символическим, а не случайным. Именно по этой сдержанности его узнают все. Пенелопа же, после двадцати лет, еще не может поверить, что это он. Для того, чтобы избавиться от сомнений, она прибегает к маленькой хитрости: Улисс, при всей своей новообретенной власти, попадается на ее уловку.

Телемах нападает на нее: «Упрямая мать, каменная мать!»

Пенелопа просит времени: «Мое сердце окаменело из-за сомнений, позволь мне обменяться с твоим отцом тайными знаками.»

«Боги ожесточили твое сердце, — кричит Улисс, — если после стольких лет ты не бросаешься ко мне в объятья!» Потом, обращаясь с старой кормилице: «Приготовь мне постель подальше отсюда, я буду спать один.»

«Пусть так и будет, вмешивается Пенелопа. Унесите кровать Улисса сюда, из нашей комнаты.»

«Что ты сказала, женщина? Кто перенесет мою постель? Кто, как не бог, мог бы сделать это? Среди людей это не доступно никому. Не моя кровать была принесена в комнату, но комната создана вокруг нее. Во дворе росла гигантская маслина, и в ее стволе я вырубил постель, своими руками, не подрубая корней.»

Тут у Пенелопы расслабляются колени и сердце. И, получив доказательство, она плачет: «Боги, а не я, завидуют нашему счастью. Я просто хотела тебя испытать. Твоя постель всегда ждала тебя.»

Пока Улисса не было, двадцать лет, его постель была на месте. Она не могла, не быть на месте, у нее были корни.

Больше, чем героизм и хитрость, сила Улисса — в его присутствии, слабость — в его отсутствии.

Как пустой дворец ждал его, чтобы наполниться, так и настоящие враги, с которыми Улисс вынужден был бороться, были не чудовищами и гигантами, а отсутствием воли и памяти: забвением. Постель Цирцеи и Калипсо (недостаточно сказать «любовь», но постель, которая является символом пассивности). Обольстительное и убийственное пение сирен, которые привлекают моряков к скалам, чтобы ты потерпели крушение (Здесь Улисс заткнул воском уши своей команды, но не собственные. Он велел привязать себя, чтобы послушать, непосредственно познакомиться с врагом, выдержать искушение) Слишком много вина, выпитого его товарищами в земле киконов, которое погружает их, как Ельпенора, в забытье и смерть. Цветы лотоса, которые заставляют забыть о возвращении. Напитки, приготовленные женщинами, эти инструменты забвения, которые почти не отличаются от того, чем являются они сами. Все это - настоящие опасности, намного более смертельные, чем вражеское оружие или скрывающийся в пещере Циклоп. Если это - настоящий противник, то именно в борьбе с ним проявляется настоящая смелость. Но одновременно борьба в этими опасностями говорят о страхе и суеверном недоверии только что рожденного мира отцов по отношению к постоянно существовавшему миру матерей.

Когда история Улисса достигла той редакции, которая известна нам, отец уже должен был пустить свои корни в центре древнегреческой цивилизации. Поэтому традиция, которая неосознанно хотела рассказать об отцовском порядке, поставила основной акцент не на наказании злодеев при возвращении

царя на престол, а на узнавании, связанном с постелью: это изделие человеческих рук, интимное и публичное одновременно, синтез природы и семьи; кровать эта была вырублена из растущего дерева, не затрагивая его корней. Комната супружеской четы, первый камень цивилизации, не противопоставляется, а адаптируется к маслине, защищает ее. Цивилизация не обладает автономной жизнью, в отличие от природы. Эта кровать построена на естественных корнях и поддерживает существование цивилизации, когда Улисс далеко.

Если действительно существует коллективная память, то, чем более она древняя, тем менее осознанная, но от этого не менее влиятельная, так что вполне естественно, что легенда об Улиссе — самая известная легенда Западного мира. За не особо интересными для нас похождениями, военными и любовными, знатного человека из микенской провинции (происходившими более 3000 лет назад) скрывается нечто намного более важное и неизмеримо более далекое: изобретение отца.

Реконструкция этого процесса, полная, контрастов, несовершенная, эгоцентричная, показала, что это формирование стоит на горизонте предыстории, между выходом из зоологии и вступлением в антропологию. Мы никогда не сможем с уверенностью сказать, было ли появление отца причиной или следствием этого поворота событий, неизмеримо более важного, чем падение Рима или открытие Америки. Даже если это не было причиной рождения цивилизации, мы знаем, что это знак, под которым она родилась.

Эта первобытная эпопея, для того, чтобы добраться до нас, должна была ожидать бесконечное время, чтобы ее рассказали и зафиксировали в словах. И для того, чтобы справиться с этой задачей, она должна была ждать торжественного повествования и письменной редакции. Эта возможность представилась, когда самые древние поэты Западного мира, греческие барды, вдохновленные растущей вовлеченностью слушателей в свои истории, стали сосредотачиваться на некоторых героических сюжетах, которые славили не только подвиги, но и верность героев, возвращающихся домой, восстанавливающих правосудие, дарящих тепло супругам и передавая смысл жизни детям. Это история не воинов, а отцов. Передаваемая из уст в уста, песня превратилась в эпопею, и, наконец, встретилась с самым великим поэтом древности, — которого условно мы называем Гомером, — и первыми греками, которые умели писать.

С тех пор мы не можем забыть эту историю. Потому что с Гомером рождается литература Западного мира, уже с младенческого возраста производя шедевры; но также потому, что история о воле и верности, которая рассказывается здесь, была в сердце каждого и соответствовала солнечной стороне отцовского принципа.

«Одиссея», таким образом, хранит в себе память об утверждении отца. Она почти обожествляет отца. Все происходит под его знаком: как мы уже увидели, спасение при кораблекрушении, воссоединение хозяина и раба, даже встреча живых и мертвых. Все хорошо, если ведет к воссоединению отцов и детей. Вместе с установлением порядка отца, «Одиссея» хранит в форме литературного артефакта то, что могло бы быть его даром цивилизации:

изобретение процесса решения. В нем «я» уже более не идентично импульсу, оно становится психическим организмом, который выносит автономные суждения, независимые от инстинкта. Эта предыстория могла быть зарегистрирована только после рождения литературы. Но инструменты для ее рассказа были уже в наличии, были одним целым с этим созданием: упорядоченный ритм, намерение и слова, более взвешенные, чем каждодневный шум.

Таким образом, рассказ об Улиссе — это рассказ о самоприручении мужчины. Пылкий, неуверенный и лукавый, как этот герой, он чаще развивался на основе сомнения, чем благодаря смелости и героизму. Когда, потерпев кораблекрушение, он сознает, что у него есть место, в которое он должен вернуться, и семейная ячейка, где он пустил корни, из этого мужского персонажа рождается образ Улисса. Это значит, что отец — это не столько фигура, которая учреждает, создает *oikos,* дом, и управляет им. Он — тот, кто покидает его, чтобы сражаться, а потом сражается, чтобы вернуться обратно.

Глава 11
Миф об отце как о единственном прародителе

Для жизни начало — это не просто акт сборки, когда вещи, которые уже существовали, перераспределяются и принимают новую форму. Жизнь начинается актом творения, когда возникает то, чего раньше не было. Это чудо, божественное вмешательство. Согласно грекам, на земле эта божественная сила принадлежит отцам, а не матерям. На земле только мужчина действительно прародитель, потому что только он порождает. Только отец творит. И, так как он творит, то он становится богоподобным объектом поклонения, и сохранил этот статус на долгие времена.

История формировалась в подчинении мифу о сотворении богов, который сделал Зевса величайшим из них. Физиология же была подчинена мифу о сотворении отцом, что закрепило позицию отца как доминирующей социальной силы.

Греки первыми поняли, что существует то, что можно называть природой, обладающей определенными законами, которые не менялись, в отличие от прихотей переменчивых богов; наблюдения за постоянством природы и непостоянством богов дополняли друг друга. Они рано пришли к изобретению наук и философии, которые заменили религию. На фоне научных и философских соответствий, боги вели себя как сумасшедшие: их и постигла такая же судьба, как безумцев, которые сначала удивляют, потом надоедают, а потом оказываются заперты. И запереть их было легко, потому что верования концентрировались не на богах, а на собрании Греческих мифов.

Следовательно, жизнь растений и животных была подчинена естественным законам. Грекам было, однако, очевидно, что их цивилизация, сильно опережающая другие народы, не была спонтанным произведением природы. Она была дополнением природы, попыткой управлять ею. Она была именно культурой (по латыни *cultura* — культивирование), плодом общества.

Они заметили также, что эта цивилизация расцвела из прочного корня отца: привилегированные условия всего сообщества, то есть греческого общества, было связано с привилегированным положением отца, доминирующего растения. Отцовская гордость находилась в точке высшего расцвета. Открытие порождающей функции мужчин и изобретение общественной роли отца были новшеством и доминировали в мышлении.

Память архаической Греции (ок. VII-VI века до Р. Х.) не могла пойти дальше в глубину веков, чем Гесиод и Гомер. Раньше была цивилизация, от которой не оставалось письменных текстов, чей алфавит можно увидеть на табличках, но невозможно прочесть. Кроме небольшого количества элементов, вошедших в устную традицию, — таких, как похищение Елены, троянский конь, — память о высокой цивилизации, существовавшей до Гомера и Гесиода, исчезла. Именно Гомер и Гесиод соткали фон времени, соединяя нити истории и легенды. В основном ничего не осталось от Неолита и Палеолита, огромных промежутков времени, о которых мы лишь недавно что-то узнали.

Если мы понимаем под памятью не воспоминание само по себе, а накопление опыта с течением поколений, филогенетический след, опосредованная ценность которого заключается в его образах, то патриархат греков действительно может быть представлен как продолжение и кульминация патриархальной революции, начатой в доисторические времена. Их объединяет миф об отце, который является опорой всему, даже когда он не сформулирован прямо. С точки зрения, изложенной на предыдущих страницах, — что рассказы передавались без осознанной цели и с текучестью устной культуры, — эпический рассказ Гомера о возвращении Улисса является обобщенным повествованием об изобретении моногамии; лирический тон описания последних часов Гектора подчеркивает и ненадежность, вечно преследующую отца, и мужскую гордость в связи с изобретением отцовства.

Когда греки доверили Гомеру зерно своих рассказов, они были поглощены задачей создания цивилизации. Они выходили из периода безвестности, когда целое общество рухнуло вместе со своими дворцами и люди были вынуждены вернуться в пещеры, к существованию без письменности и в почти животной нищете (так называемые мрачные века или эллинистическое Средневековье). Это был период, когда ни боги, ни пророки не давали руководства. Настроение эпохи было пессимистичным - считалось за благо не рождаться, а родившись, лучше было умереть молодым. В такие времена люди чувствуют на себе дыхание судьбы, а за спиной всегда ощущалось присутствие чудовищ. Львы, описанные Гомером, для греков были не аллегориями, как для нас, а зверями, которые до недавнего времени делали опасными леса Греции. Жизнь была трагической и хрупкой, достаточно было пустяка, чтобы из светлого царства Зевса попасть в мрачное царство Гайи.

Именно потому, что они были убеждены в том, что терять им нечего и рассчитывать они могут только на свои силы, в точке выбора между регрессом и развитием греки решили выбрать путь цивилизации. За горстку веков они изобрели науки и философию: знание спасало их намного лучше, чем их боги-эгоисты, завистливые до человеческого счастья. После греков, развитие никогда уже не было таким интенсивным.

Как очевидно из фигур Гайи и ужасных амазонок, которые умели обходиться без мужчин, *воспоминание* о недавней утрате цивилизации (во время эллинского Средневековья, которое последовало за крахом Микенской культуры) в памяти нации слилось с *легендарными образами* эпохи Великих Матерей. Мы знаем, что в.фигурках Неолита изображения мужчин, если и не полностью отсутствуют, то выглядят маленькими в сравнении с грандиозными матерями. Сегодня кажется невозможным, что мужчины оказались в таком потерянном и унизительном положении. Но для нового, хрупкого воина Гомера это положение, вероятно, переживалась как ужасная психическая реальность, которую он ощущал почти, физически близкой. Независимо от исторической реальности, он боролся изо всех сил, чтобы не возвращаться туда: наше воображение может пугать нас сильнее, чем материальный враг. Греция только что вышла из реального ряда темных веков. И, при отсутствии глубины исторического горизонта, архаический грек мог перепутать их с легендарной эпохой Великих Матерей. Он не знал, что темные века были намного более недавними, чем период Неолита. Все, что предшествовало Гомеру, было плоским, равнозначным.

Для того, чтобы укрепить себя против этого риска регресса, патриархальное общество все больше возвеличивалось: оно преувеличивало гордость за свою цивилизацию, возвышая отца, впадая при этом в крайности.

Итак, грекам удалось выйти из тьмы навсегда. Начиная с Гомера, они больше не забывали о цивилизации. Но ужасной ценой, которую пришлось заплатить за это усилие, было мучительное отсутствие равновесия между отцами и матерями: начиная с Гомера, их неравенство только росло.

Греки изобрели демократию удивительно рано, прежде, чем любая другая культура, но творение, которое они произвели на свет, было незрелым и только частично сформированным. Как во всех античных обществах, сохранялось рабовладение, а также матери не имели никаких прав и их положение немногим отличалось от положения рабов. Знание родилось тоже очень рано. Но неуверенность этих отцов-подростков, их потребность чувствовать себя пупом мира, сделали их авторами науки и философии, изначально запутанных, которые объясняют оплодотворение и порождение, переворачивая древнее почтение к материнскому чреву вверх дном. Бесконечное уважение к способности женщины рожать отрицалось со слепым фанатизмом, напоминающим расизм других эпох, и заменилось верой в порождающее всемогущество мужчин. Материнское чрево — это всего лишь теплый овин или земля, которую надо возделать: отец, напротив, настоящий и единственный родитель ребенка. Произошло то, что прежде Гераклит, а в недавние времена Юнг[120], называли энантиодромией: резкий переход от одного убеждения к противоположному. Когда вещи внезапно превращаются в свои противоположности, как два установленных напротив друг друга зеркала смотрятся одно в другое, мы отмечаем присутствие крайностей, которые взаимно отрицают друг друга на том основании, что они чрезвычайно похожи, и следовательно, обладают способностью сменять друг друга.

Как последним актом античной войны было посыпать сожженный, побежденный город солью, чтобы его дворцы не выросли снова, так и победа

отца должна была завершиться посыпанием солью гениталий матери, чтобы ничто не могло оттуда вырасти.

Послушаем наиболее авторитетные голоса традиции, например, Эсхила, который обращается к нам в трилогии «Орестиада»: «Агамемнон», «Жертва у гроба», «Эвмениды».

В первом произведении Орест оказывается перед необходимостью отомстить за своего отца Агамемнона, убитого матерью Клитемнестрой вместе с ее любовником Эгистом. Чтобы сделать это, он должен убить ее.

Орест должен выбирать. Он не может служить двум властям: его героизм побуждает его выбрать отца.

Вторая драма, «Жертва у гроба» («Хоэфоры»), начинается с плача Ореста и :его сестры Электры на могиле Агамемнона. Если мы вслушаемся в их голоса, то услышим не плач двух детей на могиле отца, а почти что молитву верных (монотеистов на алтаре своего бога.

ОРЕСТ: Тебя зову я. С нами будь, отец!

ЭЛЕКТРА: И я, отец, в слезах тебя зову.

ПРЕДВОДИТЕЛЬНИЦА ХОРА: Мы вторим, царь, мольбе детей твоих: Явись на свет, И выйдем вместе на врагов заклятых!

(…)

ЭЛЕКТРА: Услышь еще одну мольбу, последнюю! Птенцов, сестру и брата, к холму отчему С рыданьями припавших, пожалей, отец.

ОРЕСТ: Не дай погибнуть племени Пелопову. Тогда ты и по смерти не умрешь, поверь.

ЭЛЕКТРА: Живет в потомках память о родителях, Давно усопших. Невод в глубине морской Не пропадает: поплавки хранят его.

ОРЕСТ: Услышь печали наши: о тебе скорбим.[122]

Подкрепленный этим диалогом с духом отца, Орест решается убить свою мать.

В драме, которой заканчивается цикл «Эвмениды», он подвергается суду как матереубийца. Его преследуют Эриннии, богини мести и угрызений совести, эти жестокие пережитки древнего материнского принципа, который бунтует против нового отцовского порядка. Орест пролил кровь матери из уважения к крови, которая течет у него в венах: которая, согласно греческому предрассудку, объединяет его только с отцом. (Это преемственность семени, которую Орест только что вспоминал.) Он будет оправдан, а Эриннии будут обезоружены. Их ярость навеки будет ограничена стенами новых институтов. Мать отдается »в жертву отцу: не только в индивидуальной жизни Ореста, а в греческом обществе, а значит, также и в корнях европейской цивилизации.

Аполлон, более современное мужское божество, солнечное, явно чуждое иррациональности и искажениям, защитник цивилизации и искусств, «присутствует на процессе против Ореста и пользуется возможностью огласить эту замечательную победу.

«Дитя родит отнюдь не та, что матерью Зовется. Нет, ей лишь вскормить посев дано. Родит отец. А мать, как дар от гостя, плод Хранит, когда вреда не причинит ей бог. И вот вам правоты моей свидетельство. Отец родит без матери.

Пред вами здесь Паллада-дева, Зевса-олимпийца дочь. Она явилась не из чрева темного — Кто из богинь подобное дитя родит».[12]

Эти слова вызывают Афину, которая присутствует на процессе.

«Отцова дочь я, и отцу я предана. И потому жалеть не стану женщину, Убившую супруга. В доме муж глава» [m]. Потом ей удается укротить демонических Эринний с помощью богини Пито (что значит «убеждение»). Они соглашаются больше не быть непредсказуемыми и блуждающими, занять стабильное место при Афине, превратиться в благотворные фигуры — Эвмениды. Мужской принцип продолжает побеждать, где силой, а где - с помощью компромисса.

Ни один из богов греческого Олимпа не заслужил столько призывов, сколько обращали к ним Орест, Электра и Агамемнон. Только отец в целом силен и благ. Только отец защищает как сила физическая и метафизическая.

Зевс, когда он облечен властью и справедлив, представляется олимпийским продолжением отца: а не отец - земным продолжением бога. Говоря о Зевсе в начале «Прикованного Прометея», Эсхил утверждает: «Не слушаться отца — тяжкое преступление» Непокорность Прометея Зевсу, таким образом, — это преступление не против бога, а *неповиновение отцу.* Ослушаться родителя — более серьезное прегрешение, чем ослушаться бога. Боги безразличны к людям, они лишь иногда ждут от них послушания. Отец же ждет его всегда и во что бы то ни стало.

Далее, в этой же драме, Эсхил заявляет: «Тот, кто обладает властью недавно, всегда жесток». Без сомнения, он имеет в виду первенство Зевса, которое описывает как недавнюю революцию. Но для нас он говорит нечто более символическое и значительное: отец только что достиг своего положения в обществе и не может не быть авторитарным. В сознании отцов, и в сознании Зевса, мифической проекции их утверждения, есть осознание того, что они недавно и с борьбой достигли своей власти и должны ожесточиться, чтобы защитить ее: отсюда доспехи Гектора, в которые отец замыкается вплоть до нашего времени.

Здесь надо опровергнуть одно заблуждение. Ценность, которая с силой насаждается в этом обществе, — не столько ценность мужчины в сравнении с женщиной внутри пары. Это прежде всего кровная связь, благодаря которой существо, с которым я разделяю свои гены, является частью меня. Греки находили эту кровную связь только между отцом и детьми, игнорируя гены матери, в этом и был их мужской шовинизм.

Софокл очень хорошо говорит об этом устами Антигоны. Эта героиня не поклоняется мужчине как таковому: она нигде не говорит, что отдала бы жизнь за своего супруга. Но она отдает свою жизнь, чтобы оказать погребальные почести брату: у нее долг перед ним, потому что он, благодаря общему отцу, разделяет с нею ее кровь

Еврипид, некоторое количество лет спустя, вложит в уста Ореста еще более ясные слова. Сын Агамемнона так объясняет деду, отцу Клитемнестры, почему он не мог не убить ее:

«Мне выбор был судьбой определен: Между отцом засеявшим и нивой, Иль дочерью твоей, — со стороны Приявшею зародыш и ведущим Род от семян. Я предпочел отца и честь его — груди, меня вспоившей.

Некоторое время спустя появляется более мирское мышление. Новая истина выражена в науке и философии. Но и они вновь предлагают нам, *под видом разумных аргументов, суть отцовского мифа.*

Послушаем авторитетное мнение Аристотеля.

Как и в других случаях, величайший мыслитель двух тысячелетий Западной мысли, без сомнений переводит в естественную науку образ, который Еврипид создал для театра. Женщина не производит семя: это задача отца[129]. Вклад матери в рождение ребенка, дополняющий вклад отца, объясняется в нескольких отрывках, даже с примерами[1 0].

Семя, то есть отец, дает характеристики порождаемому. Мать его питает, дает материю — что видимо из менструального цикла — в которую личность оформится. Можно ли ставить их на один уровень? Аристотель очень ясно говорит об этом. Мужчина и женщина участвуют в рождении ребенка, как плотник и дерево — в создании мебели. Отец вносит активный вклад; женщина пассивный. Порожденный будет обладать характером того, кто придал ему форму, вклад материи незаметен. Тот, кто порожден, — ребенок отца, потому что будет расти в соответствии с генетическим отпечатком семени; он не ребенок матери, потому что в простом сырье нет генетических характеристик, Выражения «дом из кирпича», «статуя из дерева или мрамора» не указывают на того, кто произвел продукт, как в выражении «речь Сократа». Качество, древесное или мраморное, одинаково даже в очень разных предметах. Дерево, мрамор, кирпич или менструальная кровь не порождают; Сократ, скульптор, плотник и сперма — да. Мать не порождает, это делает отец.

Аристотель приходит к ясному выводу: «Есть сходство форм между мальчиком [в состоянии до половой зрелости] и женщиной; женщина подобна бесплодному мужчине. Ее характеристика, таким образом, - бессилие».

Миф, согласно которому порождает только отец, достигает своей кульминации в греческом обществе. Но в древности он был распространен в разных местах: от Индии («женщина — это поле, мужчина — это семя»; «между семенем и чревом говорят, что важнее первое, потому что семя дает характер потомству») до Египта («египтяне... придерживаются идеи, согласно которой один лишь отец творит потомство, а мать только дает плоду питание и место, где жить, и называют плодоносящим растением отца и бесплодным - мать»). Еще в XX веке идея отеческого порождения встречается в простых обществах («нам удалось выяснить, какова теория аборигенов относительно зачатия... Только мужчина играет в нем позитивную роль, в то время как женщине доводится роль емкости для содержания»). Но удивляет упорство, с которым это суеверие сохраняется в Западном мире, несмотря на развитие науки.

Опираясь на авторитет Аристотеля, миф об исключительно отцовском порождении широко распространился в Европе, сохранялся до Средних веков, и отчасти выжил до начала эпохи Просвещения. Достаточно легко проследить доводы, на которых было основано базовое предубеждение. Труднее

проникнуться глубоким убеждением, которое двигало греками: для них речь шла не о простом рассуждении, отдельном от чувств. Напротив, это был в первую очередь эмоциональный опыт. Опыт, как мы видим из истории Ореста, миф привязывал к отцу и отстранял от матери. В более общем плане миф предлагал объективное основание, чтобы удерживать мужчину от гетеросексуальной любви. Современным людям эта любовь представляется самой «естественной», но под естественностью здесь мы подразумеваем инстинкт, а любовь — это инстинкт и культура вместе взятые. Возможность любить должна соответствовать не только инстинкту, но и религиозной и философской базе того, кто любит. Представление греков о женской любви и, следовательно, способность греков к гетеросексуальной любви, были изувечены негативной позицией религии и философии. Со временем они приняли облик естественной науки. Древние греки вступали в брак, чтобы иметь детей, но, как правило, имели мало общего со своими супругами. Эта чувственная отстраненность, спроецированная в область физиологии, возвращалась к ним как ложное подтверждение того, что наследство передается только по линии отца.

Эффект от отрицания творческой способности женщин и укрепления связи по линии отцов был обесцениванием связей по горизонтали, между партнерами, в угоду связям вертикальным, между поколениями; и связей гетеросексуальных в пользу гомосексуальных: мужская педофилия была широко распространенной и самой искренней из сексуальных предпочтений.

Возьмем простой пример. Греческие города-государства основывали свою экономику на культивировании прилегавших земель, но страдали от частых демографических кризисов, потому что население, которое постепенно увеличивалось и продолжало концентрироваться в центре города, оказывалось слишком большим для доступных ресурсов писания. Греки не хотели увеличивать города-государства, потому что не доверяли расширению. Но они были великими мореплавателями, а в Средиземноморье встречались большие области, еще не населенные. Поэтому было естественно, что по меньшей мере на протяжении двух веков (VII - VI века до Р. Х.) они вывозили излишки населения в новые города, образуя колонии. Колонии были новыми независимыми городами, тем не менее, связанными с родиной кровным происхождением.

Очень показательно, что большинство этих экспедиций состояли только из мужчин.

Конечно, нужны были моряки для путешествия, потом исследователи и воины, чтобы освоить новые территории, наконец, строители, чтобы построить город. Но как размножаться без женщин? Насколько представляется, их находили на месте. Для колоний, которые жили в новой ситуации, традиционный греческий культ происхождения и крови был чрезвычайно важен. Но для того, чтобы сохранить кровь родины, достаточно было мужчин. Женщина была заменяемой, потому что мать и ребенок не были кровными родственниками. Она во время беременности вынашивала зародыш, но не имело значения, гречанка она или варвар, как и все равно было, кормить

ребенка коровьим молоком или овечьим. Задачей чрева было только питать ребенка, которого отец, настоящий родитель, туда вкладывал.

Когда могли такие возвышенные умы совершить такую низменную ошибку? Хиллман (1972) говорил об «аполлонической фантазии», верхней части архетипической идеи, которую расцвет греческой цивилизации опасным образом отделил в попытке подняться над земным, чрезмерно тяжелым и материальным. Это также ошибка «сельскохозяйственной аналогии». Проводя эту аналогию, греки верили, что доказывают то, в чем они были уже убеждены.

Пункт отправления — это фаза чрезвычайного творческого подъема, который переживала греческая культура. Мужчины не доверяют женщинам, которые не спешат внести в нее вклад. Так как они в основном руководствуются инстинктом, мужчины убеждаются, что женщины не способны на интеллектуальный выбор, который потом со строгой дисциплиной претворяется на практике. Женщины склонны к различным настроениям, болтливы и лишены суровости, как варвары, которые, в свою очередь, считались неисправимо другими.

Женщины, как представлялось, занимаются непосредственными делами, в то время как мужчины творят — то есть становятся символически отцами — ограничивая свое внешнее удовлетворение, чтобы выработать нечто новое внутри себя. В результате мужчины ощущали между собой и женщинами непреодолимую, основополагающую, физиологическую разницу, как если бы они принадлежали к двум разным расам. Гесиод объявляет об этом открыто, когда говорит о женщинах как о *genos:* да, из этого слова происходит наше слово «гендер», но для Гесиода это указывает на природную разницу, которая выходит за рамки половой и тендерной разницы.

Сейчас мы знаем, что половые различия между мужчинами и женщинами, а также и многие другие различия, которые когда-то считались необратимыми и генетическими, на самом деле обратимые и культурные. Но Западный разум постоянно испытывал искушение облекать в броню и изолировать собственные выгоды, именно потому, что ощущал их хрупкость.

Отцы древности возвышаются, создав культуру. И, в противоположность реальной последовательности событий, из созданной культуры они извлекают доказательство того, что природа приготовила для них более возвышенное положение. За тысячи лет до того, как Западные народы придумали теории, оправдывающие их власть над менее удачливыми народами, греки уже верили, что «сама судьба» требует от них подчинить не только варваров, но и их собственных женщин.

Они считали, что поняли законы природы, намного более надежные, чем законы богов. Для того чтобы открыть их, они прибегали к непосредственному наблюдению. Изучение растительной природы, с ее бурной тягой к порождению, без сомнения, вдохновило наблюдателя. Что может быть более инстинктивным, чем уподобить семя растения мужскому семени? Итак, отец дает семя, как порождающее растение. Но с чем сравнить функции матери? С землей, которая принимает и питает семя, а потом, без перерывов в существовании, само растение. Разве не соответствует это сначала беременности, а потом вскармливанию? Эта функция простой кормилицы, ,

помимо прочего, представлялась грекам не только аналогией с сельским хозяйством, но и непосредственно наблюдаемым качеством женщин. Для этого надо было только повернуть время вспять, начиная с кормления и рассматривая рождение в этом свете. Так как наблюдалась последовательность поведения матери как по отношению к ее распухшему чреву, так и по отношению к новорожденному, то предполагалось, что отношения между матерью и ребенком во внутриутробном периоде могли быть не генетической связью, а просто питательной.

С современной точки зрения эта так называемая натуралистическая теория является лишь переносом архетипической фантазии, то есть автономной и бессознательной идеей. Она воспроизводит в сельскохозяйственных образах миф об отце-творце и женщине как отдельном и нижестоящем *виде.* Это неизбежное следствие энантиодромии, посредством которой доисторическое поклонение порождающей силе женщин превратилась в отрицание. Хиллман пишет: «Настоящее происхождение — это сама архетипическая фантазия, а не объективная сцена, на которой эта фантазия "наблюдается" как "факт"». В самом деле, та же разница *полов,* мужского и женского, должна была оставаться и среди растений, и среди животных. Но греки боялись естественной силы материнского и не могли позволить себе иметь его так близко. Их доводы начинались с предпосылки наличия непримиримой разницы, потому что были основаны на страхе перед тем, что, если мужчина и женщина имеют одну природу, то женские качества могут проявиться и в мужчине, уничтожая его уникальность, которая в тот период переживала бурное усиление. Женские качества, по их мнению, тянули назад: взрослого человека - к чреву, дух - к земле, историю - к предыстории. Таким образом, тема была закрыта для исследования, она позволяла только сделать заранее намеченный вывод: по словам Поппера, ее нельзя было фальсифицировать.

Речь шла не о конкретном убеждении, относящемся только к генитальным функциям, но о сложной системе ценностей, создающей среду для психики, не видящей ничего вне ее. Как философ Средневековья не мог выйти за пределы христианского кредо, так и Аристотель не представлял себе науки вне *веры* в превосходство отца: по умолчанию генетика, которой он посвящает добрую часть своих трудов , — это часть философии творения, а творение — это способность мужчины.

Идея исключительно мужского порождения в значительной степени происходит из трудов Аристотеля. Она переживет тысячелетия и будет перенесена в Средневековье в произведения Фомы Аквинского. Только в 1660 Нильс Стеной опишет природу яичников. И только в XIX веке механизм оплодотворения будет действительно объяснен.

Предубеждение о превосходстве мужчин возникло в Греции, и пронзило насквозь всю культуру Западного мира вплоть до психоанализа.

Аристотель и вся его эпоха постоянно подразумевали превосходство мужчины над женщиной и превосходство межпоколенческого кровного родства — над другими человеческими связями. Из единства этих двух мыслей вытекала фантазия о *порождающей* способности мужчин: одержимость не столько *маскулинным,* сколько *отеческим.* Она проявилась, как вера в

способность мужчины не только создавать детей, но и порождать идеи, искусство, общество. Короче говоря, культуру, которая тогда расцветала с невиданной скоростью и которую только отцы могли породить, с того момента, как матери, замкнутые в порочном круге, не могли участвовать в общественной и культурной жизни.

Не является ли этот чрезмерный культ отеческого порождения — этот Зевс, представленный как отец, из головы которого рождается Афина, символ разума, — ответом мужчин на собственную одержимость беременностью, женским плодородием, которая была характерна для Неолита и части верхнего Палеолита? Образ плодородия, изначально воспринимавшийся как материнский, поднялся на вершину волны перед водоразделом «Теогонии», которая представила противоположный образ, отцовский. Экстремизм был силен в обоих случаях, но процесс энантиодромии переместил акцент с одного пола на другой. В доисторическую эпоху культура была продолжением природы, следовательно, ее образы выделяли порождение более заметное, материнское. В Греции культура присутствует как автономная - ментальная деятельность, и потому бессознательно она описывает себя образом, который только ум способен породить; как отец-Зевс, порождающий из головы.

Подсознательное восприятие в обоих случаях отражает сложные движения, которые порождают нечто новое: порождать значит создавать нечто, чего не было раньше. И в Неолите, и в Греции наблюдались волнующие новшества. Разница заключается в том факте, что греки ощущали развитие своей цивилизации как проникнутой героическим качеством и движимой самодисциплиной. Такая перемена предполагала подавление женских качеств и сопровождавших их образов.

Но в данном случае важно помнить, что миф об отце-творце, как и все мифы, знает только один момент славы. Слава эта, однако, будет продолжать жить в рассказе.

Греческий отец из традиции был завершённой, полной фигурой: социальной и человечной. Хотя часто он был далеко от семьи и, по крайней мере, до какого-то возраста, доверял воспитание детей женщине или гувернеру, семья все равно не представляла себя без него; все семейные чувства и переживания его касались и встречались в нем, как спицы колеса встречаются в центре.

От Гомера до трагедии, греческие повествования полны образов сильных и добрых отцов и ностальгии от их отсутствия. Не отношения между мужчиной и женщиной, или между мужчиной и мужчиной, тем более между мужчиной и богом (которые были полны страха), но любовь между отцом и сыном была центральным чувством души и позвоночником общества. В «Республике» Платона политическая проблема тиранства проистекает из регресса к доцивилизованным формам личности, которые, с нашей точки зрения, мы назвали бы доотеческими. Эта инволюция, в свою очередь, приводит к бедствию, которого греки боялись: сын вместо того, чтобы учиться у отца, выступает против него.

Характерная для отца манера поведения, то есть сдержанность, самодисциплина и деликатность, играли центральную, хотя и не всегда

осознанную роль, в формировании литературной и художественной эстетики этого периода. Сдержанность при расстановке акцентов обеспечивала равновесие, хранила достоинство и помогала постичь глубину произведений, которые таким образом несли на себе несомненный след отца. Материнская любовь, влюбленность, любовное поклонение божествам не были подвержены таким же табу строгого достоинства. Поэтому рассказ о них легко преодолевает границы и, растекаясь вширь, теряет глубину. Античная сдержанность и самодисциплина греческих отцов продолжит двигаться в глубину и переживет все эпохи, но станет неузнаваемой: парализованной и больной.

Тотальный идеал отца, момент, в который человеческий отец совпадает со своим мифом, начинает искажаться уже в суровости трагедий (V век).

«Альцест» Еврипида позволяет прорваться на свет перебранкам и непониманию между отцом и сыном, а ведь только несколько десятилетий назад там было место только для религиозной преданности.

Потом что-то происходит в мгновение ока — меньше чем за век — и трагедию сменяет комедия. Комичность ситуаций, описанных Аристофаном, часто ориентирована именно на жалкие отношения между сыном и отцом: ветреный транжира сын против жадного и недоверчивого отца. Греческое общество, а за ним и общество всего Западного мира, которое быстро эллинизируется, становится все более светским: теряет высокий полет мифов и развивает культ фактов и цифр.

Патриархат продолжает оставаться структурой общества. Но *отец* все менее соответствует идеальному «я». Отец был героической и прекрасной фигурой: он управлял эстетическим идеалом. Для патриархата достаточно, чтобы отец был сильным: иначе он может быть заменен институтами, потому что мало-помалу сам отец все меньше становится объектом чувств как человек и все больше материей долга как институт.

Когда Греция и Рим сливаются, новая сила римского отца переплетается с античной силой отца греческого. Но там редко рождается эстетический идеал, который можно было бы сравнить с одновременно сильным и добрым отцом «Одиссеи».

Когда эллинизированный Рим обращается в христианство, он наследует поклонение Богу как абсолютному отцу, отпечаток иудаизма. Божественная фигура настолько могущественна, что небо поглощает порождающую часть отцовского мифа, которая больше всего нас интересует в свете развития нашей идеи. Как замечает Хиллман, до сих пор мы наследуем из иудейской и христианской традиции аксиому, что «сначала был Адам, потом Ева»: неравенство, которое предполагает превосходство мужчины над женщиной, а не отца над матерью; речь идет о том, что он первым родился, а не о способности порождать. В библейском рассказе рождает Бог. Христианство, и в особенности католичество, дестабилизирует внушающую уверенность фигуру Яхве и привносит динамизм эдипального треугольника. Святое семейство, как нам представляется, вновь открывает двери для древних земных женских ценностей.

Но идет ли речь о психологической правде или о христианском предубеждении? Второе предположение оставляет позади евреев, представляя

их как «недоделанных» христиан, не прошедших последний шаг по пути эволюции. Но можно посмотреть иначе и увидеть Христа как «недоделанного» еврея (а христианство как «недоделанный» иудаизм), так как он был уменьшен до размеров патриархальности, которая является центральной идеей иудаизма, как и всех других монотеистических религий, включая христианство.

Глава 12
Эней

Вместе с «Илиадой» и «Одиссеей» «Энеида» — один из основных эпосов Западного мира, то есть Европы и, еще больше, Америки, потому что это - поэма эмигрантов, которые сталкиваются, а потом сливаются с коренным населением. Вергилий, однако, находился в совсем в ином состоянии, чем Гомер. Он умел различать мифические и исторические повествования. И понимал, что его задача — слить в поэме эти разные ингредиенты.

Вергилий жил в истории и понимал, что история помещает каждого в разные условия существования. Никто не находится в ее центре. Но Вергилий знал, что находится на вершине. Рим был самой великой Родиной и находился в расцвете своего могущества. Во главе государства был Август, самый великий правитель, которого знал Рим: и Август заявил, что ему была бы угодна эпическая поэма о величии его самого и Рима. Поэтов было много, но, находясь на вершине, они испытывали головокружение: у них дрожали руки и, дрожа, говорили им «нет». Когда Вергилий начал писать «Энеиду», он уже был публичной фигурой и давно доказал свои способности. Он долго откладывал работу, желая понять границы в которых он может творить, и убедиться, что там хватит пространства для самостоятельного произведения.

Прежде всего, надо было установить связь с греческими мифами и эпосом Гомера. Рим был действительно велик с тех пор, как победил Грецию на поле боя, и в то же время был сам завоеван греческой культурой. В искусстве, в литературе, во всех творческих выражениях римляне питались греческой традицией, и «Илиада» и «Одиссея» неизбежно были во главе этого списка.

Другим обязательным требованием к поэме была связь с историей Рима и ожиданиями Августа: происхождение города и его институты должны были предстать в ней в благородном свете.

Вергилий лично был привержен еще одной ценности - избежать напыщенности, искажения ролей, угодничества. У него было достаточно хорошего вкуса и чувствительности, чтобы позволить себе это, и Август был слишком умен, чтобы не понять, что это также в его интересах. Этому сочетанию, редчайшему во все времена и особенно две тысячи лет назад, мы обязаны шедевром.

Этот выбор трезвого стиля предлагал воспеть происхождение Рима в стиле Греции, следовательно, поместить два первых требования к поэме в согласие: греческими ценностями были владение собой, борьба против *hybris,* кротость человека перед лицом богов.

Вергилий почувствовал, что его произведение будет последовательным и единообразным, если, помимо отражения этих качеств в стиле поэмы, он выберет героя, который бы их олицетворял. Так он написал «Энеиду», эпическую поэму об Энее.

То, что Эней был троянцем, не представляло собой контраста с греческим эпосом, который Вергилий хотел продолжить: Гомер всегда ставил греков и их врагов на один уровень. Более того, он дал понять, что троянец Гектор — его любимый персонаж. Люди в любом случае лишь орудия в руках богов и судьбы. Суть героев античности не в том, что некоторые из них олицетворяли собой добро, а другие зло, а в том, что все они представляли собой жизнь, прожитую с величием и славой.

В те времена многие легенды описывали непростое возвращение греческих принцев после Троянской войны. Другие легенды гласили, что некоторые оставшиеся в живых троянцы бежали в сторону Запада. Энею, сыну богини и троянского принца, приписывалось основание многих городов в Италии, в том числе и самого Рима. Вергилий отверг этот слишком непосредственный вариант; не только потому, что знал: между падением Трои и возникновением Рима прошло несколько веков, но и потому, что предпочитал язык поэтических аллюзий ясной и грубой пропаганде.

О Риме в «Энеиде» говорится только косвенно. Но время от времени боги и отец Анхиз призывают Энея закрепиться в Италии и подготовить великое будущее царство. Сын Энея Асканий сможет основать Альбу, из которой со временем будет основан Рим. Мы наблюдаем медленное сплетание истории через время и пространство. Второе имя Аскания, Юл, передавалось на протяжении столетий в этом роду. От него берет начало род Юлия, к которому принадлежал Август.

Таким образом, Вергилий приводил в согласие разные требования. С одной стороны, он соблюдал реальную хронологию, дав поэме место в истории; с другой — поместил происхождение Рима в рамки греческого эпоса. Он связывал его с божественной генеалогией, потому что Эней был сыном одной из основных богинь; и с волей богов, которые дали согласие на то, чтобы он основал в Италии великий род. Он намекал на Августа, как благородного и естественного отца Рима. Наконец, прославляя Энея вместе с Анхизом и Асканием, он представлял отцов, как основной генеалогический принцип Римского общества, источник его силы. Мы унаследовали этот принцип.

Желая идти высоким путем Гомера, Вергилий был обусловлен определенными фактами, которые указывали ему путь. Среди немногих авторитетных текстов архаической Греции были «Гомеровские гимны» (нас не интересует здесь, до какой степени правильно приписывать их Гомеру): и в одном из них описывалось рождение Энея. Корень корней Рима, этот миф решительным образом задавал тон личности героя и обществу, которое он основал. При его рождении роли отца и матери были совершенно исключительными: так Эней передал римскому обществу преданность объятьям отца и недоверие к матери.

«Гимн Гомера к Афродите», богине любви, которую римляне называли Венерой, рассказывает о ее исключительном могуществе. Афродита направляет по своему желанию любовную страсть, которая не контролируется силой воли.

В любое мгновение она может послать любовь в сердце смертного или бога, превратив его в раба желания. Только три богини не подчинены ее власти: Афина, богиня войны, Артемида, занятая охотой, и Гестия, посвященная девственности и дому. Комбинация этих четырех форм неконтролируемой женственности должна была внушать суеверный ужас античным отцам: Афродита и Гестия — потому что они слишком женственные, слишком отличные от мужчин, Афина и Артемида — потому что слишком сильные, вооруженные, конкурирующие с ними. Они проецировали на богинь страх перед женщиной в обществе и перед феминной стороной собственной души, которые могли выйти из-под контроля. Миф должен был закончиться, навсегда сокрушив эту почти тотальную женскую автономию.

Афродита обладала властью и над царями. В любой момент она могла заставить влюбиться Зевса или любое другое божество, не только в другого бога, но и в смертного: а это для античных богов было самым большим унижением.

В отместку за это Зевс осудил Афродиту на любовь к простому мужчине: но благородному и красивому, как бог.

Анхиз играл на лире на горе Ида, которая находится рядом с Троей. Афродита явилась ему, обольстительная и ослепляющая красотой. Благородный троянец тут же влюбился, но боялся, что она была богиней, и спросил, благосклонна ли она к нему: он хорошо знал, согласно морали своего времени, что желать слишком большого счастья значит навлечь на себя неприятности. Богиня обманула его: она смертная, сказала она, судьба которой велит выйти за него замуж и родить прекрасных детей; судьба и ее родители согласны с этим и принесут богатые дары. Анхиз легко позволил себя обмануть. Он пожелал любить ее сразу же, страстно. Потом он заснул.

В этот момент воля Зевса была исполнена. Афродита перестала притворяться и резко разбудила мужчину: «Сын Дардана, что ты спишь? Посмотри на меня и скажи, та ли я, что прежде!» Анхиз все понял, пришел в ужас от того, на что осмелился, и попросил богиню быть милостивой к нему. Насчет этого Афродита могла его успокоить: он дорог богам. И добавила еще кое-что.

От этой любви родится сын, которого назовут Эней: от *ainos,* что значит «ужасный». Потому что для нее было ужасно любить простого смертного. Растить ребенка будут нимфы горы Ида. Когда ему исполнится пять лет, они отведут его к отцу, и он заберет его с собой в Трою. Ребенок будет прекрасен, как бог. Но Анхиз должен будет рассказывать всем, что это ребенок нимфы. Никто не должен знать, что его мать — великая богиня. Все должны будут считать, что это дух лесов, волшебный, но незначительный и безличный. Если откроется правда, Зевс поразит его молнией.

Запомним эти детали, потому что они говорят нам нечто важное о герое и его матери. Мать - обманщица, которая отрицает свое материнство. Мать,

которая ни разу не приласкала его, которая не видела его младенцем. Должны ли мы удивляться тому, что славный Эней всегда немного грустен?

Такой была древняя история Гомера. Из нее исходит Вергилий, для которого греческий Зевс становится латинским Юпитером, Афродита — Венерой, Гера — Юноной, и так далее: мы последуем за ним, используя эти имена. В промежутке, естественно, не пустота, а некоторое количество других рассказов. Как можно было предвидеть, рассказывалось, что однажды Анхиз, став неосторожным от вина, рассказал правду о происхождении Энея. Юпитер поразил его молнией, которая парализовала ему ноги: в «Энеиде» мы встретим его в таком состоянии.

Гомер начал «Одиссею» с того момента, когда Улисс уже близок к цели, и большую часть своего путешествия он рассказывает в ретроспективе. В «Энеиде» повторяется эта техника повествования.

Первая книга начинается с визита Энея в Италию. Юнона узнает об этом. Богиня терпеть его не могла, и читатель сразу понимал, что ее мотивы были эгоистическими. Юнона была сторонницей Карфагена, который будет великим соперником Рима. С другой стороны, она ненавидела Энея как всех троянцев: из Трои были родом Ганимед, любовник ее супруга Юпитера, а также Парис, который, судя о красоте богинь, предпочел Венеру. С помощью эгоистических доводов — нормальных в греко-римском политеизме, где боги не считались образцами морали, а заботились больше о власти, — Юнона убеждает бога ветров Эола помочь ей: кто прогонит троянцев в Африку, получит в качестве награды прекрасную нимфу. Убежденный этими божественными аргументами, Эол поднимает бурю.

Но тут недовольной становится Венера. И обращается к Юпитеру, напоминая ему о его обещании: Эней прибудет в Италию и станет основоположником великого рода.

В ответе Юпитера поэт легкой рукой сочетает миф с политической программой своей эпопеи.

Ничто в обещаниях не изменилось: напротив, он очень точно может рассказать Венере о славной судьбе ее сына. Эней прибудет в Италию и после трех лет борьбы станет в ней царем. Его сын Асканий — Илий как обитатель Илиона (Трои), что позже будет звучать как Юл,— через тридцать лет оснует Альбу. Из Альбы через триста лет родится Рим. Боги дадут этому городу власть, неограниченную в размахе и времени. Даже Юнона изменит свое мнение и будет поддерживать его: и главой города будет Юлий, потомок Юла.

Читатель уже знает, что Эней пользуется божественной защитой, потому что поэт постоянно использует по отношению к нему прилагательное «праведный», что означает: уважаемый богами. Мы, современные читатели, отметим, что этот персонаж, без сомнения отважный и великодушный, праведен не только благодаря избранности, но и по своему внутреннему содержанию. Постоянно поклоняясь богам, он как будто пытается облегчить тяжесть слишком сурового авторитета, который он носит внутри. Этот неудовлетворенный перфекционизм не чужд его печальной натуре. В целом, Вергилий описывает именно того персонажа, которого хотел описать: мужчину, выросшего с отцом, которому в детстве недоставало бескорыстной

привязанности матери, которая теперь обращается к нему только потому, что известный сын может доставить ей чувство гордости и самоудовлетворения.

Троянцы приплыли к Карфагену, где правит царица Дидона. Венера может спуститься на землю, чтобы ободрить Энея. Но эта расчетливая мать прибегает с сыном к обману, к которому прибегла ранее с его отцом Анхизом. Эней не узнает ее, но все равно видит, что она богиня и проявляет к ней уважение. Венера рассказывает ему о земле, на которую он попал, но отрицает свою настоящую сущность, называя себя охотницей. Только когда она исчезает, Эней осознает, с кем разговаривал. Он оплакивает любовь, которой ему в очередной раз не досталось. «Почему ты так жестоко обманываешь своего сына? Почему не могу я пожать тебе руку? И поговорить с тобой? И услышать какое-нибудь правдивое слово?» Мы должны задуматься об этой жестокости, потому что у нее нет очевидных оправданий, разве что божественный каприз. И поэт хотел этим кое-что сказать.

Эней продвигается по незнакомой земле. Царица Дидона узнает о его прибытии и рада познакомиться с ним, потому что раньше героя в ее страну прибыла легенда о нем.

Будем внимательны к тому, что происходит сейчас. Эней тут же зовет Аскания, потому что «отеческая любовь не оставляет разум в покое». В этой формулировке передано представление Вергилия об отце и том историческом и социальном порядке, который из него проистекает. Парадоксальным образом, эта любовь — *разум;* это не сердце, не чувство, а мысль, оценка, воля. Это также вопрос нескончаемых размышлений о стабильности, ответственности и безопасности.

Царица настроена благосклонно, и Асканий может прийти к ней, не рискуя: он принесет ей в дар украшения Елены. Встреча между мальчиком и царицей устанавливает более женственную, менее воинственную атмосферу.

Венера смотрит на это с небес. Она боится, что Юнона захочет сделать Энея пленником Дидоны. Ее подстегивает соперничество, самолюбивое чувство к своему сыну и ее роль богини любви. Она внушает царице Карфагена страсть к Энею. Она использует стратегию, об извращенных плодах которой мы узнаем из четвертой книги.

Эней посылает Аскания к Дидоне, которая осыпает его объятьями и нежностями. Но Венера под видом Аскания прячет Купидона, бога, который внушает любовь. Так как Асканий очень похож на Энея, под видом материнского чувства к мальчику Венера готовит ловушку: эротическую страсть Дидоны к его отцу.

Юнона и Венера, богини-соперницы, вместе сотрудничают, чтобы погрузить

Энея в вероломное болото Карфагена и нежное сердце Дидоны. Они стараются отвлечь его от обязанности, которая ему поручена. В их поведении нет ничего эпического, ничего божественного, ничего материнского: отец-основатель без своего долга, герой без его судьбы бесполезен, как лук без стрелы.

Каждая из богинь преследует свой непосредственный интерес. Они не беспокоятся о стратегических задачах, предначертанных судьбой. «Энеида» —

патриархальная поэма и, похоже, напоминает нам, что над этими далекими задачами работают отцы: Юпитер на небе, Анхиз на земле. Отцы знают долг и идеалы, матери — только желания.

С нашей психологической точки зрения Венера — это не только автономная, отдельная от Энея сила. Напротив, она представляет обольщающую его сторону: извилистую, неуправляемую, абсолютно бессознательную. Она отщеплена от его слишком линейной, мужской, стратегической и расчетливой воли. Посылая Аскания, опору замысла, с украшениями Елены, прототипа обольщения, Эней показывает, что его неосознанные желания вполне соответствуют желаниям его матери Венеры. Хотя формально поэма говорит о превосходстве отеческой любви, в тайне она осуждает ее темную сторону, плохо осознанную манипуляцию чувствами.

Итак, Дидона принимает Энея с видимыми почестями и тайными чувствами, потом просит его рассказать, что случилось с ним с того дня, как он бежал из Трои. Таким образом, Вергилий повторяет прием Гомера, и в длинном экскурсе в историю рассказывает во второй и третьей книгах первые семь лет скитаний троянцев.

Во второй книге описывается конец Трои.

Эней говорит, что возвращение к этим событиям заставляет его проливать слезы, но он все равно рассказывает их.

Шел уже десятый год Троянской войны. Греки сделали вид, что сняли осаду: их корабли отошли настолько, чтобы в это можно было поверить, а на берегу оставили громадного деревянного коня, внутри которого спрятались лучшие воины.

Перед конем многие троянцы повели себя как дети, любопытные и жадные. Здесь семейство Энея, которое у Гомера было знатным, но не выходило на первый план, начало проявлять свои качества хороших наставников, свои отеческие функции по отношению к детям и горожанам. Лаокоон, жрец Нептуна и брат Анхиза. вышел вперед первым и воскликнул: «Как вы можете не видеть риска? Только безумец принимает дары врага!»

Потом он мечет в статую копье. Изнутри ее слышится зловещий шум. Троянцы готовы послушать Лаокоона, и падение Трои могло бы не состояться. Но их ждет новый обман, и доверчивые и несознательные, жадные инфантильные уши впитывают его в себя.

На берегу остался изменник, который рассказывает, что конь — жертва Минерве, и он так велик, чтобы не мог пройти в ворота и пошлет блага троянцам, если им удастся внести его в город. Он сам спасся: его должны были принести в жертву. В конце его рассказа две больших змеи вылезают из моря, бросаются на сыновей Лаокоона и их пожирают, потом душат и отца, который кинулся защищать их. В одно мгновение это событие заставляет замолчать последний голос, который мешал погибели Трои и подтверждает обман. Люди думают, что Лаокоона наказала Минерва, за то, что он оскорбил ее священного коня. Толпа детей верит в то, во что проще всего поверить: греки бежали, война закончилась, символ нашей победы — конь. Для того, чтобы внести в его город, сносят часть стены. Начинается праздник. Все поют и пьют. Потом идут спать, не выставив стражу.

«Я только что заснул, — рассказывает Эней. — Я был благодарен за это богам: после долгого дня и после десяти долгих лет войны. Вдруг во сне мне является Гектор: не тот славный Гектор, которого мы похоронили и все помним, но Гектор, убитый Ахиллом, расстроенный, окровавленный и плачущий. Этот неожиданный образ ранил мое сердце, и я, в свою очередь плача, спрашиваю его: «Откуда и зачем ты приходишь ко мне? Кто значит твое ужасное лицо?»

Гектор не отвечает на личные вопросы, но, задыхаясь, кричит мне: «Беги, Эней, беги! Все в огне, враг уже на улицах, Троя пала вместе с ее высокими башнями. Родине и царю Приаму ты сделал достаточно. Теперь слишком поздно. Если бы скалу можно было защитить, это бы сделал я. Беги! Троя доверяет тебе священные предметы и своих пенатов.»

Говоря так, он вручает моей заботе изображения и священный огонь храма. Тоска не прекращалась: потому что в нашем доме слышались стоны, которые становились все ближе. Мучение заставило меня проснуться. Выхожу на крышу. Закончился сон, но не боль. Шум силен, но это другой шум. Троя горит».

Здесь в центре повествования находятся не люди, а священное убранство и пенаты. Они связывают отцов и детей, греческое и римское общества, разрушенный город с тем, что будет основан.

Пенаты обычно не получают конкретных имен. Это божества, которые управляют домом и городом, государством, — это воистину расширенная семья. Римские пенаты соответствовали греческим богам родины: но в Риме их культ был особенно важен, он символизирует силу общества и римской семьи лучших времен. Их центральное положение гарантировано именно в «Энеиде», поэме национально-религиозной, которая делает их в свою очередь гарантией родословной Рима: они представляют собой материальное и духовное выживание рода Энея.

Пенаты в центре не только метафорически: *penus* — это самое центральное и защищенное место дома или храма; здесь оборудовано небольшое культовое место, со статуэтками и другими украшениями, посвященное божествам, которые защищают семью и граждан. От *penus* происходит глагол *penetrare,* существительное *Penati* и т. д. Мы не говорим здесь об официальной религии, которая соблюдается, потому что предписана законом; эта форма культа выражает нечто особенно прочувствованное, глубинное и психологическое.

Пенаты представляют суть нас, семьи, города, такую интимную, столь связанную с чувством, что даже разуму она представляется неопределенной. Поэтому у них нет конкретного имени. Они руководят отношениями между поколениями, это самая настоящая часть их сущности, самая обнаженная, которая меньше всего любит выставляться напоказ; их культ скрыт от солнечного света. В этой скрытости от света и определений культ Пенатов смешивается с культом Ларов и культом огня, который горит неугасимо и над которым бдит богиня интимности, застенчивая девственница Гестия для греков, уважаемая всеми Веста для римлян. Эти формы религии связаны с верой в отцов, не только цивильной, но и религиозной; они также связаны с четким разграничением задач мужчин и женщин. Пенаты — не просто римский миф:

сам Гегель, мысль которого влияет на весь современный Западный мир, считал их основой семьи.

Пенаты — это семя римской семейной преемственности, источник глубокого чувства достоинства, которое позволяло мужчине подняться до уровня отца. Современные языки, с буквализмом, замечают, что сегодня произошел шаг в другом направлении, принижение отца до уровня просто мужчины. Слова *penus* и *Penati* были забыты, в Западных языках сохранились только производные «пенис» и «пенетрация». В коллективном воображении, которое подразумевает язык, идентичность мужчины больше не хранит ценности семейного чувства и преемственности (Пенаты), а только связана с его сексуальной ролью.

Внутри пылающей Трои, где бродят орды, эмоции тоже пылкие и коллективные. Эней забывает о задаче отца и становится мужчиной, который сражается:

«Я хватаю, — продолжает он рассказ, — оружие, как одержимый. Я горю от желания сражаться, организовать сопротивление: но у меня нет плана. Я хочу только встретить самую прекрасную смерть: на войне, защищая дом и его символы. Я бегу по улицам, освещаемым пожарами. Мне встречается Пантон, священник Аполлона, со священными предметами и Пенатами Трои.

— Пантон! Где центр борьбы? Какие позиции можно защитить?

— Ах, Эней, нечего больше защищать. Троя, троянцы, слава: всего этого больше нет. Даже боги покинули Трою.

На улицах я встречаю еще отважных молодых людей:

— Хотите сражаться со мной, хоть наше дело и безнадежно? Боги уже бежали, мы защищаем исчезнувший город, наша отвага — отсутствие иллюзий.

Они следуют за мной, мы бежим по улицам, которые греки омыли кровью. Но те прибывают во все большем количестве. Пантон убит. Я тоже ищу смерти там, где течет больше всего крови. Но смерть не ищет меня. Мы вновь у дворца Приама, где идет ожесточенная борьба, где в качестве последней защиты мы рушим собственные башни на голову врагов. Родственники царя спешат к жертвеннику, надеясь, что греки будут уважать священное место и спасут им жизнь. Появляется сын Ахилла, Пирр (которого Гомер называл Неоптолемом)».

Это появление — предупреждение: как отец содержит в себе благословение, которое он передает потомкам, так мужчина-не отец содержит в себе проклятие, которое также передает. Пирр — машина убийства, подобная Ахиллу. Он преследует Полита, сына Приама, и убивает его у него на глазах. Старый царь кричит: «— Будь проклят, ты осквернил лицо отца, убив перед ним сына; даже жестокий Ахилл уважал просьбы. (Неприемлемо здесь не столько убийство, сколько осквернение отца.)

— Иди тогда к нему, - отвечает Пирр. - Будь вестником и расскажи моему отцу о моей жестокости. Присоединись к нему в царстве мертвых.

Он тащит Приама к жертвеннику, тот скользит в крови своего сына. Здесь он убивает его мечом.

«Вдруг, и только тогда, — продолжает Эней, — я представил себе ровесника Приама: своего отца».

(Вергилий таким образом вторит «Илиаде», где встреча с Приамом напомнила Ахиллу о собственном отце: у детей мысль об отце отменяет боевой дух и заменяет его духом сострадания).

«Где же Анхиз? Где моя жена Креуса, где Асканий? Придя в себя, я оглядываюсь вокруг: товарищей больше нет со мной: или убиты, или бежали, или сгинули в огне.

Я бегу домой через ночную Трою. Но огонь внезапно освещает Елену, которая прячется в тени. Так значит она, после того, что столько людей погибло, теперь вернется в Грецию и станет царицей? Нет. Нет славы в убийстве женщины, но справедливо сделать это. Я поворачиваюсь в этом направлении.

Вдруг мне является мать Венера: «Сын, почему ты теряешь контроль над собой и время? Боги, Нептун, Юнона, Минерва и сам Юпитер — тут она приподнимает на время дым пожара и показывает мне их, — уничтожают Трою, дело не во фривольной Елене. Беги! Иди к своему отцу, спасай свою семью!»

(Это явление матери Энея, которое может нам показаться первым осмысленным и полным любви, на самом деле опять сделано в ее интересах. В отличие от современного читателя, древний был в курсе: Елену надо оставить в покое, потому что она — живое доказательство эгоизма Венеры. Богиня купила мнение Париса: для того, чтобы он объявил ее самой прекрасной богиней, она обещала ему любовь самой красивой женщины в мире. Этой женщиной была Елена, жена греческого царя: с ее похищения началась Троянская война).

«Тогда я увидел, что Троя рушилась, как великое дерево, подрубленное топором. Я побежал домой во весь дух. Но мой отец, которого я хотел спасти первым[159], отказывался.

— Мое место здесь, в мертвом городе, я уже умер. Спасение — для вас, молодых.

— Отец, как ты мог подумать, что я уйду без тебя? Если боги и ты пожелаете, чтобы ты умер, смерть будет единственным выбором. Дайте мне вновь мое оружие, и я применю его против греков».

(«Боги и ты». Воля отца и воля богов стоят на одном уровне. Судьба желает смерти рядом с отцами: Полит рядом с Приамом, Приам рядом с жертвенником отцов, теперь Эней рядом с Анхизом, Асканий рядом с Энеем).

«Креуса цепляется за меня, плача:

— Зачем уходить от отца, сына и супруги, которые рассчитывают на тебя? Защити прежде всего дом!

И вот, в неожиданное подтверждение слов Креусы, луч нисходит на волосы Аскания, потом справа слышится удар грома, ясный знак Юпитера. Анхиз, специалист по предзнаменованиям, восклицает: «Боги хотят нас! Они просят спасти внука, и вместе с ним род. Отказываюсь от своего упрямства: уходим, уходим всей семьей!»

Я набрасываю на плечи шкуру льва, наклоняюсь и приглашаю его:

— Быстро, отец, залезай ко мне на плечи. Держи ты священное убранство и Пенаты: мои руки в крови, я не могу дотронуться до них.

С парализованным стариком на плечах, ребенком, которого я держу за руку, женой, которая следует за мной, я еще раз выхожу на горящие улицы».

(Сцена остается прежней, улицы полны огня и крови. Но Эней стал другим, его сущность изменилась. Еще совсем недавно его возбуждала борьба: он поворачивался в сторону битвы, устремлялся к ней. Вид греков был для него ненавистен, но делал счастливым: скрестить с ними оружие значило с пользой потратить мгновение жизни, которая в любой момент могла завершиться. Эней был Ахиллом. Сейчас каждый звук его тревожит, даже дуновение ветра призывает его к осторожности или отступлению. Эней рассчитывает, Эней бежит. Эней становится как Гектор в бегстве. Что с ним происходит? Где его сила и смелость? Мы постоянно видели, как он колеблется между одним долгом — инстинктивным, непосредственным, индивидуальным, ахилловским — борьбы, и другим — сложным, распространенным на его семью и во времени, гекторовским — спасения. Мы видели, как он разрывался между мужчиной и отцом в себе).

«Со своим грузом я вышел из ворот Трои, к разрушенному храму Кибелы, где собрались выжившие. Анхиз, Асканий и Пенаты в безопасности. А Креуса? Я поворачиваюсь: Креуса исчезла. В отчаянии, еще раз облачаюсь в броню, еще раз иду в город и его улочки, до дома, который уже пуст; вижу только греков, которые подсчитывают добычу, забирают в рабство женщин и детей. Несмотря на риск, выкрикиваю на улице имя Креусы. И дух Креусы является мне: «Не приходи в отчаяние, Эней, это того не стоит. Ты ничего не можешь сделать для меня, моя жизнь отлетела. Будь спокоен: я не стану военной добычей грека. Мой дух будет жить здесь спокойно, ему удостоена честь остаться в этой земле при богине Кибеле. Ты же спасай семью, Аскания, нашу любовь к нему: однажды у тебя будет другая земля и другая супруга.»

Она исчезает, оставив меня с бесполезным оружием и слезами.

Ночь, которая меня скрывала, начинает превращаться в утро. Я поспешил вон из города, туда, где мы прятались.

Там я встретил многих троянцев, выживших и бежавших, которые хотели следовать за мной. Эта неожиданность придала мне сил. За нашими спинами Троя была окружена греками: мы не могли вернуться, и не было надежды, что кто-нибудь еще присоединится к нам. Я снова поднял отца на плечи и ушел вместе с выжившими в сторону гор».

Так завершается вторая книга «Энеиды», самая драматическая.

Остановимся и мы, и зададим себе вопрос. Почему колебания Энея так быстры и неукротимы? Почему Вергилий наделил его двумя личностями, настолько расколотыми?

Поэт пожелал описать два темперамента, которые сражаются еще более отчаянно, чем греки и троянцы. Две психологических личности, обе мужские, похожие на уже описанные Гомером в смертельном столкновении Гектора и Ахилла, и на колебание двух непримиримых способов существования внутри личности Улисса. Но в более осознанном, более педагогическом и менее фаталистическом произведении Вергилия мы наблюдаем уже четкое намерение и выбор.

С одной стороны, Эней постоянно подвержен импульсу сражаться, который охватывает его охватывает его в любое мгновение без сильного стимула извне. Это его самый простой долг, определенный ценностями времени, ожиданиями

слушателя и его внутреннего судьи, или Сверх-«я». В его рассказе постоянно повторяется, как оправдание, что он не погиб: он бросался туда, где опасность была сильнее всего, но боги решили, что его час еще не настал. Это борьба вместе со своими и против врагов; друзья и противники редко имеют имена и не вступают в личные отношения с рассказчиком. Действие и встреча с другим — другом или врагом — не являются частью преемственности, они находятся в одном мгновении. Каждые отношения горизонтальны, они протекают в группе. Даже точнее сказать, в толпе.

Не в смысле доантропологическом (Фрейд, Энгельс), а в смысле психологии поведения животных. Группа сражающихся напоминает нам банды самцов (которые мы наблюдаем у наиболее близких к нам обезьян), которые вместе ищут пищу и самку, и готовы сражаться, если подвернулась конкретная ситуация. Вам кажется произвольным такое сравнение? Но мы видели, что эпический цикл о Трое — это мифическая метафора грандиозной первобытной борьбы мужчин за обладание Прекрасной Еленой.

В отличие от Гомера, Вергилий прибегает к идеологии: он хочет внести вклад в усиление римского общества. Он утверждает — во многих отношениях, справедливо, — что власть Рима распространится по миру. Для Вергилия импульсивная группа — это прошлое, общество ответственных отцов — это будущее: это основа, вокруг которого оно ткется, и ось, вокруг которой вращается ее система законов. Соответственно, во второй книге «Энеиды», в то время как никто из греков не выходит из состояния орды, троянцы, хоть и застигнуты врасплох, составляют план и объединяются вокруг Энея.

Наряду с импульсом сражаться, Эней намерен спасать семью и род. Этот импульс более сложен, чем первый. В нем есть нечто от замысла Улисса. Он не непосредственен. Для того, чтобы убедить Энея, вмешиваются Гектор, мать Венера, дух Креусы: отцовство, как мы знаем, существует в связи с семьей и обществом. Кажется, что он постоянно оборачивается спиной к этой задаче, увлекаемый более непосредственным долгом борьбы: словно безопасность влекло за собой слишком абстрактные рассуждения для разума, поглощенного огнем и кровью, привыкшего к животной борьбе. Хотя этот конструктивный импульс силен, он остается неопределенным и незрелым.

Поэт захотел описать решающую, но неполную эволюцию характера Энея (онтогенез), но также, так как он является символом нового общества, и основателей Рима (филогенез).

Это развитие интересует нас не меньше, чем Вергилия.

Эней призван выбирать. Это момент последней защиты, время и силы заканчиваются: или сражайся с врагом, или спасай свой род. Эти задачи невозможно совместить: или долг такой простой, что является продолжением инстинкта (тот, что во все времена побуждал молодых людей погибать добровольцами и для некоторых стариков облегчал свободный выбор), или долг, который предполагает борьбу против самого инстинкта. Здесь удовлетворение непосредственного импульса оказывается отброшено. Усилие направлено на противоположную операцию, которая может принести пользу, только если есть абстрактное намерение и проект. Все остальное отбрасывается.

Ум от природы не готов к таким сложным рассуждениям. Он должен быть подготовлен разными голосами: матери, отца, жены Креусы, идеальной модели (Гекторе) (неважно, идет здесь речь о реальных личностях или о разных внутренних авторитетах). Так как это намерение не основано на инстинкте, оно не дает немедленной уверенности. Чувства Энея, когда он берет в руки копье и когда поднимает на плечи старика-отца, невозможно сравнить. Первое просто и сразу приносит удовлетворение. Второе требует умственного углубления, раскопок. Только здесь юношеская, горизонтальная сила воина созревает и превращается в вертикальную силу отца.

Горизонталь — это сражение между равными, молодыми львами, которые легко прыгают, потому что еще не обременены ответственностью. Все прекрасны и полны славы, но ни один из них не является самим собой, все они — группа в неподвижном состоянии и орда при наступлении. Вертикальна сила дерева, которое устремляется к небу, но держится корнями в земле. Вертикально давление отца на спину Энея. Для вертикальности необходимо углубление, готовность принять его вес: от льва — юношеского боевого задора — остается только шкура, символическая подушка для груза, который выбрал взрослый. Сын несет отца, который не может идти сам. У каждого есть инстинкт самосохранения, но только у одного есть достаточно сил, чтобы выжить. Втайне эта вертикальная связь — это также иерархия, следовательно, компенсирует вес возвышением. Для того, чтобы нести другого, надо понимать разницу и взаимное дополнение. Такое понимание освобождает от приверженности группе молодых, для которых равенство является синонимом анонимности.

Эней, молодой лев, теряется. Но Эней-человек не исчезает, он поднимается и влечет за собой цепочку отцов: Анхиз над ним, его сын Асканий под ним. Эти трое представляют собою генеалогическое древо, ветви которого направлены из прошлого в будущее. Их объединяет переход отцовства из одного поколения в другое. Их объединили семя и рождение, и связь эта проходит через тело Энея. Пока они спасаются от смерти, их объединяет новое рождение, проходящее через руки Энея, держащие отца и сына.

Образ Энея, бегущего с отцом и сыном, — центральное звено в цепочке отцов, которая удерживает общество. Редко образ оказывается настолько программным, как этот (рис. 1).

Руки героя-основателя — правой он ведет Аскания, левой поддерживает Анхиза на плечах, — имели для древнего Рима такую же идеальную ценность, как распростертые руки Христа для христиан. В статуях, картинах, мозаиках, на монетах, восходящих даже к VI веку до Р. Х., когда Рим только родился и до рождения Вергилия оставалось еще 500 лет, эта фигура была одной из самых воспроизводимых. Август, вдохновитель «Энеиды» и триумфа римского патриарха, велел поставить в центре римского Форума именно статую Энея, который бежит с отцом и сыном.

Почему апофеоз героя-основателя представляет его в момент бегства? Ответ ясен, если мы обратимся не к бюрократическим данным истории, а к глубоким символам, к которым были чувствительны Вергилий и Август.

Решающей битвой было не случайное и краткое столкновение между троянцами и греками (которые в восьмой книге «Энеиды» уже стали союзниками). Это культурное столкновение, тысячелетнее и до сих пор не разрешенное, между мужчиной орды и мужчиной индивидуально ответственным, которого римское общество хотело воплотить в образе отца.

Настоящее путешествие Энея — не из Трои к основанию Рима (которое, как мы увидим, имеет циркулярный характер, с возвращением в пункт отправления). Это вечное удаление от огня, — который символизирует не только разрушение Трои, но и пылкие импульсы горизонтальной группы юнцов, — для обоснования задач таких необратимых и вертикальных, как родословная.

Великодушие Энея было крепостью, которую охраняли стены его благочестия. В утомительном бегстве он выражал его по отношению к.своему отцу и как отец, с той же последовательностью, с которой ежедневно выражал ее по отношению к богам. Древние средиземноморские народы — не только римляне — считали эти добродетели непревзойденными. В древности была весьма распространена также легенда — опущенная Вергилием, вероятно, потому, что она делала менее героическим начало путешествия Энея, — согласно которой греки видели, как он бежит с отцом и сыном. На них это произвело такое впечатление, что, хоть они и были опьянены победой и добычей, они позволили ему удалиться, разрешили унести с собой свои богатства. Рассказ, который составляет уникальный случай в истории древних разграблений и говорит много об уважении классического мира к добродетелям, сосредоточенным в этой сцене.

Если начиная с этого момента «Энеида» наметила программу римского общества, она не только изобразила фигуру отца, который им будет править, но и дополняющую его женскую фигуру, которой было суждено укрепить его роль.

Еще до знакомства с поэмой, публика должна была иметь в виду происхождение главного героя: божественная, но совершенно невнимательная к ребенку мать, в отличие от отца Анхиза — отвечающего за Энея с того дня, когда его отняли от груди, — чьи отношения с сыном прочнее, чем стены Трои.

В «Энеиде» женские фигуры четко разделены: одна часть немедленно вызывает недоверие; другие поддерживают мужчин, исключая какую бы то ни было конкуренцию с ними.

В начале произведения доминирует богиня Юнона: персонаж наиболее близкий, в греко-римской мифологии, с Великой богиней-матерью предыдущих культур, но здесь она демонстрирует свое могущество только в плане поглощающем, инфернальном, деструктивном. Она находится в радикальном контрасте со своим супругом Юпитером, который руководит лучезарной судьбой Энея и с высоты следит за выполнением своего плана. Царь богов теряет подростковые черты, которые он сохранял в греческом мифе. Он делается более патриархальным и вместе с тем все больше отдаляется от своей женской половины. Юнона, напротив, представляет худшие стороны архетипа женщины-матери, как и Венера, не желающая быть матерью, представляет худший образец женщины-любовницы.

Мы ожидаем, что центральной женской фигурой будет жена главного героя. Креуса описана бегло, но достаточно, чтобы почувствовать, что это

женщина, обладающая голосом и сложными чувствами. Но из этого следует также, что она может влиять на решения Энея, представителя патриархата в его чистейшей форме. Поэтому неизбежно, в многочисленных изображениях Энея, бегущего с отцом и сыном, Креуса отсутствует или изображена как фигура, следующая за ними. Логично, что она умирает в начале поэмы: ее функцией было призвать на защиту семьи Энея, который сражался с юношеским пылом. Сделав это, она не должна была больше препятствовать судьбе, которая приготовила герою новые приключения и новую супругу, полностью подчиненную ему.

Женская фигура упрощается. Она не может обладать сложностью, присущей индивидуальной личности. В противовес опасным Юноне и Венере появляются два других женских божества, такие же односторонние, но в позитивном плане; они, что символически существенно, обитают над Троей. Здесь находится древний храм Цереры, богини урожая, которая является щедрой матерью, лишенной ужасной стороны. Чуть выше, на горе Ида, расположилась богиня Кибела, еще одна добрая мать, которая примет к себе навеки Креусу, оставив Энея свободным для новой жизни.

Добродетельному и великодушному отцу соответствует ненадежная и злая мать, и имплицитно такое сопоставление является программой Вергилия для социальной жизни римлян. Он призывает граждан-мужчин развивать сложную индивидуальную личность: такие мужчины должны будут сами отвечать за свою семью и род. Женские фигуры могут быть только щедрыми и полезными или вредными и разрушительными: им недостает глубины, не менее проблематично и внешнее подчинение. В сравнении с Грецией, Рим дает женщинам больше прав. Но не делает шагов к психологическому пониманию женщины.

Путешествие отцов укрепляется, по мере того, как Эней движется в поисках новой земли: для Вергилия продвижение троянских судов — это продвижение нового общества.

В третьей книге флотом все еще руководит Анхиз. Старый патриарх будет указывать, когда поднимать паруса и когда пускаться в путь, до самого конца. Но направление пути, что удивительно, задает Эней, хотя его вклад остается косвенным, пассивным.

«Ищите древнюю матерь», — сказал голос бога Аполлона. Его пророчество обещает троянцам, что новая родина возникнет именно в том месте, куда в древнейшие времена удалились основатели Трои. Этот мотив, поэтический и психологический одновременно, распространяет на весь род *nostos,* архетип вынужденного возвращения, который сопровождал Улисса, Агамемнона и других героев. Анхиз считает, обращаясь к своей исторической памяти, что это место - Крит. Путешественники высаживаются там и собираются основать новую Трою.

Но Энею снится сон. Ему являются священные изображения и Пенаты, которые вручил ему окровавленный Гектор и которые сопровождали их в изгнании. Анхиз, как патриарх, истолковывает сон. Так как он подчинен воле богов, он узнает их голос, который говорит сними через видение его сына. Бессознательный, архетипический разум Энея сильнее, чем сознательный,

исторический разум Анхиза. Древняя — и новая — родина не здесь. Надо двигаться дальше на Запад, до земли, которую греки называли Эсперия, то есть Италии. Отсюда в древнейшие времена пустился в путь Дардан, глава рода троянцев. Здесь будет заново найден город Коритон.

Эней снова демонстрирует характер сновидца и пророка: и, как часто случается с визионерами, он охвачен эмоциями, но еще не способен, сам по себе, преобразовать их в волю. Отец дополняет его: историческое воспоминание Анхиза оказывается менее важным, чем видение Энея; но старик находится во главе иерархии, потому что способен превратить видение в факты.

Коритон — это древнее название города Кортона, в Тоскане. Вергилий вкладывает этот образ в сон Энея, потому что культ отцов-основателей и «древней матери» для него — настоящая религия. Поэт углубляет его и наполняет двойным смыслом. Коритон был этрусским городом, как и Мантуя, родина, которой гордился Вергилий, потому что этруски были более древним народом, с которыми римляне ассимилировались, но не уничтожили их. Еще одна легенда гласила, что этруски были родом с Востока, из Лидии, местности, соседней с Троей и отчасти с нею объединенной. Следовательно, народы перемещаются кругами до бесконечности, пункты назначения совпадают с истоками, и цепочка отцов — это земное выражение божественной вечности.

Этот культ, священным образцом которого является Эней, но который очевидно исходит от Вергилия, интересует нас в плане анализа. Формально это религия потомков, которые берут пример с предков и обращаются к архетипам материнским и отцовским. Но, тогда как цепочка отцов состоит из реальных личностей, которые понемногу, с течением времени, становятся мифическими фигурами, и постепенно начинают осуществлять связь между человеческим и божественным, с материнской стороны здесь присутствует не преемственность, а разрыв. Есть богиня, которая сразу занята только собой, или древняя мать, не олицетворенная реальными женскими фигурами. Отеческая сторона этого культа выражает преданность реальным отцам. Материнская сторона указывает на пустоту.

Бесконечное путешествие возобновляется. Они плывут вдоль Ионического побережья, останавливаются в Строфадах, где находят много скота. Они приносят жертвы богам и устраивают обильный пир. Средиземноморье, кажется, вновь превратилось в Великую Мать, которая питает. Появляются женские божества. Но это Гарпии. Женщины до груди, хищные птицы ниже, они и жестоки, как хищные птицы. Гарпии, всегда голодные, воруют и пожирают пищу. Их тела дают не питание, а непрерывно производят экскременты, от которых становится невозможно дышать, а то, что-они не съели сами, невозможно есть. Троянцам они выкрикивают пророчество о голоде. «Прочь от этих матерей, которые порождают только голод, а не пищу!» — приказывает Анхиз и вызывает благословение богов.

Старик продолжает командовать кораблями. Но мужчины — не просто добрые отцы, которые умеют прогнать пожирающих матерей. Как делал грек Гомер, римлянин Вергилий также хочет напомнить нам это. Скрытая в пещерах, вдали от взгляда повседневной жизни и цивилизованных обычаев, живет мужская фигура, вооруженная когтями и готовая пустить их в дело. Этот мотив

в «Энеиде» идентичен мотиву «Одиссеи», которой было к тому времени уже более 600 лет, и оба берут начало в сказаниях еще более древних. Двойственная природа мужчины — это архетип, неизменный вне зависимости от перемены мест и эпох.

Мы на Сицилии, на склонах вулкана Этна, огня, который рождается в черве Земли: образ внутреннего импульса, который сразу прорывается к фактам, не представляя себя небу, не проходя через свет, разум или взгляды богов. Сойдя на эти берега, троянцы встретили несчастного, который почти утратил человеческий облик. Это Ахеменид, грек, который был товарищем Улисса вплоть до приключения в пещере Полифема. Когда они бежали от Полифема, товарищи в спешке забыли его, садясь на корабль. С тех пор он питается ягодами и кореньями, ведет ужасную жизнь, спасаясь от блуждающего на ощупь слепого чудовища и его голода по человеческой плоти. Такой жизни он предпочитает отдать себя в руки врагов-троянцев, которые, может быть, убьют его, потому что он был среди грабителей их города. Но Эней принимает его, потому что благочестивый человек заботится о тех, кто в нужде.

Но, за эпизодом спасения стоит Вергилий, который хочет сообщить нам кое-что. Основная борьба разворачивается не между греками и троянцами, но между мужчиной-зверем и отцовским милосердием. Мужчины — римляне или варвары, греки или троянцы — должны бежать от чудовищного вечного юнца, который живет только импульсами, и вериться без остатка отцу. К нему должна держать путь история. Это бесконечное путешествие, символ усилия, которое никогда не завершается, и не допускает компромиссов.

В этот момент умирает патриарх. Жизнь Анхиза заканчивается в конце третьей книге «Энеиды».

Четвертая книга — один из самых возвышенных рассказов о любви всех времен.

В противном случае Вергилий, поэт скорее чувств, чем битв, не написал бы ее. И мы не стали бы о ней говорить. Потому что, хоть склоняясь перед небом, богами и судьбой, земная жизнь обладает своей автономией: и на земле, по отношении к Дидоне, Эней не выказывает ни великодушия, ни храбрости.

Ночь растворяется в лучах света. Эней закончил свой рассказ. Дидона, которая его слушала, без оглядки влюбилась в него.

Дидона, молодая вдова, обещала отказаться от любви, посвятив себя воспоминаниям о покойном муже. Царица, которая командует и владеет мечом, женщина, которая принимает гостя с нежностью и любит страстно, Дидона — личность, полная колебаний, не менее сложная, чем Эней. В следующие дни она страдает. Анна, ее сестра и доверенное лицо, сомневается меньше: зачем навсегда отказываться от любви, от детей, от политической выгоды союза с троянцами? Зачем оставаться одинокой, тем более во главе царства, окруженного враждебными народами? Речь идет не только о создании жизни как проекта, как сделал бы мужчина: Дидону охватила сильная страсть. Анна это поняла.

«Энеида» описывает царицу как все более возбужденную, лихорадочную. Увлеченная любовью, она забывает о делах управления страной. Но не только сестра дает ей советы. Венера наполняет фантазии Дидоны воспоминаниями об

Аскании, таком нежном и таком похожем на отца. Вергилий, тронутый, рассматривает эту интенсивность женского чувства. Но мифы и патриархальное обучение решили раньше него, как все закончится: и поэт рассказывает обо всем как о факте, не пытаясь исправить несправедливость, которая постигла Дидону. Царица искренняя, человечная и страстная; но в «Энеиде» говорится, что она одержима. Древние считали, что тот, кто одержим страстью и богами, которые за нею стоят, тот «виноват». Он погружается в трагедию, хотя это наказание, с нашей точки зрения, несоразмерно с его намерениями.

Когда Вергилий описывает Дидону, которая обнимает Аскания[170], он дает нам понять, что любовь римского отца к сыну не ограничивается тем, чтобы «никогда не оставлять ум праздным»: это чувство считается также превосходящим любое другое и даже не становится на один уровень с чувством матери. В женской привязанности нет воли, намерения и стратегии. В ней есть инстинкт, страсть и забота о ребенке. В этом эпизоде материнская любовь не отличима от эротического наваждения. Речь идет о всепоглощающей, неконтролируемой страсти. Если чувство объединяет в одну фигуру ребенка и возлюбленного, оно само также объединено. Асканий — мальчик, очень похожий на отца: вот почему Дидона любит его, не разделяя эти две страсти. Совсем не такова, способная на контроль и различия, любовь отца, похоже, подразумевает Вергилий. Представьте себе мужчину, который дрожит, потому что держит на коленях дочь любимой женщины? Древнее общество назвало бы это смешным, а современное — извращением.

Тем временем Юнона и Венера организуют распродажу божественного достоинства и человеческих чувств. Юнона делает вид, что хочет, чтобы Эней и Дидона поженились, Венера — что верит в это и поможет этому. Вергилий излагает миф так, что ужасное разочарование царицы исходит не от Энея, но виноват женский принцип, страстный и капризный. Две богини готовят бурю, по причине которой Дидона и Эней прячутся в одной пещере: когда они выйдут оттуда, царица откажется от верности покойному супругу. Она сама добавляет в эту путаницу еще одну женскую вину, потому что немедленно, не подумав, распространяет слух, что выйдет за Энея замуж.

Но отец Юпитер, наблюдая за этими капризами, напоминает Энею, что его долг — продолжать путешествие. Потом земной отец Анхиз является ему во сне с предупреждением. Для нас, современных людей, поразительно наблюдать, как здесь судьба и долг совпадают. Эней имеет моральный долг не только пред своими детьми, но и перед очень далекими потомками, которые не родились, но которым *суждено* родиться.

Вдруг Эней вновь охвачен сомнениями. У него не возникает искушения остаться в Карфагене с Дидоной: его тоска связана с тем, как и когда сказать царице, что он опять отправится в путь. По отношению к последовательности и моральным качествам, которые обычно являет Эней, эта драма преувеличена. Вергилий косвенным образом описывает скрытую сторону непогрешимого и справедливого отца. Если мы воспримем рассказ буквально, мы спросим, где мужественность героя, который так боится, что его упрекнет женщина. Если же мы будем рассматривать это с психологической точки зрения, мы понимаем, что страстность царицы не чужда духу главного героя: она принадлежит и ему, он

сразу же понял ее драматическую важность. Но его способ обращения с этой страстью — отрицать ее.

Дидона тоже думает о потомстве: о будущем сыне, который родится у нее от Энея, и будет похож на отца . Но очевидно, что для «Энеиды» эти вещи находятся не на одном уровне. Долг Энея — это долг отца-основателя, за который он несет ответственность перед всем обществом; мечты Дидоны — это просто мысли матери, которая занята сама собой и движима инстинктом.

Любовь, напоминает нам Вергилий, не может быть обманута. Так, Дидона понимает, что троянцы собираются уезжать. Она идет к Энею, упрекает его. Уходит от него. Упрекает саму себя. Пытается помириться с ним, пытается отложить его отъезд. Начинает бредить. Ее упреки становятся все более отчаянными. Она жалеет, что не расчленила возлюбленного на части и не велела их разбросать, что не расчленила Аскания, чтобы подать его отцу на обед. Клянется в вечной ненависти к Энею и его потомкам: историки истолковывают это как пророчество о будущих смертельных войнах между Римом и Карфагеном, но мы прочитываем это как символ вражды между миром отеческим и материнским, разделенными психологически. И, когда корабли Энея поднимают паруса, она бросается на меч, и ее погребальный костер троянцы видят издалека.

В пятой книге путешествие продолжается. Остановившись на Сицилии из-за неблагоприятного положения на море, троянцы отмечают соревнованиями годовщину смерти Анхиза. Подросший Асканий выделяется своей доблестью: он приближается к отцу, к отцу отца.

Но античный мир создан из двух миров. Троянские женщины отмечают годовщину на другом берегу, отдельно от мужчин. Они плачут и надеются обрести родину. Ужасная Юнона не упускает возможности причинить вред Энею. Она зовет богиню Ириду: приказывает ей принять облик троянки. Ирида спускается на берег и возбуждает недовольство женщин.

«Женщины, — кричит она, — семь лет мы странствуем из одной земли в другую. Для того ли взяли мы с собой Пенаты Трои, чтобы их по морю возить? Почему не основать прямо здесь новую Трою? Почему новая Троя не основывается никогда? Вот факелы!» И хватается за огонь.

Троянки колеблются. Потом, когда видят, что имеют дело с богиней, возбуждаются. Берег наполняется одержимыми. Они напоминают древних вакханок; но эротическую страсть в них сменяет гнев. С криками они кидают огонь в суда, основу отеческой программы, слишком сложной и безжалостной. Судам угрожает опасность.

Цепь отцов должна немедленно приступить к действию, чтобы противопоставить судьбу и замысел этому пылкому нетерпению. На этот раз начинает самый молодой. Увидев издали огонь, Асканий подбегает к ним: «Несчастные, вы жжете не греков, но вашу надежду!» Эней просит Юпитера: «Отец, если мы еще тебе дороги, дай нам знак; в противном случае уничтожь нас». Командир, казалось, вот-вот утратит власть и надежду. Но Юпитер, небесный отец, незыблем. Посылая дождь, он тушит пожар и успокаивает возбуждение. Большая часть кораблей спасена.

Здесь мы были на пороге полного разрыва, отцы никогда не были дальше от матерей. Миф, который это описывает, ощущает эту опасность и требует компромисса. Анхиз является сыну во сне. Он предлагает тем, кто хочет основать город на месте, сделать это. Только Эней и самые смелые из троянцев продолжат путешествие.

В шестой книге Эней спускается в мир мертвых. Герой посещает его, чтобы встретиться с Анхизом и получить наставления по поводу путешествия непосредственно от него. Но среди душ мертвых он не может не столкнуться с Дидоной. Охваченный чувством вины, Эней пытается заговорить с нею. Но царица удаляется, ничего ему не говоря. Даже в мире ином вражда между их мирами остается полной.

В наши задачи не входит анализ того, что думали римляне и Вергилий о положении мертвых. Это представление не сильно отличается от греческого. Нас интересует тот факт, что посещение Анхиза и само царство мертвых — метафизические формы цепочки отцов. Дух Анхиза необходим, чтобы завершить программу путешествия: это путешествие не столько в пространстве, сколько по генеалогическому древу. Старик не дает живому сыну указания насчет следующих этапов пути: он показывает ему души, которые, в будущие века, станут плотью и будут выдающимися римлянами.

На протяжении добрых 130 стихов «Энеида» разворачивает список потомков, которых демонстрирует Анхиз, и которые сделают знаменитым род Энея. И мы не удивимся тому, что в нем нет ни одной женщины.

Так заканчивается первая половина поэмы, шесть книг, посвященных путешествию. Вергилий хотел в одном произведении возродить и романизировать две несравненные греческие поэмы: «Илиаду» и «Одиссею». Первая часть «Энеиды» составляет «Одиссею» Энея. В шести следующих книгах, с седьмой по двенадцатую, герой захватывает себе землю в Лацио, и его троянцы смертным боем бьются с местным населением, подстегиваемым Юноной: эта вторая часть может считаться «Илиадой» на итальянской территории.

По отношению к первой части, учитывая ее более военный и коллективный характер, вторая часть «Энеиды» содержит меньше указаний на миф римского отца. Однако мы остановимся на нескольких отрывках, в которых говорится о только что обсуждавшихся нами темах.

Как и в «Илиаде», один из центральных мотивов столкновения — женская фигура, за которую все сражаются. Царь Латин потерял всех сыновей. В этой традиционной земле Великой Матери Латин — символ хрупкости патриархата, который для подкрепления ждет прибытия патриарха Энея с Востока. Единственная его наследница — нежная Лавиния: принцесса, которая улыбается, плачет, краснеет, но никогда не говорит. С нашей психологической точки зрения, она слишком нежная, подчиненная, лишенная темперамента — в отличие от Дидоны; это не настоящая женщина, а женщина-объект, созданная мужской фантазией, которая стоит у руля поэмы и руководит мифом, как желает. И обществу, и психологии отдельного мужчины нужна женщина, от которой не надо ждать никаких неожиданностей.

Рун, царь рутулов, хотел бы жениться на Лавинии и объединить два царства. Но пророчество гласит, что она должна ждать иноземца. Царь Латин - благосклонный персонаж, и по тому, как он принимает Энея, читатель сразу же понимает, что он готов принять его как зятя. Старый отец, мудрый и благосклонный, отец более юный и воинственный, но благочестивый, царевна, которая молчит и слушается, - вот предпосылки для начала римского патриархата.

Но время еще не пришло, сначала надо разобраться с ужасными матерями. Юнона посылает на землю фурию Алетто: в облике змеи она проникает в сердце царицы Аматы, матери Лавинии, и воспламеняет его ненавистью к Энею. Амата умеет рассчитывать: она отвергает Энея, чужого в стране, и хочет Турна, владельца солидного царства. Потом фурия летит к Турну и воспламеняет и его. «Энеида» пользуется случаем, чтобы сообщить нам, что отец и мать — враги, даже в рамках одной семьи. Благо на стороне отца, зло на стороне матери.

Короче говоря, следует смертная борьба между италийскими союзниками и троянцами. Последних меньше, Турн осаждает их. Ситуация кажется отчаянной, потому что, пока троянцы окопались в поле, рутулы пользуются этим, чтобы зажечь их корабли, стоящие на якоре в реке. Но эти корабли сделаны из стволов деревьев с горы Ида, они священны для Кибелы. Древняя Богиня Мать не принимает их уничтожения и превращает корабли в нимф, которые свободно уплывают. Таким образом, когда есть необходимость, троянцы могут рассчитывать на помощь богини, из леса которой они строили корабли, — она всегда добра и готова услужить Энею — и женщин, скрытых в природе, нимф, которые растили его, когда он был ребенком.

Эней тем временем сумел заключить союз с Эвандром, царем греческой колонии, который посылает ему подкрепление, возглавляемое его сыном Паллантом. Но свирепая война с неясным исходом продолжается: Паллант убит Турном. Здесь снова прорывается меланхолический и склонный к чувству долга характер Энея, который чувствует себя виноватым в этой смерти, как было и в случае Дидоны.

Среди союзников Турна самые опасные — воительницы, мифические амазонки (по-гречески их называли *antianeirai,* что может быть переведено как «равные мужчинам», так и «враги мужчин»: значимая двусмысленность, потому что два этих понятия вместе взятые передают страх перед независимой женщиной). Во главе их стоит непобедимая Камилла.

Но и Камилла может впасть в банальную слабость, и это будет стоить ей жизни. Она погибнет не от руки героя, а от руки обычного воина. Для мужской психологии «Энеиды» эта слабость соответствует изъяну личности воина, женскому тщеславию. Камилла преследует троянца, с позолоченным орудием и доспехами, она хочет захватить их как трофей: она не обращает внимания на собственный тыл, не прикрывается сбоку, не замечает копья, пока то не пробивает ей грудь.

Показательный эпизод. Для менталитета «Энеиды» как слишком сильная женщина, так и, символически, слишком много женственности в психике мужчины влечет за собой серьезную опасность. И то, и другое, опасность

внешняя и внутренняя, могут быть устранены посредством доверия к высшему разуму и способности патриархального разума к замыслам. Женственность теряет целостное видение и видение цели, это бабочка, которая летит к самому близкому цветку.

В финале поэмы армии троянцев и рутулов останавливаются. Все решит личная дуэль между Энеем и Турном. Борьба идет с переменным успехом, потому что Юнона и сестра Турна коварно вмешиваются в нее. Наконец принц рутулов лежит на земле, и меч Энея занесен над ним. Турн просит о пощаде: «Подумай о страданиях моего отца, который мог бы быть твоим». Мы уже из «Илиады» знаем, что воспоминание об отцах способно вызвать сострадание, на которое нельзя ответить «нет». Благочестивый Эней, уважая эту просьбу, останавливает клинок. Он смотрит на побежденного и начинает сочувствовать ему. Но вдруг он видит пояс покойного Палланта, который Турн носил как трофей. Его мысль от отца Турна обращается к отцу Палланта. И в мысли его возвращается гнев. Он поднимает меч. Без компромиссов отсекает добро от зла. Он был готов пощадить Турна в память об отце; он убивает его в память о другом отце.

«Энеида» заканчивается, решительно вступая, со своей солнечной отцовской программой, в мир категорий ясных и четких. Пенаты Трои нашли свой новый дом. С «Энеидой» заканчивается эпическая борьба между противоположными мужскими формами: отеческой и неотеческой. На этот раз постоянство Гектора победило Ахилла. С «Энеидой» также завершается эпос как таковой, потому что заканчивается грандиозная, трагическая и глубокая поливалентность греческого рассказа, оставляя открытой дорогу для институтов справедливых, но абстрактных, краеугольный камень которых — римский закон.

Отделяя добро от зла, завершение «Энеиды» делает то же самое с миром отцов и миром матерей. Все следы женщин, наделенных личностью, подобно Дидоне, или независимостью, как амазонки, убраны по ходу поэмы. Единственная оставшаяся добрая мать — Кибела: податливый инструмент в руках отцов. Это предмет, дерево, используемое по их воле и для их потребностей. Средство транспорта, но не только, — привезенного Энеем с собой с отеческой земли.

Божественный отец Юпитер и царь Латин внесли вклад в выполнение задачи. Божественная мать Юнона выступала против с ожесточением, а фурия Алетто и царица Амата — продолжения ее злобы, приобретающей инфернальные черты.

Такое радикальное противодействие побеждающей отеческой психологии и психологии материнской не может быть долгим. «Энеида» знает об этом и завершает его компромиссом: Юнона будет сотрудничать, чтобы сделать великими потомков Энея. Юпитер в компенсацию разрешит побежденным латинам, которых Юнона защищала, сохранить свое имя и идентичность как народа. Окончательного раскола избежали как на небе, так и на земле.

Здесь объявляется о политике Рима, который будет включать в себя побежденные народы. Речь идет о политической стратагеме. Включенная в несколько десятков стихов в конце длинной поэмы, она может показаться

искусственной. Но это не значит, что ей нельзя верить: отчасти все это реализуется. Однако она обладает характером абстрактного намерения. Она не описывает ничего глубинного и останется поверхностной, как и все компромиссы.

Часть этого включения будет пользоваться успехом и станет одной из лучших черт Рима: побежденные народы не будут радикально истреблены, но будут ассимилироваться постепенно. Другая же часть, которая более непосредственно касается нас, не состоится. Великая Богиня Мать продолжит пребывать под гнетом победоносного Юпитера и на протяжении следующих веков — монотеистического Бога Отца, который займет его место. Богини женского пола, которым поклонялись языческие римляне, превратятся в аспекты изначальной Великой Матери. Она сохранится в сознании народа, но всегда будет присутствием зла, ассоциирующимся с суеверными страхами возвращения назад в истории.

Западный мир всегда старался не трогать эту глубинную часть своей мифологии. В патриархальном сознании, которое скрепляет воедино культуру, женское в целом и материнское в частности будут продолжать представляться со все более растущим упрощением, как мы наблюдали в «Энеиде». Сияющая мать, которая владеет светом. Демоническая мать, которая владеет тенями. По ту сторону любых соображений, религиозных и поэтических, фигура Марии и ангельская женщина *«Dolce Stil Nuovo»* — часть этой попытки упростить женственность. Это становится неизбежно, когда живешь в страхе перед другой стороной женского, инфернальной. На протяжении всего Средневековья ведьм сжигали на кострах. Века спустя архетип женского зла — Царица ночи — будет доминировать в «Волшебной флейте» Моцарта.

ЧАСТЬ III
Современность и декаданс

Глава 13
От римского отца к сыну, к французской революции

> А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын.
>
> *Павел, Послание к Галатам, 4, 6-7*

> Отец — это тот, кто сексуально овладевает матерью (и детьми как собственностью). Факт порождения отцом на самом деле не имеет никакого психологического значения для ребенка.
>
> *Фрейд — Юнгу (14.05.1912)*

Рим в века своего наибольшего подъема, которые готовили будущее Европы, впитал в себя греческую культуру настолько, насколько это было возможно. Так, римский отец — это также продолжение греческого. Мифический горизонт римлян — греческий. «Энеида» это подтвердила. Рим пишет продолжение мифов эллинистического происхождения, как христианство добавляет Новый Завет к священной книге иудаизма. Рим продолжает греческие традиции в более обширном и сложном обществе, где присутствовал систематический юридический порядок, которого никогда не видывала античность и который в некоторых аспектах вновь возник только в недавние времена.

Обобщения о римском мире делать рискованно, потому что он продолжался тысячи лет и простирался на три континента. Однако можно сказать, что римский отец — прочная колонна как общественного, так и частного порядка, в отличие от греческого, который в основном отсутствовал в семье. Отец в Риме владеет жизнью и смертью своих детей не только в плане их независимости, но всего их существования: только со смертью отца исчезает эта чрезвычайная власть. Римский мир представляет апогей власти отцов над детьми, хоть и не обязательно над женщиной.

Сила и сложность Рима отражаются и на отеческой фигуре. Быть отцом — это факт, четко определенный общественно и юридически. Отцами становятся не биологическим путем, а посредством формального акта. Отцовство в самом деле заключается не в том, чтобы зачать ребенка с женщиной, а в изъявлении желания быть отцом: отец поднимает сына на руки публично (если это дочь, то отец просто приказывал, чтобы ее кормили), показывая, что принимает за него ответственность. В отличие от греческого отца, он будет учить сына. В этом смысле в Риме «настоящее» отцовство — это усыновление, в то время как собственно физическое отцовство не играет никакой роли.

Этот отец, который поднимает сына к небесам, продолжает жест, найденный Гектором. Он имеет намного большее значение, чем просто юридический, и не только для античных времен. Он выходит за грани времен и институтов.

Только перед лицом путаницы обычаев, умножения числа разводов и непризнанных детей, начиная со II века по Р. Х., Рим ввел закон об обязанности

кормить своих детей. Новость эта, впрочем, не касается отцовства, только минимума общественной ответственности. Она двусторонняя и связывает права с обязанностями. Соответственно, и дети становятся обязаны кормить родителей; постепенно, расширяя круг обязанностей и гарантий, этот долг начинает распространяться на все более обширное количество родственников.

Так рядом с фигурой *pater* появляется фигура *nutritor,* хотя функции последнего оставались скорее техническими. В то время, как отцу соответствует самый авторитетный из архетипов коллективного воображения, новая фигура абстрактна, психологически не очень важна: властям часто приходится насаждать обязанности, с нею связанные. Родитель, которого связывает с ребенком только обязанность кормить его, — это, таким образом, не нечто недавнее: в Риме, как и сегодня, это частично искупало слабость семьи. Мужчина больше не может вообще не интересоваться своим ребенком. Никто, однако, не заставляет его объявлять себя *pater*. А отцовство, в отличие от родительства, оставалось важнейшей функций. Чтобы быть отцом, недостаточно *быть* родителем, признавать естественное событие. Надо совершить акт, активно проявить желание *стать* отцом этого ребенка: как у нас усыновление — это волевой акт.

Согласно римскому закону, то, что дает начало каждому отдельному отцовству, соответствует именно тому, что в нашей реконструкции было началом человеческого отцовства в предыстории: акт воли, простой, но не физический, а показывающий намерение мужчины не только зачать ребенка, но и установить с ним стабильную связь. Для нас важно, что этот закон римского права был не абстрактным и произвольным, а повторял рождение доисторической семьи. Распространенностью и длительностью этого закона мы обязаны не только политической и военной власти Рима, но прежде всего этой способности воспроизвести древнейшие мотивы, которые привели нас от животной жизни к моногамной семье.

Мы наблюдаем, что в Риме прогрессивное создание обязанностей отца сопровождалось мощнейшим распространением его прав[2] и предполагало безграничную привязанность: вплоть до сознания единой, высочайшей фигуры отца, прочной, как никогда в истории. Нам объяснил это Катулл, самый великий лирик римской эпохи. Для того, чтобы описать возлюбленной силу своей страсти к ней, он говорит, что «любит ее не как любят возлюбленных, но как отец любит каждого из детей». Но эта отеческая любовь оставалась делом свободного выбора. С нашей точки зрения, в этом есть нечто абсурдное. В самом деле, кровная связь между отцом и ребенком считалась самой прочной из всех человеческих связей, единственной неоспоримой, так как могло оспаривать его это право? Но с точки зрения римлян, кровная связь была лишь следствием неоспоримой власти отца.

Если принять во внимание, что юридическая римская система распространилась на современность и проникла в нее, как никакая другая среди античных, мы можем подумать, что эта возможность выбора на протяжении тысячелетий осталась связанной с качеством отца в нашем коллективном бессознательном. И у этого были свои последствия.

Suscipere; поднимать. Этот глагол был таким важным, потому что жест поднятия ребенка на руки на мгновение означал его общественное и моральное возвышение на всю жизнь. Это был выбор отца: дар общественной и моральной жизни сыну, очень отличный от первого дара, физической жизни, который ему сделала мать. Первый дар получали все дети. Второй — не все. В основе этого лежала интуиция.

За рамками отцовства оставался любой ребенок, которого отец, по своему вольному выбору, не хотел принимать. Исключение ни в чем не повинного существа неприемлемо для нашего общества, которое признает за всяким право на рождение, но оно соответствовало логике, в которой многие ни в чем невиноватые люди рождались рабами. Рождение не давало прав: их передавал тот, у кого они уже были. Отцовство было правом отца, а не правом сына. Когда эта цена, приемлемая для античного общества, была уплачена, отношения между отцом и «поднятым» сыном приобретали характер обряда посвящения: психологическое качество, которое в последующие века в отцовстве было потеряно. В этом отношении современный образец отцовства, хотя и удалил несправедливые привилегии, стал уже. Культурная роль родителей становится относительной. Для определения точки отсчета мы возвращаемся к физиологии, как если бы были животными. Отец — тот, кто участвует в начале жизни ребенка, с зачатием. Он - фигура с ограниченными правами, поскольку потом задача передается матери. Для культуры же, как в жизни отдельного ребенка, так и в истории формирования человеческой семьи, отец вступает после матери, и только с этого более позднего момента две роли дополняют друг друга.

Мы знаем, что люди отличаются от животных потому, что после физического рождения, в каждом обществе они приобретают психологическую идентичность посредством религиозных или светских обрядов инициации. Природа готовит для женщины ряд этапов, когда инициация переживается телесно: после зачатия, беременности, родов, вскармливания посредством естественных переживаний происходит превращение женщины в мать. Мужчина же должен изобретать большое количество обрядов, не предусмотренных природой, чтобы подняться по ступеням роста своей жизни, которая с точки зрения природы не предлагала таких возможностей.

Чтобы стать отцом в Риме юридический акт сопровождался торжественным обрядом: когда ребенка посвящали в состояние сына или дочери, не гарантированное ему от рождения, мужчина также проходил инициацию на роль отца, что являлось вершиной его частной жизни, и было также осью общества. За тысячи лет до того, как об этом писала Маргарет Мид, люди уже знали, что отцовству учатся индивидуально и культурно.

Века спустя, в намерении защитить детей и законную семью, сначала Юстиниан, а потом каноническое право вмешались, чтобы предотвратить рождение детей вне брака и сделали автоматическим тот факт, что у детей,

рожденных в браке, был отец - муж матери. Так были достигнуты большие гарантии для семьи, как экономические, так и предотвращающие сексуальные излишества. Но в них затерялся обряд, который помогал расти мужчинам и был *via regia* их отцовства.

Церковь подтверждала торжественность брака *matrimonio* — слово, которое указывает на права матери в римском законодательстве), закрепляла духовное рождение крещением и так далее; превращение же в отца было убрано из обряда (слово, соответствующее правам отца, *patrimonio,* касается теперь только управления экономическими ресурсами). Церковная власть объявила, что мужчина автоматически становится отцом всех детей, рожденных в браке, и отодвинула на задний план детей, рожденных вне брака, и усыновление. Даже сегодня «день отца» отмечается в день святого Иосифа. Он — отец, не потому что родил, а потому что «получил» ребенка в браке. В то же время, отмечая день святого Иосифа, мы косвенным образом празднуем «день приемного отца».

Взгляд отца и сына друг на друга, уже очень важный в Греции, с обрядом становился уникальным событием, необратимым моментом определения ролей: ты, сын, уникален для меня; я, отец, избрал тебя. «Поднятие» сына на руки — это также выбор. После этого выбора ребенок остается «уникальным», даже если потом у отца будут другие дети. И, в свою очередь, отец делает уникальным самого себя.

Осознанность этого жеста утеряна, но даже в нынешние времена, на самых разных коллективных изображениях, всегда именно отец, а не мать, поднимает сына к небу на руках, как мы сможем убедиться, говоря про современность.

Что сделало уникальным еврейский народ, как не то, что их выбрал и возвысил Бог Отец? И почему покорение Израиля Римом оказалось таким неуспешным? Почему римляне не смогли ассимилировать евреев, как другие покоренные народы? Наверное, разница была в том, что римляне утверждали божественные права императора, духовного отца всех, в то время как евреи были избраны Отцом, а этот выбор, делающийся раз и навсегда, исключал другие возможности?

В Палестине, в то время маленькой области на периферии империи, Иисус из Назарета начал сотрясать монолит, который представляла собой власть отца.

Да, он поддерживал послушание императору и веру в единого Бога. Но первое сводилось к соблюдению общественного порядка: он предвосхитил светское государство, глава которого — просто функционер самого высокого ранга. Что же касается отношений с Богом, то Иисус общался с ним напрямую, без посредничества раввинов.

Этот новый учитель говорил *об* отце, потому что общался не с его представителями во плоти, а обращался прямо к небесам и к глубинам нашего сердца (с нашей точки зрения, или, точнее говоря, в нашей метафоре мира). В любом случае, он совершал революционные действия по отношению к земному

отцу: он начал рассматривать его как психологическую проблему. К тому же его земной отец, Иосиф, не был для него достаточным авторитетом.

Без объявления об войны патриархату, настаивая, напротив, на добродетели традиционного послушания, Иисус стал Христом и, следовательно, основал

неудержимую религию, которая подрывала патриархат так, как далекий Рим не мог бы и вообразить. Находящийся рядом народ Израиля, однако, почувствовал это, и по этим причинам отказывался от новой проповеди.

Христианские понятия милосердия и любви к ближнему предвосхищали современное равенство и косвенным образом сопровождающие его в истории анти-патриархальные настроения. Тот же самый идеал неиерархического братства, против которого выступали отцы Израиля, вдохновит в XVIII веке революции, европейские и американскую. Этот же дух заставит бунтовать в XX веке университеты Калифорнии и Парижа. Постоянство уникального Бога заменялось динамизмом поколений. Христос был Богом и сыном Бога в одно и то же время. Это означает, что *отец больше не был эксклюзивным образом Бога на земле, и Бог не был отцом на небесах.* Две реальности, земная и небесная, воплощали новое радикальное равенство, поставив сына — как окончательную ценность, не зависящую от повседневности, — на один уровень с отцом. Христос, который в свою очередь не стал родителем, остановил колесо поколений, движущееся от отца к сыну.

У этого переворота появилось новое священное писание. Перевернув с ног на голову Ветхий Завет, завет отца, Евангелия были написаны партией сына. Соблазн нового учения (который, по словам Павла, вторгся в древний мир с новой верой) касался не только ее общего облика, но и конкретных заявлений. В священном тексте не было ничего радикально нового, что побудило бы обвинить детей в том, что они забыли небесного отца. Радикально новым был сын, который, в момент отчаяния, упрекнул отца в том, что тот его оставил.

На словах Христос-учитель безусловно поддерживает Отца. Но присутствие сына Христа уводит отца со сцены.

Эта антиномия продолжается в римской церкви. С одной стороны, это церковь проотеческая до такой степени, что ее священников называют «отцами», а ее главу «папой»: слово, которое в свою очередь этимологически происходит от *padre.* С другой стороны, речь идет об отцах, которые не имеют права иметь детей, в то время как церковь в целом прославляется как «мать» всех. В культе продолжает прославляться мать Христа, Мария: однажды будет провозглашено, что она была вознесена на небеса.

В первые века христианство терзали ереси. Самой выстраданной была ересь Ария, который утверждал, что Иисус не равен, а подчинен Отцу. С нашей точки зрения, он использовал сопротивление коллективного бессознательного, не желающего ставить образ сына на один уровень с отцом. Император Константин не только распахнул двери христианству, сделав его религией всех своих подданных в Риме; он также помог Сыну в этой проблеме на Никейском соборе, где Арий потерпел поражение. Богословские диспуты не завершились. Но равенство отца и сына было скреплено: хоть на протяжении веков оно будет работать, скрытое в подземельях истории и лабораториях богословов.

В Средние века авторитет церкви достигает своего апогея. Ее моральный кодекс, ее юридические законы и ее общественная система распространяются по всей Европе. Сексуальность и деторождение были помещены, по большей части, в лоно семьи. Этот мир - отеческий, в непривычном и неточном для нас смысле. Его положение вертикальное, восходящее: он обращается к Богу, и при

первой же возможности, удаляется в горы. Горизонтальная мобильность очень сокращена, повседневная жизнь протекает в ограниченных пространствах и в материальной нужде, на которую никто не обращает внимания. Здесь преданно смотрят на иерархии, — аристократ, вассал, король, император, — и мало внимания обращают на отца семейства. Бедные живут большими семьями, почти стадами. Аристократы в свою очередь определяются по признакам современной семьи: кровь, род, происхождение.

Между концом Средневековья и началом Возрождения, через фигуру Марии, римская церковь придает силы Матери. Она держит на руках божественного младенца. В изобразительном искусстве представляют этот образ больше, чем какой бы то ни было. Образ человека — это образ ребенка, которого в свою очередь держит на руках мать.

Возрождение и Реформация — это поворотный момент в истории отца.

Любопытство разума, подвижность, урбанизация, новые виды экономической деятельности, рождение буржуазии создают предпосылки для семьи современного типа, не очень большой и наделенной определенной степенью интимности. Во главе этой сравнительно новой группы с уверенностью стоит отец, хотя его роль трудно определить. Для некоторых исследователей такая семья представляется новшеством и подтверждением возрастающего статуса отца[5]. Для других это существовавшая и раньше, но прежде абстрактная модель семьи, и главой ее может быть только отец, потому что к тому были все предпосылки. Но идея отца продолжает медленно приходить в упадок[6]. Важно помнить, что разные исследователи по-разному формулировали предмет своих исследований. С точки зрения социологии, патриархальная семья укрепляется до XIX и даже XX века[7]; авторитет отца в ней остается прочным вплоть до Французской революции; с психологической точки зрения, образ отца, небесной звезды, которая ведет эти земные институты, достигает наивысшей точки в античности, и с тех пор лишь теряет позиции. Такова наша точка зрения, изложенная на этих страницах.

Как человек подражает Богу *(imitatio Christi),* так сын подражает отцу. Отец епископ семьи. Но, в отличие от римского, *paterfamilias* Западной Европы Средневековья, Возрождения и Реформации остается до самой смерти сыном по отношению к Богу Отцу. Мало-помалу он уступает свое место как новым фигурам в семье, так и безграничной фигуре Бога. Незаметно пьедестал учителя занимают монашеские ордена (в основном бенедиктинцы), потом университеты. Постепенно реализуется программа сына, который говорит об отсутствии отеческой власти и ее перемещении на небеса: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах»[9].

Институт семьи и средний класс находились в авангарде общественной жизни того периода и в сочетании с Реформацией составляли мощную силу, стремящуюся в сторону современного мира. Протестантизм ведет к активной, полной воли и здравой жизни, следовательно, к атмосфере мужской и отеческой. Его служителям было и буквально разрешено быть отцами, что можно противопоставить весьма символичной стерильности католического клира. В обычной семье отец исполнял сильные функции частного отправителя

культа, что всегда присутствовало в иудаизме, но отсутствует в католических ритуалах.

Говорят, что северный мир, в котором созрела и закрепилась Реформация, никогда не был перенасыщен образами, как средиземноморский, что им не удалось в него проникнуть. Однако мы хотим найти образ, символизирующий то, что мы обсуждаем.

В то время как итальянское Возрождение производило бесконечные образы, на которых Мария поддерживает мертвого Христа (например, знаменитую скульптуру Микеданджело), в Германии возникла отеческая *Pieta* (скульптура Тиллмана Рименшнайдера, около 1515, сегодня выставлена в Художественном музее Прусской культуры в Берлине, рис. 2). Здесь Отец обнимает мертвого Сына, повторяя классический жест средиземноморских Мадонн. Есть предположение, что эта скульптура была частью Троицы и что изображение Святого Духа до нас не дошло. Даже если это и так, это ничего не меняет в том, каковы представленные здесь отношения отца и сына. Речь идет о диаде* которая совершенна сама по себе. Даже если бы это была триада, действие в любом случае происходит между Отцом и Христом. Почему все сосредоточено на безграничном плаче отца по сыну, который мертв и не может ничем ответить? За миллионы километров друг от друга и, не зная друг друга, в одну историческую эпоху скульпторы воспевали, с впечатляющей симметрией, две дополняющих друг друга привязанности: отеческую и материнскую любовь. Когда Рименшнайдер высекал свою группу из дерева, Лютер еще не вывесил свои тезисы на двери собора в Виттенберге. Но именно этот момент нас касается. Движение к отцу, которое сопровождало Реформацию, не было ни абстрактной идеей, ни личным изобретением Лютера: оно явно соответствовало чувствам и образам, распространенным в коллективном бессознательном северной Европы. Это психологическое предрасположение, отсутствующее на юге, облегчило закрепление протестантской проповеди.

В целом на своем историческом пути реформатские церкви склонились в сторону отцовского образа. Даже некоторые движения в противоположном направлении — например, допуск женщин к посвящению в сан — были эволюцией скорее в области права, чем символов: эволюцией, являющейся частью менталитета отца, которому всегда принадлежит отправление закона. Сделаем, таким образом, парадоксальное замечание. Если в протестантских странах секуляризация общества стала быстрой и радикальной, отчасти это произошло потому, что, опираясь на авторитет отца, реформатское общество впитало и его медленный, продолжающийся тысячелетиями упадок. Среди коллективных западных символов последних веков отец бы л обречен на глубокое падение в контрасте со стабильностью матери: мы могли это предвидеть, зная, что его образ недавний, искусственный, связанный с культурой. Кроме того, сам отец, как приводящий в действие коллективное сознание, стабильности символов предпочитает «прогресс» разума. Протестантские церкви последовали за упадком образа, на который, в отличие от Католической церкви, почти исключительно полагались.

Европа, И еще больше протестантская Америка, с их активной и либеральной ориентацией, в согласии с мужской этикой, предпочли

модернизацию и разделение государства и церкви. Это сделало публичную жизнь более светской и подорвало метафизические основы именно того отеческого авторитета, с которого начались перемены.

Трентский собор известен всем как еще один ключевой поворот в истории католицизма. Борозда между Реформацией и Трентским собором разделила не только догмы и религиозные нормы. История разделилась надвое: Европа разделилась завесой из ладана, такой густой, что граница сохраняется пять веков спустя, то есть временной период, в десять раз больше того, который понадобился для появления и исчезновения Железного занавеса.

Римская церковь подчеркнула свое внимание к обрядам и символам, противопоставив себя рациональности и внутренней свободе протестантизма. Но даже в триумфе символов и святых весьма подчиненной осталась роль святого Иосифа как приемного отца Христа: в Италии мне удалось найти только одно его важное изображение (рис. 3).

Культ же Марии по количеству изображений превышал культ Бога: было подсчитано, что в разных местностях Италии ей было посвящено девяносто процентов церквей, в то время как Христос и другие святые все вместе удовлетворились десятью. В качественном отношении это поклонение было продолжением культа богинь греко-римского политеизма (Деметра-Церера, а в основном Великая Богиня средиземноморской предыстории): в любом случае, речь шла о женской фигуре, которая имела ценность как мать, а не как супруга; архетипический образ, который утратил официальные формы, не был забыт. Римские земли, которые сделали его своим святым покровителем, больше не считали Энея абсолютным символом: они вновь открыли Креусу, «отставшую», и упорствующий культ Кибелы. В целом Римская империя, крепость отеческого образа, отдалилась от Рима, и через тысячу лет возродилась как Священная Римская империя Германской нации на земле Лютера.

Непрерывно связанная с Реформацией, английская революция прозвучала в Европе, как сигнал тревоги. Она приветствовала богословские диспуты. Она подвергла обсуждению традиционные иерархии. Она пробудила аппетиты и подтвердила права братства сыновей. Она заставила общество выйти из неподвижного состояния и начала открывать конкуренцию: современное соответствие вечной зоологической борьбы между мужчинами. Наконец, она убила своего короля.

Власть суверена в обществе подобна власти отца в семье, и Абсолют стал относительным. Но в этом процессе над внезапной переменой преобладали постепенные шаги, в соответствии с темпераментом Локка, главного мозга операции.

На континент эти беспорядки не распространились. Но они отразились на отношениях между Великобританией и ее американскими колониями. Последние быстро претворили в жизнь прямоту протестантского патриархата, основанную на семье и на власти, близкой к народу, в то время как авторитет слишком далекого короля они ставили под сомнение.

В начале современной эпохи французское общество приготовило радикальное обновление с универсальными притязаниями. В XVIII веке, в Париже, женщины высокого экономического и культурного положения начали

делать светским материнство. Дети проводили годы с кормилицами в деревне, в то время как матери освободились от одностороннего мифа Марии и начали принимать участие в интеллектуальной жизни[10].

Потом Просвещение, исходившее от элиты, проникло в общество. Для идеи отца это было еще одной потерей. Его образование и его трудности в отношениях с сыном стали предметом обсуждения на публичных дебатах". В литературе с Дидро, Руссо, Рестиф де ла Бретонном, с живописи с Грезом появилась тема отеческого проклятия, обращенного к сыну. Подавляемая в течение тысячелетий односторонним, слишком позитивным образом, возникла демоническая фигура деструктивного отца. С проклятием пришел переворот, буквальная *революция образов:* погружение ребенка в ад, а не его поднятие. Коллективный символ предсказал глубокий кризис.

Новое мышление поставило под сомнение авторитет, публичный или частный, который до сих пор не вызывал споров. Под сомнением оказались непреложные истины, определенные моментом рождения или посредством божественной благодати.

Изменение отношений с отцом в эпоху Просвещения происходило на двух уровнях, которые влияли друг на друга. С одной стороны, изменились политические нормы, которые касались отца и семейства, с другой, политическое обновление находилось под влиянием личных чувств: ведь у каждого власть, и прежде всего, король, ассоциируются с образом отца. Эта частная психологическая сторона не поддается статистике, но объединяет революции, в остальном отличающиеся друг от друга. Помимо французской, она была важным фактором и в произошедшей почти одновременно американской революции. Политические теории времени важно видеть через призму частных биографий их активистов.

Для двух основных учителей, которые ввели Францию в революцию, отношения с отцом были очень важны.

Жан-Мари Аруэ Вольтер всеми своими силами боролся со своим отцом, стараясь не иметь с ним ничего общего.

Даже здесь, в поведении отдельной символической личности, спрятан коллективный образ. Всегда преимуществом отца было публичное признание сына: другая возможность, отсутствие признания, также была правом отца. Вольтер искал реальную альтернативу: если признание и непризнание — это выбор, он должен быть и у сына. В таком состоянии духа он взбунтовался против отца. Для лучшего понимания психологического и исторического бунта детей вспомним, что почти за два века до Фрейда (1714), Вольтер выставил на сцену драму Эдипа как свое первое произведение. Его Эдип был проклятым, но героическим и по сути невиновным. Это было его первое творение, и оно обеспечило ему чрезвычайный успех.

Биография Жан-Жака Руссо была совсем другой, хотя тоже вращалась вокруг отца.

Его мать умерла в родах. Отец, часовщик, любил своего сына и привил ему любовь к чтению. Может быть, эти два факта были настолько великими, что Жан-Жак не сумел объединить их внутри себя. Он выбрал книги и отверг любовь к детям. Их у него было пять и, одного за другим, с ужасающей

размеренностью, он отдал каждого ребенка на воспитание чудовищным институтам для подкидышей того времени. Руссо был одержим идеей реформы системы образования, и это может парадоксально объяснить его неспособность заниматься своими детьми. Может быть, его отеческие качества были настолько целиком отданы этой задаче, что ничего не оставалось для детей из плоти и крови. Может быть, в детстве его отец был таким хорошим, что он чувствовал себя неспособным быть таким же в свою очередь: а занятия образованием были наилучшим и наиболее естественным способом использовать свой интеллект.

Вольтер сражался с внешним отцом и прогнал его. Руссо сражался с отцом внутри себя. На фоне этих противоположных судеб мы видим одну и ту же эпоху, в течении которой настало время противостоять отеческой власти.

Когда появился «Эмиль» (1762), трактат Руссо об образовании, в одно мгновение рухнула веками выстраиваемая на прочном греческом фундаменте римская структура отеческой власти. Греческий отец был силен в обществе, в мифе, в литературе, но почти отсутствовал в обучении сына, которого поручал воспитателям. Римский отец был силен и в семье и сам занимался обучением детей. Руссо вдруг обратился к Греции: это мальчик Эмиль получает образование от чужого человека, что должно стать новой парадигмой. В последующие поколения создание школьной системы осуществит на практике эту интуитивную догадку, навсегда оторвав детей от всей полноты семейной власти. Абсолютизм отца в семье и короля в государстве завершились одновременно.

Французская революция была радикальна, она наводнила всю Европу. Головы падали не только с тел жертв, но и символически: гильотина нарушила вертикальность мужчины. Психология сосредоточилась на лезвии, которое, вместе с привилегиями короля, отсекло Анхиза от плеч Энея.

Машина, уменьшающая рост, подрубила ствол абсолютного властителя. Ее могущество проявилось в том, что она подрубила также фигуру божественную и отеческую. С исчезновением короля никто не обращался больше ни к Богу, ни к отцу. С одной стороны, церкви теряли власть, и распространилось мирское мировоззрение. С другой стороны то, что отец уступил монарху, теперь принадлежало государству, которое начало отнимать у семьи даже образование детей. Вместо того, чтобы быть вертикально подчиненным отцу, ребенок вступал в горизонтальные отношения с товарищами по учебе, и все чаще молодые люди оказывались вместе со сверстниками привлечены на военную службу. Брак стал частным и светским контрактом. Опять детей можно было усыновлять или растить вне брака. Для большего удобства был введен развод: ведь такова природа контрактов, что их можно изменять и расторгать. Отец остался главой семьи, но, как минимум в теории, мать приобрела горизонтальную подвижность, поскольку могла вступить в повторный брак. Здесь тоже Англия была инициатором: Франция открыла дорогу развода, но идея расторжения контракта находилась под влиянием мысли Локка.

Свобода, равенство, братство. Новая ось мира горизонтальна. Эти слова прекрасно передают идеал и военный ураган, который прокатился по Европе.

Лучезарный проект братства сыновей — создать мир, более ни перед кем не склоняющийся, где то, что несправедливо, можно изменить, где

справедливость — не просто метафизика. Дети не ждут, когда их поднимет отец: они хотят сами себя поднять.

С материальной точки зрения, мы должны быть благодарны этим изменениям за то, что они привели нас к современному обществу и правосудию, каким мы его знаем сейчас: хорошее ли оно, или плохое, его теперь больше, чем было до революции. С психологической точки зрения, мы обязаны этому открытием внутренних свобод и даже распространению большей общественной подвижности, потому ли, что справедливость никогда не бывает однозначной, потому ли, что первенство отца было прочным и менее текучим, чем равенство детей-братьев. Мрачной стороной медали, на которой сияли новые идеи, была буря, последовавшая за отправкой на гильотину не прежнего режима, принципа отца. Стабильность государству могли придать и другие, не только король. Но кто мог вернуть стабильность семье? Отец, обладающий властью всегда был архетипическим образом. Дети такими не были.

Это внутреннее отчаяние, рожденное во Франции, но быстро ставлю международным, можно наблюдать в Лувре в Париже, в Салоне 1806 года (рис. 4)

На картине Анн-Луи Жироде де Русси представлена семья, поддерживаема; отцом в отчаянном положении. Старик, отец отца, висит у него на плечах: не как Анхиз, который дал жизнь и которому она теперь возвращается, а как балласт, тянущий в пропасть к смерти. Женщина, которой, во имя новогс равенства, мужчина подал руку, чтобы ее не постигла судьба Креусы, кажется настолько замкнутой в своем собственном страдании, что, несмотря на мускулистое тело, представляет собой только обузу (может быть, как Креуса в древних версиях истории, она и собирается быть препятствием?) Дети не имеют непосредственного контакта с отцом, они образуют цепочку вокруг тела матери. Не понимая, что они доверяют свою хрупкость той, которая в свою очередь тоже нестабильна, они как будто подражают ей, отдаются ей в том числе и психологически. Трудно представить более негативный образ матери, чем этот. Это тело, которое отказывается спасаться, заключенное в пассивное противодействие, сосредоточенное только на себе, истерическое. Отец напрягает мускулы, но его глаза полны ужаса: ветка, за которую он держится, и камень, на который он опирается, долго не простоят. Внизу - обрыв и адские волны. Картина называется «Сцена потопа» (1806), но не имеет особого значения, думал ли автор об уничтожении человечества, описанном в Библии, или о судьбе отца в обществе, потому что мы знаем: бессознательные намерения намного сильнее, чем осознанные.

Глава 14
От французской революции до промышленной революции

Началась промышленная революция, и наступил самый темный час для отца.

Европейское общество было в основе крестьянским и аристократическим в верхах, с незначительной прослойкой среднего класса. Несмотря на ограничения, введенные государством и школой, во всех классах общества отец продолжал быть образцом для детей и главой семьи. Чтобы быть образцом, он должен был быть на глазах у детей. И, чтобы оставаться у них на глазах, он должен был работать недалеко от них.

Во многих странах крестьяне составляли более девяноста процентов населения. Остальные были ремесленниками, представителями вольных профессий, мелкими торговцами. И почти всегда отец действительно работал на глазах у детей. Развлечений было мало, отношения с ровесниками были ограничены в плане количества и качества. В селе работа была очень тяжелой в сезон, но вне сезона у всех членов семьи было много свободного времени. Большую часть свободного времени дети проводили в семье, слушали родителей или бабушек и дедушек, которые, при очень небольшом количестве книг и преобладавшей неграмотности, хранили память семьи и мира в устных рассказах. Это тихая, трудолюбивая жизнь сохраняла власть отца лучше, чем любые законы. Молодые люди обычно тщательно ищут не абстрактные символы, а воплощенные в других людях. Без какого бы то ни было обучения, мы выбираем для себя пример для подражания и стараемся поступать также, начиная с того дня, когда мы в детстве начали подражать взрослому или старшему брату.

В условиях доиндустриального общества, то есть менее двух столетий назад в наиболее модернизированных странах, и вплоть до нескольких десятилетий назад — в большей части остальных, молодые поколения продолжали сохранять подражание старшим, с детства до взрослого возраста, что было источником одновременно идентичности и обучения. Этого не давала школа и даже сейчас может дать только с трудом (подумайте о той естественности, с которой в семье обучаются родному языку, и той трудности, с которой в школе учатся языку иностранному).

Для мужчин в этом процессе был разрыв, но речь шла о затруднении предвиденном и скомпенсированным всеми традиционным обществами, обычно без особых неудобств: после того, как долгое время дети были привязаны к матери, они начинали подражать отцу, глазами, руками и ногами, и, в какой-то степени, мыслями. Это способствовало их отождествлению с мужским полом. В то же время они постепенно росли и учились ремеслу: ремеслу отца, как велели правила времени. Сила, навык, профессиональные способности или их отсутствие — все это происходило от отца. Образ отца выполнял эту функцию и не ставился под вопрос, разве что в исключительном случае. Юноша почти не встречал других взрослых, которые могли бы стать для него альтернативной моделью: даже в форме изображений или рассказов, как происходит сегодня, когда существуют средства массовой информации.

Крестьянская экономика была бедной. Дела были чуть лучше у тех, у кого была земля, и хуже у тех, у кого ее не было, но по большей части все семьи обеспечивали себя всем необходимым. Сын крестьянина становился крестьянином: потому что он уже умел делать эту работу; потому что она давала ему хоть и скудную, но все же экономическую уверенность и, возможно, более прочную психологическую основу; потому что у него не было выбора. Он просто *не представлял себе,* что можно заниматься чем-то другим. Чтобы совершать важные перемены в стиле жизни — вступить в брак, стать священником, заняться другим делом, — надо прежде всего укрепить себя умственной гимнастикой: иметь и развить образ самого себя в желаемой новой ситуации. Для этого нам дана фантазия. У молодых людей образ себя как крестьянина происходил из наблюдений за отцом, за дедом: это была патрилокальная, патрилинейная, патриархальная жизнь, патрицентрический рассказ.

Промышленная революция сокрушила эту стабильность, Она изменила отношения в обществе. Со временем новые произведенные богатства позволят исправить многие новые виды экономической несправедливости, даже поднять уровень благосостояния до высот, ранее невообразимых. Но новшество коснется и отношений в семье: они вступят в то состояние нестабильности, которое продолжается до сих пор.

Революция началась снизу, с самых нищих слоев населения. Отец бросился в неведомое: он не представлял себе своих новых занятий, не мог вообразить себя рабочим..

Обнищание села, общий рост населения, новые возможности направляют все большие массы работников на фабрики. По причинам, которые относятся к истории экономики, процесс продолжался без перерыва и распространялся на новые страны и классы, которые раньше не затрагивал. К селу возврата не было, урбанизация захватила всех и, так как свободного места в городе было мало, материальные условия жизни были тяжелыми. Об этих изменениях много написано.

В начале, особенно в Великобритании, например, в текстильной промышленности, мануфактуры предпочитали женский и детский труд, потому что он дешевле обходился, хотя условия труда были невыносимы.

Новая реальность поставила под угрозу целостность семьи, которую отец *Ж* потому что и в этом убеждении состояла его идентичность — считал незыблемой: Жену и детей забрали из-под его власти и передали внешней иерархии, без личных отношений, которая унаследовала от отца только суровость. Впервые могло оказаться, что заработок других членов семьи был выше, чем заработок отца. Одним махом он потерял власть и достоинство.

Потом, по мере распространения промышленности, работа на фабрике стала обычным делом, и появились первые нормы заботы о трудящихся, которые привели к тому, что работали на фабриках преимущественно взрослые мужчины, и это продолжается до настоящего времени. В Соединенных Штатах, которые отнимают у Европы первенство в плане индустриализации, в XIX веке и части XX процент работающих женщин минимален (9,7 процента в 1870 г.).

Заработки вернулись в руки отца. Но погоня за заработком уводила его все дальше от семьи.

Возникло явление, которое непосредственно нас интересует и которое получило название «невидимость отца».

С того дня, когда крестьянин отложил мотыгу и перешел работать на фабрику, он внезапно и радикальным образом оказался вдали от глаз своей семьи. То же самое постепенно случилось с ремесленниками, кузнецами и плотниками. Их продукция вытесняется с рынка за счет более дешевых изделий, сделанных на станках. Для этих отцов началось изгнание из мастерских, где они обрабатывали дерево и железо, и они начали обслуживать станки, принадлежавшие другому владельцу. Часто они теряли все трудовые навыки, потому что вынуждены были выполнять ограниченные и повторяющиеся задания. Они теряли и инициативу, потому что не сталкивались с неожиданными ситуациями и не несли никакой ответственности, кроме повторения определенного жеста. Почти всегда они теряли возможность гордиться своей профессией, потому что переставали быть профессионалами, ведь продукт их труда не принадлежал им и они вообще его не видели. Всегда, даже если они сохраняли что-то из вышеперечисленного, они теряли власть над детьми и надежное место в их воображении и сердце: потому что их занятие, их день, сами их чувства оказались далеко и были неизвестны сыну. Они зарабатывали деньги, но больше не обучали детей непосредственно и не вводили их во взрослую жизнь: бесценные функции, которые нельзя заменить вмешательством профессионалов и институтов, как школьный учитель не может заменить вклада семьи в изучение родного языка.

Конечно, эта архаическая отцовская роль была идеализирована. Большая часть отцов были грубыми, резкими, их чувства не участвовали в инициации и обучении детей. Но нет сомнений и в том, что это было необратимой потерей в коллективной психологии, независимо от качеств отдельных личностей. Существует мир мифов и образов, который вносит вклад в равновесие общества и семьи не менее, чем отдельный опыт. Фигура отца была символом, то есть чем-то большим, чем совокупность отдельных отцов. Этот общий образ нарушился и даже начал смешиваться с инфернальными символами.

Сын промышленной эпохи не видел и не знал больше деятельности отца. Он не представлял его как взрослого главу семьи, поддерживающего родных своей работой, как Эней поддерживал своих телесно. Вдруг оказалось, что окружающий мир лишился и естественного порядка вещей и иконографии. Никто не давал ребенку красок для умственного изображения взрослого мужчины, стоявших перед ним задач и его навыков, силы и талантов, качеств, которыми всегда обладали герои.

С промышленной революцией отец мог весь день проводить на фабрике, а ночь — в общежитии для мужчин, что позволяло ему находиться недалеко от места работы. Для сына он стал незнакомцем. Со временем, ценой материальных и психологических жертв, семье иногда удавалось восстановиться. Но конец сепарации, скорее всего, оказывался и концом иллюзий. Единство восстанавливалось географически, а не психически[19].

Войдя в городскую среду, психология крестьянской семьи навсегда перестала существовать.

Подвижность, непрочность, отсутствие заданных единожды надежных, исходивших от природы ритмов жизни, глубоко пугали и детей, и их родителей. В коллективном воображении, без всякого реального обоснования, относительная стабильность отца и сельской жизни ассоциировались друг с другом, потому что были потеряны вместе и вызывали одинаковую ностальгию.

В промышленном мире, до того, как возникло относительное благополучие, жизнь семьи была не только менее уравновешена, чем в деревне. Впервые возникли сравнения, которые позволяли осознавать свое незавидное, ухудшившееся положение. Ребенок, в зависимости от его возраста, бегал по грязным переулкам или, в свою очередь, работал на фабрике. В любом случае он впервые столкнулся с другими деградировавшими детьми, которым он или подражал, или соревновался с ними, порой становясь грубияном и хулиганом. В городе ему на глаза попадались и другие взрослые. Он встречал безграничное способствуют возникновению великой метафоры исчезновения отца.

В то время как эти аспекты пересекались и питали друг друга, отделяя общественные группы друг от друга, чтобы потом стать точкой отсчета нового порядка, появилось новшество, которое сделало отсутствие отца еще более заметным, более очевидным и всеобщим: мировые войны в двух актах, с перерывом в одно поколение между ними, позволили одним и тем же мужчинам быть как сыновьями, покинутыми отцом, так и отцами, потерявшими сыновей.

Глава 15
Война и разочарование

> ...Ac nunc horrentia Martis arma cano...
> (...А теперь воспою ужасное оружие Марса...)
> *Энеида I, D-1*
> ...юные жизни, которые были сражены громадной империей, где правит только смерть...
> *(из письма к родственникам Д. Дж., осужденного Военным трибуналом XXIV корпуса армии за порочащее письмо, август 1917)*

Как сын Улисса, мой отец едва родился, когда дед отправился на Мировую войну. Италия открыла охоту на человека немного позже, чем другие страны, но потом, в неразберихе, царившей после войны, возвращение домой было долгим. Миллионы детей надолго остались без отцов. Потом началась смертельная болезнь, вошедшая в историю как «испанка»: и дед, который служил в санитарных войсках, остался в армии и после заключения мира.

Когда, наконец, дед вернулся, моему отцу было больше четырех лет и он вырос среди женщин: мать, старшие сестры, две служанки, учительница. Его деды уже умерли, два дяди были живы, но тоже были в армии: один из них носил форму уже много лет, потому что прежде, чем воевать с австрийцами, Италия сражалась с Турцией за земли в Северной Африке.

Очевидно, мой отец знал, что существуют взрослые мужчины; но они проходили мимо по улице, по ту сторону забора. Женский мир, безопасная буржуазная семья, защищали и оберегали его, даже компенсировали неуверенность, которая касалась возвращения отца. Отсутствие главы семьи, как подразумевалось, касалось прежде всего его.

Как бы то ни было, когда мой дед вернулся, среди женщин дома наступил переполох. Мой отец скоро заскучал от праздников, устраиваемых в честь этого незнакомца. Только за ужином он немного оживился, отчасти потому, что стол был полон разных вкусностей, отчасти потому, что он надеялся вновь оказаться в центре внимания и, может быть, завоевать признание нового собеседника.

К середине вечера мальчик из оживленного превратился в бурного, и мой дед, бывший человеком XIX века и еще носивший форму, выставил его из столовой на кухню. Ребенок протестовал, он не привык к наказаниям.

На кухне, зарыдав, он спросил: «Да кто он такой?» И женщины из прислуги, делая ему знак замолчать, ответили: «Разве ты не знаешь? Это Господин!».

Этот анекдот рассказала мне моя бабушка, а не дед или отец, которые не – понимали современность и декаданс

В истории войн мобилизация подданных всегда преобладала над; использованием наемников; и, так как история войн почти непрерывно сопровождает собственно историю, всегда было нормальным, что молодые отцы уходили от детей на войну и часто не возвращались.

Но две мировые войны отмечают новый этап в этой старой истории. Мы не станем вдаваться в исторический экскурс, но подумаем о войне в Европе и в частности в Италии, как о непосредственном продолжении той нити, которая из Греции привела нас в Рим. Сегодня итальянское общество следует общему пути западного мира, и особенно Соединенных Штатов, с некоторой задержкой; но в начале XX века оно породило некоторые феномены, которые потом оставили след в истории всего Западного мира. Сначала была война и мобилизация всего населения, потом - то, как возвращались и жили ветераны, и, наконец, коллективная психическая регрессия, называемая диктатурой, отравившая историю XX столетия.

В прежние времена только наполеоновские войны в Европе и война за независимость в Северной Америке были подобны мировым войнам по своему масштабу и количеству вовлеченных в них людей. А теперь эта тотальная вовлеченность соединилась с новым психологическим опытом.

В момент вступления в войну в разных странах люди испытывали сильное чувство национальной принадлежности. Летом 1914 г. возник феномен, который называли «августовское единение»[2] . Люди наводнили улицы и были объединены духом братства. Не будем забывать эти слова. Люди были вдохновлены не каким-то сильным лидером, а принадлежностью к братству.

Возникло новое представление о войне. Накануне первого мирового конфликта уровень организации, достигнутый активностью политических партий и распространением газет, вовлек большую часть населения в беспрецедентные дебаты. Население Италии отчаянно обсуждало, вступать ли в войну, и мнение, похоже, разделилось почти на две равные половины. На

стороне конфликта выступили не только военные и националистические группировки, но и многие интеллектуалы. «Война, единственная гигиена мира», - проповедовал «Манифест футуризма», опубликованный в Париже в 1909 г. Это движение, основанное Филиппо Томмазо Маринетти, предлагало новые принципы для человеческой жизни, основанные на активности и эстетике и его оптимистичное послание нашло сторонников не только в Италии. Это движение способствовало активизации образов, которые дремали в коллективном бессознательном.

В прошлом большая часть войн воспринималась большинством населения как природная катастрофа: если это возможно, надо укрыться; если нет, надо подождать, пока буря пройдет, а потом восстановить причиненный ущерб. В любом случае не стоит тратить время на обсуждение, справедлива ли война, потому что это не меняет ее деструктивной природы.

Сейчас, так как война была народная, народ впервые высказывал мнения о ней. В Италии та часть публичного мнения, которая была за открытие военных действий, взяла верх, когда первая мировая война продолжалась уже год. Война начиналась, и, как это случается в начале, казалось, что воинственный порыв охватил всех.

Но конфликт оказывался более долгим и разрушительным, чем кто-либо предполагал. В 1916 г. на франко-немецком фронте начали поговаривать, что сражения будут продолжаться вечно. Война длилась годы. Глава Римской церкви, которую в прошлом критиковали за то, что она не поддержала ни одну, ни другую сторону в борьбе и не высказала своего мнения, определил конфликт как «бесполезную бойню». В Италии, у себя дома, люди проклинали войну. На фронте тоже трудно было сдерживать недовольство. Военные трибуналы строго контролировали речи и письма солдат домой. Росло количество отказов идти в атаку. Несогласных немедленно приговаривали к смерти, приговор исполняли карабинеры. Перед лицом анонимной смерти отношения между солдатом и его командиром рушились. Эти отношения не могли быть восстановлены, и это стало символом нового времени. Хотя расстрелы и поддерживали видимую дисциплину на фронте, идея героизма уже не могла вернуться в прежнем виде. Война началась во имя национальной солидарности, но для ее продолжения необходимо было, чтобы одни итальянские военные убивали других.

Следующий шаг неповиновения — дезертирство, которое из отдельных случаев превратившись в массовое, обрушилось, как лавина: 28 000 случаев в 1916 г., 55 000 в 1917. Внутреннее ощущение правоты у солдат не совпадало с внешней властью офицеров. Упадок авторитета отца в гражданской жизни нашел отражение в жизни военной.

Из античных глубин души прорывается поведение орды, как в трагических, так и в иронических его аспектах.

Война должна сталкивать между собой одни государства с другими. Но часто она заканчивается тем, что сталкивает — незаметно, по одну сторону фронта, братство сыновей и символических отцов. Офицеры остаются верны королю. Но солдаты устраивают бунт и стреляют в офицеров. Братания среди сопротивляющихся отеческому порядку, преодолевают границы. Из противостоящих друг другу окопов, таких близких и похожих, итальянские и

австрийские солдаты обмениваются поздравлениями и подарками. Это крайний симптом братания, которое заменяет вертикальную иерархию. И оно осуждается с особой суровостью.

После того, как неповиновение и дезертирство строго подавляются, возникает искушение сдаться. Риск смертелен. Офицеры — как свои, так и противника, — часто приказывают расстреливать тех, кто сдается: первые, чтобы другим неповадно было, вторые, чтобы не возиться с пленными. Но усталость от войны и нежелание подчиняться побуждают это делать, особенно в странах, где старый патриархальный порядок вот-вот рухнет: итальянцев было захвачено в плен 530-600 000, австро-венгров 2 200 000, русских — от 2,5 до 3,5 миллионов.

В России кульминацией непослушания детей стал эпохальный переворот. Император, аристократия, старый порядок были уничтожены; власть переходит, как минимум номинально, массам без отцов. Эта новость распространяется среди других армий и искушает их взбунтоваться. Все хотят отвергнуть иерархию. Они больше не хотят бороться за географические границы, как до сих пор было на войне. Они хотят начертать новую внутреннюю географию, новые отношения между «я» и властью.

Разочарование войной было самым быстрым из процессов разочарования, которые произошли в современном светском мире. Война больше не была опьяняющим языческим богом, она стала статистикой и технологией бойни. Впервые «Родина стала более чужой, чем кто бы то ни было из врагов» [0].

Задолго до Вьетнама типично современное чувство недоверия к войне, сопровождаемое опустошением героических мифов и контрмифологиями пацифистов, проникло в первую мировую войну. В Италии, где оно сильно распространилось, оно скрывалось по причине военной цензуры и потом фашизма. Когда вернулся мир, Хемингуэй, который сражался на итальянском фронте, выразительно описал это в романе «Прощай, оружие» (1929). Успех этой книги и романа «На Западном фронте без перемен» (1929) Эриха Марии Ремарка впервые показали нам, что негативные описания войны могут распространиться больше, чем позитивные.

Но существует и подсознательная сторона восприятия первой мировой войны, более важная для нас, потому что, по своей иррациональной природе, бессознательная критика военного командования и правительства влияла на ситуацию внутри семьи. Это имело длительные и глубокие последствия. Критиковать правительство за несчастья, которые принесла война, часто было пустым занятием. По окончании первой мировой войны четыре великие империи, которые в ней участвовали, больше не существовали, в то время как количество государств на карте Европы сильно возросло. Даже там, где форма государственного управления не поменялась, поменялось правительство. Отцы же, если не погибли, старались сохранить свой авторитет в семье, как показывает история о моем деде.

Напряжение между бывшими солдатами и их детьми, и окружающей средой было беспрецедентно сильным. Коллективные символы скрепили разжалование отца; но отцы не хотели с этим согласиться, потому что в момент, когда все это началось, они были далеко.

Отцы не только отсутствовали в течение слишком долгого времени, по сравнению с прошлыми войнами. Куда важнее то, что они отсутствовали не в период стабильности ценностей, а тогда, когда критика всех патриархальных принципов была максимальной. В незапланированном согласии педагогика и психология опустошили абсолютизм главы семьи, новые политические движения — абсолютизм правителей, позитивизм и светская власть — абсолютизм Отца небесного.

В Италии начало XX века отмечалось не фейерверками, а выстрелами анархиста Бреши, который публично убил короля перед королевским дворцом в Монце. Естественно, существенное большинство населения было против подобных методов. Но в коллективном воображении теперь доминировали агонизирующие фигуры власти, в то время как король, чтобы быть королем, должен сидеть на престоле, неприкосновенный; он может наклоняться, чтобы дотронуться до подданных, но подданные не должны по своей инициативе подниматься, чтобы прикоснуться к нему; то же самое должно происходить с патриархом в семье. Король, в которого стреляют, отец, который вступает в споры, пытаясь отстоять свой авторитет, —- уже потеряли свой статус.

Согласно Митшерлиху, с XX века отцы постепенно удалялись от дома по причине промышленной революции. У детей, которые больше не видели, как работают отцы, возникла пустота в психике, которая постепенно заполнится тревожащими нас фантазиями. Мировые войны могут считаться повторением этой внезапной и тотальной потери. Этот процесс имел характер не постепенно возникающей проблемы, а самой настоящей травмы, которая способна была подорвать корни даже здоровой личности. Именно благодаря своему разрыву с обычной жизнью и своему трагическому и тотальному качеству, война стимулировала не только индивидуальное воображение. Она породила бесконечное количество коллективных популярных фантазий: самые настоящие легенды чудовищного и антигероического содержания [1], альтернативы официальной правде, в которую теперь никто не верил. «Регрессивный» характер этих голосов был символичен: говорилось, что «ничья территория» между противоположными траншеями, кишела дезертирами, которые жили, как черви, в ямах. В расцвете XX века мы наблюдаем неожиданное возвращение к спонтанным сочинениям, к сказке, к оральной культуре, которая чудесным образом преодолевала траншеи и распространялась одинаково между войсками противников и которую власти воюющих были неспособны контролировать.

Эти легенды создавались в основном солдатами на фронте. Но в них внесли вклад и те, кто остался дома: с той лишь разницей, что им недоставало соприкосновения с реальным конфликтом, следовательно, фантазия была более свободной, а мотивация более сложной. Сочетание антигероического характера этих неосознанных творений и сознательной критики властей стали разрушительными для возвращения воевавших отцов в общество: в бесконечном количестве случаев, когда завершались официальные церемонии, их принимали не так, как они ожидали.

Здесь затрагивается оголенный нерв того парадокса отца, о котором мы говорили с самого начала. Долг военного понятен. Отец-солдат знает, чего ждут от него офицеры. Но, когда он возвращается домой, ситуация намного сложнее.

Теперь тот, кто выжил на войне, становится противоречивой фигурой. Родителю соответствует обширное ожидание: помимо любви, дети требуют, что он пользовался успехом, как воин и как глава семьи. Отсутствие отцов было достаточно долгим, чтобы заставить детей голодать, и их психология пришла в состояние, сходное с депрессией Телемаха. Несмотря на посредничество матери, роль которой вовсе не мала, отцу очень трудно объяснить ребенку, что он покинул семью, потому что его долг был быть воином. Без образов этот долг превращается в абстракцию.

Потребность ребенка не просто материальная. Отец-герой мог в каком-то аспекте компенсировать свое отсутствие, дав ребенку умственную подпитку. Но мировая война все меняет. С одной стороны, коллективный образ конфликта делается очень сложным и, впервые, открыто антигероическим. В таких случаях критика войны, которую ребенок слышит дома, мешает ему видеть в отце-военном положительную фигуру. Часто, в своем бессознательном, где командир войска и отец-солдат — это просто два разных формата одной и той же матрешки, враждебность к военному командованию ассоциируется с враждебностью к отцу, который следует за командиром в его извращенных приказах. Дети не могут игнорировать то, что отец делает *объективно.* То, что по традиции сын мог *получить* от воюющего отца, — образ, о котором он думал бы с гордостью, — впервые отвергается.

С другой стороны, то, что ребенок *теряет,* достигает невиданных раньше размеров. Это беспрецедентно долгое отсутствие отца несло экономический ущерб семье и потерю связи с отцом. Впервые педагогика и психология распространились в обществе и подчеркнули, что отсутствие родителя вредит росту ребенка. Новость точки зрения состоит в том, что они становятся на позицию ребенка, противопоставляя ее традиционному авторитету главы семьи. Обычный итальянский отец страдает не от выстрела анархиста Бреши, а от книг Марии Монтессори.

Если отец ушел на войну, он лишил ребенка своей поддержки в решающие годы. Если он не пошел туда, он обречен чувствовать стыд, даже если причины, по которым он остался дома, были достойны уважения: в каждой стране официальная точка зрения стояла на такой позиции. Может быть, ничто не демонстрирует этого более эффективно, чем английский пропагандистский плакат (рис. 5). Мы видим отца, по-видимому, буржуа. У него два спокойных ребенка, но сам он не чувствует спокойствия. Мальчик играет на полу в войну, девочка, взбираясь к отцу на колени, спрашивает: «Папа, а что делал *ты* в великую войну?» Чувство вины во взгляде отца настолько же интенсивно, насколько невинен вопрос, и его закрытый рот не обещает нам героических рассказов. Особенность этого плаката не в давлении пропаганды, в котором нет ничего нового, а в том, что в ней участвует ребенок. Новость не в том, что отец должен *рассказать* детям о войне, а в том, что он должен *отчитаться* перед ними, и будет *судим* ими.

Таким было брожение в душах, и не меньшим было брожение на,улице.

Во всей Европе общественная стабильность была нарушена. Рабочие выступали против патронов фабрик (естественно, в латинских языках слова «патрон» и «отец» *(pater, padre)* имеют одну и ту же этимологию), где условия

работы стали еще хуже по причине войны. То, что случилось в России, сделало реальностью идею коммунистической революции. В стране-победительнице, такой как Италия, война, начатая, чтобы заставить итальянцев Тренто и Триеста войти в национальное общество, закончилась тем, что для страны больше людей было потеряно и разрушено, чем обретено: убитые, увечные, инвалиды и постоянно нетрудоспособные: Улицы были полны людьми, которых война сделала неспособными к гражданской жизни.

Один способный политик, бывший социалист, который вопреки желанию своей партии был за вступление в войну, захотел решить две проблемы разом: основал новое движение, опираясь в основном на ветеранов, и манипулировал им, чтобы задушить забастовки. Его успех привел к тому, что у него возникли последователи в Европе, и его поддержали отцы из буржуазных семей. Он решил придать мифологическое измерение своей группировке и поднял факел наследования идей и ценностей древнего Рима: главенство в Средиземноморском регионе, авторитет отца семейства *{paterfamilias)* в частной жизни. Сила антигероических настроений не исчезла, но была заметена под ковер цензуры. Диктатура функционировала в основном в негативном плане, установив запреты и восстановив определенный порядок. Ее способность представить себя как позитивную власть, то есть сделать конкретные предложения и вернуть идеалы униженным отцам, была незначительной, если и вообще существовала. Несмотря на сильное давление, чтобы восстановить римский дух, который доминировал в Средиземноморье, только сотня тысяч итальянцев переехали в Северную Африку, в то время как миллионы в то же время эмигрировали в Америку, которая официально критиковалась как антигероическая и материалистическая страна.

Можно было бы ожидать, что вмешательство Бенито Муссолини в XX веке вернет на место отеческую фигуру. Но это лишь впечатление, не основанное на анализе. Ее упадок ускорился.

Конец войны соответствовал концу четырех великих империй: русской, австро-венгерской, германской и оттоманской, — который был санкционирован грандиозными общественными событиями и освещен с беспрецедентным размахом в растущих средствах массовой информации.

Но в коллективном воображении закат неприкосновенных отцов произошел не вдруг. Укреплялся новый мужской героический образец: антиотцовская фигура, далекий, но непосредственный потомок Ахилла. Хотя, Муссолини ставил себя на недостижимую иерархическую высоту, в своих речах он продолжил обращаться прежде всего к соратникам: товарищам-мужчинам, которые, в воображении фашистов, сражаются вместе с ним, среди которых он помещается как первый среди равных. Тем временем он учреждал группы соратников и легионы милиции: организованные орды братьев. Постепенно расширяя круг, массы были подвержены психологической мобилизации, которая возбуждала в каждом, вне зависимости от фактического возраста, юношеский героизм. Эта мобилизация застала буржуазные демократии врасплох и нашла подражание на протяжении всего века в тоталитарных государствах правых и левых: в этом мире коллективных образов и Пол Пот, который называл себя «первым из братьев», — потомок Муссолини.

Героический образ Рима влек за собой, сам о том не подозревая, также популярный рассказ Коллоди: сказка автономна от официальных речей, непобедима, потому что является спонтанным и бессознательным выражением реальных, хотя и бессознательных психических истин. Диктатура несла знамена римского Цезаря, но, сама того не сознавая, приводила в действие скорее архетипы Пиноккио и Фитиля. «Братья», подобные этим, были обречены на эфемерное и антиобщественное поведение.

В новую мужскую модель внесли вклад влиятельные интеллектуалы: Габриэле Д'Аннунцио, эстетизирующий поэт-обольститель, для которого фашизм был литературным кумиром; и Филиппо Томмазо Маринетти, пророк футуризма. Этот последний принял участие в основании Боевых союзов (Милан 1919), делая из футуризма нечто большее, чем традиционную группировку интеллектуалов. Он одним из первых почувствовал потенциал средств массовой информации. С их помощью он объединял культуру, политику и публику, стараясь добиться, с помощью провокационных прокламаций, тотального *движения.* В названии движения говорится о «будущем». Но его намерение — забыть о будущем и жить настоящим.

Его слова представляют нового человека, который, собственно, нам уже знаком.

Слова, сказанные среди сыновей-братьев: «Самым старшим из нас — тридцать лет. (...) Когда нам будет сорок, другие мужчины, более молодые и более ценные, чем мы, пусть выбросят нас в мусорную корзину, как ненужные рукописи, — мы этого желаем!» Слова, вошедшие в ДНК детей-бунтовщиков своего века. Два поколения спустя они будут повторены, как мы знаем, противниками войны во Вьетнаме: *"Never trust anybody over thirty!" (не* доверяй никому старше тридцати!)

И врагами женственности:

«Мы хотим прославить ... пренебрежение по отношению к женщине» (Манифест футуризма)

И врагами мира и мужественности, которая не разрушает:

«Периоды ... которые отрицали героический инстинкт, и, обращенные в прошлое, питали мечты о мире, были периодами, в которые доминировала женственность.

Мы живем в конце одного из этих периодов. *То, чего не хватает больше всего и женщинам, и мужчинам, — это мужественность.* ... Женщины — Эриннии, амазонки ... воительницы, которые сражаются более яростно, чем мужчины».

Вот слова, которые угрожают стабильности всякого рода, например длительным отношениям между мужчиной и женщиной, уподобляя их техническим устройствам:

«Скорость земная: любовь земли-женщины - рассеивание по миру (горизонтальная роскошь) = автомобилизм, любовно ласкающий белые и женственные повороты...

Скорость разрушает любовь, порок оседлого сердца, печальный сгусток, артериальный склероз человечества-крови» [5].

Пророческие слова о пренебрежении к природе.

Радикальное пренебрежение к преемственности, верности, сохранению: даже такого уникального города, как Венеция .

Стабильность и сохранение вызывают тошноту и в культурной области:

«Мы хотим разрушить музеи, библиотеки...»

Искренние слова об отрицании существования отцов, в пользу сыновей — новых героев, которые оставят свой оттиск.

«Женщины ... делайте детей, и среди них, в холокосте Героизма, будьте частью судьбы ...

Вместо того, чтобы подчинять мужчину рабству жалкой сентиментальности, побуждайте ваших сыновей и ваших мужчин превосходить самих себя. Это вы их делаете. Вы обладаете всей властью над ними».

Пугающе правдивые слова о возвращении отца-мужчины в качестве исключительно оплодотворяющей функции:

«Естественно, если победители, избранные войной, прибегают в том числе к изнасилованию в покоренной стране, чтобы восстановить жизнь».

Многие безумства конца тысячелетия — экологические, общественные, расовые, — предсказаны здесь, вместе с радикально новой и в то же время очень древней мужской идентичностью. Это личность, которая живет одним мгновением и хочет упразднить время. Для этого мужчины *дети, и вместе с ними будущие поколения, касаются только женщин.*

В марте 1909 г. выходит «Манифест футуризма», в котором представлена новая мужская модель, и фашизм распространит ее Европе, весь двадцатый век пройдет под знаком этого манифеста, как будто вылупившись из него, как птенец из яйца. В ноябре 1916 погиб и окончательно покидает время — которое, казалось, уже давно для него оно остановилось, император Франц Иосиф, и вместе с ним старейшая отеческая модель. Меньше, чем через два года погибают Империи. После самого старого из императоров исчезает самое древнее имперское государство Европы, которое считалось продолжением римского.

Многочисленные изъявления сожалений, которые сегодня их окружают, — это не ностальгия по монархии, а ностальгия по мужскому образу, который раньше доминировал в коллективном воображении, а сейчас вынужден беспорядочно болтаться в европейском подсознании[41]

Маниакальность вытеснила меланхолию. Мир долга, который славили евреи Рот, Верфель и Цвейг, хранители памяти, которые были своими в этой уходящей эпохе, был заменен миром удовольствий и мгновения, воспеваемого Маринетти и Д'Аннунцио, светскими гедонистами, которые торжественно открыли новую эпоху. Остался лишь мир скорости — провозглашенный, что существенно, *движением,* — и взрыв эмоций. Они предвосхищают страсть этого века к ярким зрелищам, шуму, наркотикам, мгновениям. Они заменят сдержанность и проекты, которые, может быть, слишком тщательно оберегались во время отцов.

Глава 16

Обращение публичного отца

> Материнский образ (...) сохраняет неизменный характер, воплощает принцип вечный и всеобъемлющий, который исцеляет, питает, любит и спасает (...) Рядом же с архетипическим образом отца всегда важен и личный образ, который зависит не столько от его личной индивидуальности, сколько от характера культуры и культурных ценностей в трансформации, которые он представляет.
>
> *Э. Нойманн, Ursprungsgeschichte des Bewusstseins*

Есть нечто общее в чувствах, которые король вызывает в подданных и которые, в тот же период и в той же стране, отец вызывает в детях. Часто это замкнутый круг: суверен, обладающий престижем, стимулирует семьи подражать ему; в свою очередь, сильное положение патриархата в семьях возвышает положение царя. Мы уже столкнулись с обратным процессом. В современном обществе государство старается заменить отца, особенно в образовании. Но трудно сказать, в каком направлении находится градиент власти, от публичного к частному, или наоборот. Их отношения описываются языком символической психологии, что не позволяет свести все к только причинно-следственным связям.

В странах Запада отец переживает медленный и долгий закат: легкий спад в начале современной эпохи сменился очень заметным в последние два столетия. Фигуры, обладающие религиозным или государственным авторитетом, также приходят в упадок вместе с оцтом.

Тем не менее, век ужасен именно из-за присутствия ужасных мужских авторитетов. Если мы установим непосредственную связь между символами публичными и частными, нам придется думать, что отец вдруг поднял голову. Откуда берутся «ужасные отцы»? Есть ли связь между их губительным влиянием на массы и психологией отдельного отца?

Закат отца происходит по долгой нисходящей ломаной линии, а не по прямой. В течение последнего века она колеблется, как никогда раньше, и ее углы остры, как ножи. Прилагательное «реакционный», приписываемое фашизму и другим национал-диктатурам, устроенным по его примеру, правильно с психологической точки зрения. Представляя голос униженных, переживших войну, и буржуазии, испуганной забастовками, движение Муссолини все больше использовало желание вернуться к традиционному порядку в семье: это была реакция на распад патриархата. В этом смысле слово «реакционный» можно использовать по отношению к диктатурам разного политического происхождения, например, Сталина, диктатора, которого называли «Отцом народа».

Дойдя до вершин власти, Муссолини предсказал (Милан, 25 октября 1932г.): «Через 10 лет Европа будет фашистской». Как крысы за дудочником, годы последовали за ним, и он оказался прав. Прошло десять лет, и на Старом Континенте оставались лишь маленькие осажденные островки демократии.

Как диктатор мог знать это заранее? Почему он мог предвидеть, что скоро диктатуры начнут появляться, как грибы после дождя? Конечно, не благодаря четкому знанию о внутреннем состоянии других стран: Когда Муссолини решил вступить во Вторую Мировую войну, он не знал толом даже ситуацию в собственной стране, которая оказалась не готова к ней материально и психологически.

Но тогда возникает вопрос, что объединяло униженную микро-Австрию с дезориентированными ветеранами Италии, с губительной инфляцией Германии периода Веймарской республики, с сельскохозяйственным сном Португалии, с этническим расколом Венгрии? Ответ очень прост, и отчасти он был дан психологическими исследованиями Рейха, Юнга и Фромма: ностальгия по отеческому авторитету, который повсеместно исчезал. Муссолини увидел это вовремя, и это превратило его предсказание в пророчество.

Пророк видит дальше, потому что его ноги опираются не на землю, он выше нее. Фигура Муссолини представляется как бы подвершенной между землей и небом, как фигура светского святого. Приведя в движение братьев и став первым среди них, диктатор оборудовал себе место отца полубожественной родины. Производство идеала мужчины для фашизма было важнее, чем новый политический и экономический режим: он должен был создать парадигму для роста детей-мальчиков, предназначенных создать твердую опору для отцов. Свободное время этих детей было отнято у семьи и отдано обществу, по воскресеньям они объединялись вокруг Отца Народа. Это движение началось среди ветеранов войны, в братстве часто склонных к насилию сыновей, бунтовавших против отца, которые теперь искали стабильности, искупая свой первородный грех и ища поддержки среди запутавшихся семей, составлявших большинство.

Перенос фашистской модели на другие европейские страны не ограничился политической диктатурой, а включил в себя новую психологическую диктатуру. Она позволяла маневрировать массами с большей скоростью и глубиной, в то время, как чрез ее влияние возрождалась политическая функция. Все это двигалось, прежде всего, вокруг громадной, варварской коллективной психотерапии, которая действовала незаметно для самих иерархов-психотерапевтов. Потребность в отце - огонь, в который век подливал бензин, для миллионов молодых людей была удовлетворена диктаторами, внезапно и извращенным способом, что привело к еще большей потере корней семьи. Эта психологическая рана была более глубокой, чем политическая, и она еще ждет своего осмысления.

Почему диктатура не помогла отцам вернуть себе авторитет в семье, даже в моменты своего максимального успеха? Фашизм и нацизм могли формально славить традиционные добродетели, но, по сути, предпочитали держать детей у себя на службе.

Биографии Гитлера и Муссолини пользовались невероятным вниманием. Их личные отеческие качества нетрудно восстановить.

Гитлер посвятил свою жизнь политике, отказавшись от семьи и детей. Муссолини был плодовитым отцом, но, как правило, отсутствовал в жизни своих детей. У него было пять законных детей, масса незаконных[42] и

неисчислимое количество любовниц. Последняя была расстреляна и выставлена на обозрение вниз головой вместе с ним.

Как Кронос, диктатура приобрела облик Ужасного Отца, который в мифах задает детям невыполнимые задачи. Как Кронос, она позволяла им родиться, чтобы потом поглотить их. Они не могли расти, иметь автономную жизнь, они были обречены на задушенную жизнь внутри тела диктатуры.

Как Полифем, эти дети должны были быть сильными, но оставаться наполовину детьми, а не взрослыми: они помогали высшей власти бороться с иерархиями среднего звена или с теми отцами семейств, которые стремились сохранить автономию. Мобилизация молодых против родителей, которая будет в массе подхвачена китайской Красной Гвардией, представлена немецким рисунком, который напоминает нам о Третьем Рейхе (рис. 6).

«И ради этого наш отец рискует репутацией семьи!» — говорят дети в форме национал-социалистов, обнаружив в библиотеке отца-буржуа тексты Томаса Манна и Стефана Цвейга. Ситуация понятна. Согласно традиции, отец подпитывает свой авторитет, восходя к отцам духовным, и приглашает детей взойти на ту же лестницу. Дети диктатуры, напротив, не растут, потому что диктатура уже разрешает им судить родителей и избегать медленного подъема по генеалогическому древу. Отца они представляют себе в свете худшего: угрозы для репутации, — и не обращают внимания на постепенный рост, опыт, проект культурного развития.

Приход фашизма и нацизма сузил пространство отца, который и так уже скрючился от старости. Фактически, с одной стороны, антифашизм был силой антиотцовской, потому что выступал против избытка власти, яростного патернализма и маскулинности диктатуры. С другой, диктатура славила отца в лицо, но наносила ему удар в спину, выступая против культурной автономии семьи и всей сферы интимных чувств.

В основном проникновение фашистского патернализма было заметным в Германии. В Италии диктатор не пытался объединить вокруг себя всех детей нации, либо потому, что оставил при должности другого коллективного отца — короля, либо потому, что в средиземноморской традиции мать всегда занимала более прочное место. Это соответствовало архаическому способу творить политику: отождествление граждан с государством было ограничено и остается таким, оно заменено непрерывными связями с Церковью и с семьей. В этом смысле итальянцы легче могли передать доверие новому приемному отцу, потому что знали, к чему им возвращаться: и, хоть и поздно, они вернулись, когда он был еще у власти. (Их обращение к новым массовым партиям составило часть этого возвращения, в той мере, в какой принадлежность к ним повторяла модель тысячелетней принадлежности к Церкви).

Ситуация в Германии была иной. Гитлер, прежде всего, заполняет воронку беспрецедентного экономического кризиса. Он заменил собою отсутствие веры, вызванное уменьшением стабильности традиционной Церкви и расколом на разные Церкви, а также отсутствие государства — исключительное недоверие к Веймарской республике — оставшееся после исчезновения Империи и императора. Наконец, он действовал в обществе, где матери очень трудно было незаметно заменить отца. Чтобы проанализировать, какими разными путями

пошли две диктатуры, изначально слившиеся в объятии, будет удобнее исходить из этих соображений, а не из тавтологии, согласно которой немцы сильнее подчинились диктатуре, чем итальянцы, потому что у них больше развито чувство власти.

Мы знаем, что Гитлер и Муссолини проиграли войну, потому что устремлялись во все более нетерпеливые военные авантюры, в которых невозможно было выиграть. Гитлер, причиняя себе вред перед миром и противореча сам себе, объявил о «конечном решении», когда война была еще в начальной стадии (1942). Но отец — это проект и распределение сил во времени. Диктаторы вызвали собственное падение именно потому, что не были в достаточной мере отцами: ими руководило нетерпение. Конец второй мировой войны был подведением счетов для образа отца. Имеются в виду не ужасные счета бойни и опустошения, а психологические, касающиеся власти, лежащей в руинах. Претензии «отцов народа», публичных отцов, оказались такими деструктивными, что они дискредитировали и отцов частных.

Это сведение счетов произошло без различия во всех западных странах: как в тех, что поддерживали режим Ужасных Отцов, так и тех, что до конца были их противниками. И это коснулось как фашизма и нацизма, которые привлекли к себе недовольство мира и совершили военное самоубийство, так и советского коммунизма, который потом самоликвидировался экономическим путем.

Смерть образа отца связана с гораздо более ярким публичным осуждением, чем это случилось бы с матерью: он больше связан с историческими обстоятельствами. Как это уже случилось с индивидуальным отцом, отец коллективный должен отвечать ожиданиям и быть победителем. Но в случае с диктаторами то, что мы назвали «парадоксом отца» — противоречивые ожидания, чтобы отец был субъективно справедлив, но при этом объективно побеждал, — упрощен коренным образом. Фашизм, нацизм и коммунизм, по меньшей мере, в сталинском варианте, объявляет, что право основано не на принципах, но на объективной победе. Таким образом, проигрывая, они сами себя осуждают.

Иногда мы наблюдаем почти невероятные проявления открытой ностальгии по ужасным диктаторским режимам. Мы будем удивляться этому меньше, если будем наблюдать их не с политической точки зрения, а как проявления сожалений об отце. Он играл важную роль в рождении этих диктатур, и играет еще большую во вспышках ностальгии по ним: по отношению к тем временам отсутствие отцов и отеческих образов драматическим образом усугубилось. На самом деле даже тот, у кого достаточно здравого смысла, чтобы не жалеть об ужасных отцах, часто привлечен их деструктивным величием. Дети повсеместно обсуждают «мой отец сильнее, храбрее, богаче и т. д.» (силу, объективную мощь). Так и слава отца такова, что, ища всемогущество в губительной мощи, люди иногда задаются вопросом, кто, Сталин или Гитлер, погубил больше миллионов человек?

Сейчас в нашем коллективном воображении в первом ряду обосновался образ отца, который *лишает* жизни. С тех пор, когда он стал партнером матери, что происходит до сих пор, с тех времен, когда появилось слово «отец» —

которое, как мы видели, означает питание и заботу, — произошел полнейший переворот. Доминирующий публичный образ негативен. Однако эти отцы-убийцы обладают громадным обаянием для коллективного бессознательного. С тех пор, как существуют книги, никому не было посвящено столько исследований, как Адольфу Гитлеру. Нас не успокаивает зрелище того, что эта толпа, великая любительница рассказов о тиранах, в большинстве своем утверждает, что не одобряет их. Вуайеризм привык рядиться в одежды нравственности. Если публика в массе присутствует на спектаклях, где показывают сексуальное насилие, психологи беспокоятся, даже если зрители осуждают эти преступления.

Уникальный опыт европейских стран, которые пережили диктатуру в своем общественном теле, заключается в том, что их навестил ужасный отец из плоти и крови: они были унижены *коллективным и историческим опытом недостойного отца,* который уже за век до того начал заражать жизнь семьи.

В первую половину века Муссолини, отец нового Рима и других кондотьеров Европы, уже завершил свой круг галопом. Это психологическое событие важнее, чем политическое, его образ важнее реальной истории.

На одной из площадей на периферии Милана, откуда он меньше чем за поколение до того отправился возглавлять правительство, он был повешен между небом и землей, как бы пародируя то положение, в котором он пребывал на вершине своего успеха. Тем временем все перевернулось с ног на голову, и отец стал отрицательным образцом. Символ смерти, он был выставлен мертвым; как образец негативный, он был подвешен за ноги; образец, который следовало уже не воспевать, а кидать в него камни, плевать и мочиться; пророк мистической силы крови, он был посмертно привязан к бензоколонке, источнику жидкости, которая пульсирует в венах нового общества. Бенито Муссолини старался быть во всем примером для подражания, и теперь он достиг своей цели наоборот (рис. 7).

Очевидно, коллективное бессознательное существует, и оно было режиссером этого представления. И, если коллективное бессознательное существует, этот образ был неизмеримо более велик, чем одна миланская площадь, гораздо более длителен, чем весна 1945, намного более значителен для историографии, которая, как «молния» соединяет левых и правых: в 1989-91 разве не с таким же ожесточением разбивали статуи диктаторов в Восточной Европе?

Реванш сильного отца исчерпал себя за несколько десятилетий. Соответственно, этот переворот делал негативной и ту модель, которая создавалась для детей. Предтечи психологической войны, занятые мобилизацией масс, фашистские режимы раздули фигуру героя. Пропагандируемый героизм не был больше исключительным событием, священным, волнующим, как в традиционных культурах; это было каждодневное исполнение долга под командованием диктатуры. Героизм был самым ярким факелом, который отцы должны были передать сыновьям: но, он был скорее деструктивным, чем несущим позитивные ценности. Если бы психология заключалась в прибавлениях и вычитаниях, как бухгалтерское дело, героя можно было бы исключить. Но так как он существует всегда и во всех

культурах, как и отец, он стал табу, как и всемогущий отец: он переместился в погреб, загадочный и демонический, создавая новый ущерб самим фактом своей неопределенности.

Если ужасный отец виден в основном изнутри, мы правильно сделали, что начали со стран, которые имели его в качестве правителя, как сердце в теле. Это позволяет применить психологический взгляд, который направлен изнутри, от внутреннего, вовне, к обществу.

Но этот громоздкий призрак уже доминирует в воображении Западного мира, даже тогда, когда не доминирует в истории. Даже англосакские страны, которые в смысле конкретной политики остались самыми далекими от него, ощутили его в центре своего коллективного психического. Они знают, что фигура политического лидера отбрасывает тень деструктивности, и их фантазия очень легко вызывает такой образ, так что литература и кино подпитываются им бесконечно. Однако, фантазия до сих пор не породила образ женщины-лидера как ужасной матери.

Кривая статуса отца в этом веке проста. Там, где он участвовал в коллективной политической трагедии, его падение — прерывистая линия. Там, куда диктатура дошла только как образ, его падение более линейно. Но в целом оно одинаково, потому что в начале века он был еще высоко и быстро скатился в глубокую депрессию: еще один образ, который общество заимствует у психологии.

Америка, альфа Западного мира, очень хорошо показывает нам, что происходит. В прочных либеральных демократиях коллективные образы находятся не под унитарным давлением режима, а под давлением многих разнонаправленных средств массовой информации. И, несмотря на свой безграничный плюрализм, с годами, эти средства пережили всеобщую трансформацию, кульминацией которой стало преследование президента Соединенных Штатов, Ричарда Никсона. Голоса отцов оказались замещены голосами детей.

Это не значит, что средства массовой информации либерального общества полностью выбили пьедестал из-под отца, как это было с диктатурами. В период кризиса средства массовой информации могут возродить свое творчество и предлагать позитивные стимулы, а не только осуждение. Большая часть СМИ, в особенности американских, улучшили свои способности оценки властей. Они больше не принимают все как данность, но бросают любопытный взгляд. Если в прошлом они одобряли войны с коренным населением («индейцами»), с какого-то момента они начали критиковать Вьетнам.

Разочарование войной так распространяется в первой половине века, что, даже вдали от полей сражения, в Америке, оно не менее сильно, чем в Европе. Разница в том, что Европа продвигалась, спотыкаясь, с трудом перекатываясь через тела убитых и обломки, распотрошенные войной. В Америке это был хорошо структурированный процесс, который формировался в устоявшемся пространстве пуританского свода законов.

Этот строгий этический код сделал естественной потребностью переоценку прошлого: что сделали индейцы отцам отцов? Они тоже уничтожали даже женщин и детей? И в этом отцы отличаются от матерей: их наследство, будучи,

прежде всего, культурным, довлеет над детьми и на расстоянии, как древние проклятия. Фильтрующая машина не останавливается. Если война несправедлива, если и вообще хоть как-то обоснована, это объясняет ее начало, но оценке подвергается ее ход. Сыновья не хотят никакой ценой быть героями во Вьетнаме, деды слишком легко и безжалостно разделались с кочевыми народами, и наступает черед героизма отцов. Почему Вьетнам мы критикуем, а Хиросиму нет? Надо ли было использовать самое мощное оружие всех времен и народов против домов из дерева и бумаги? В Америке вопросы по поводу героизма отцов подрубают все генеалогическое древо.

Мы не можем сказать, есть ли нужда в таком движении исторической самокритики в Европе и остальном мире. Но мы знаем, что остается вопрос: независимо от политического аспекта, меняется ли отношение сына к отцу, глубинную модель которого мы считали вечной? Если действительно сегодня публичный отец — политический или военный — оценивается за его этику, и независимо от его успеха, значит ли это, что однажды дети перестанут требовать от личного отца выгоды и справедливости одновременно? Что Фрейд с большей благосклонностью будет смотреть на отцовскую шапку? Может быть, отец не просто *потерял* власть. Может быть, он *приобрел* более близкие отношения с детьми? Не были ли теневым противовесом его преувеличенной власти в противоречивых и также завышенных ожиданиях детей?

В 1968, очень значимом, году так называемого протеста, во Франции появилась новая гипотеза. Отправной точкой была теория Фрейда, содержащаяся в «Тотем и табу» (1912-13), согласно которой первые формы общественной жизни и примитивные формы религии возникли вследствие сотрудничества детей-братьев, которые, устранив отца, смогли вместе контролировать взаимное соперничество и чувство вины по отношению к его памяти: интериоризация его образа позволила создать Супер-эго внутри личности, а гражданские и религиозные институты - снаружи. Когда это было сделано и закреплено, мир приобрел мощный отеческий отпечаток: видимый в монотеистических религиях, патриархальных институтах и, мало-помалу, во все более рациональной и научной ориентации культуры. В этот момент долг отцу был уплачен, в то время как сейчас начинает ощущаться архаическое чувство вины по отношению к матери, с которой отождествляется природа, подвергшаяся нападению и использованная во время строительства отеческого мира.

Подобная гипотеза должна быть очищена от ограничений, связанных с ее происхождением. Текст Фрейда некорректен с антропологической точки зрения. А бунты 1968, следуя этой гипотезе, основали молодежное европейское движение, которое в Германии и Италии, странах с множеством едва затянувшихся ран, отравленных чувством вины за то, что позволили возвыситься губительным диктатурам, вылилось в создание террористических организаций сыновей, которые стреляли в отцов.

Анализ исторического изменения как психологического намного более глубок, чем обычные политические толкования, именно потому, что смотрит не на эфемерные новшества, а на великую волну, которая несет коллективные образы отца и матери. В последующие годы Тойнби предвидел возвращение к

Великой Матери Земле, с авторитетностью историка, который исследует человеческую цивилизацию как один длинный процесс в симбиозе с земной корой.

В последнем поколении движение в защиту окружающей среды создало теории, которые критикуют антропоцентризм, внушенный людям самим Богом, в начале «Бытия». Это сочетается с феминистской критикой патриархальных институтов и мужского рационализма Западного мира, который насилует землю, женщину, и другие формы жизни.

Полагаю, что эти пересмотры останутся, именно потому, что они согласуются с самыми длинными в истории волнами, и не могут вызвать противоречий со стороны эфемерных соображений поколения. Что могут предложить мужские движения, кроме мощной ностальгии ветеранов войн? Они не только не могут создать соответствующую критику матриархата, но и не знают, где поместить себя на громадной диаграмме истории. История дала нам отца, история у нас его забирает.

Даже Бог с христианских небес, похоже, замыкает соответствующий цикл, словно бы он тоже хотел убрать отца.

После видения императора Константина христианство было принято как религия, и мгновенно слило свои силы с силами римской империи. Во сне Константина Бог дал ему крест, велев поместить его на свои штандарты: в знаке креста была его победа (312 г.). Это было первое официальное извещение, которое спустилось с небес к Западному миру. Самое недавнее произошло в Лурде. В промежуточном периоде все перевернуто. Раньше Бог говорил с императором Рима, который находился на вершине маскулинности. Сегодня, в мало известной французской провинции, небеса снова говорят с нами. Замолчал император, замолчал и Бог Отец. С вышины заговорила Мать, и слушала ее простая маленькая девочка.

Глава 17
Путешествие Джоудов

Джон Стейнбек любил эпическую поэзию. Он знал, что после античных времен поэт вступил в постоянно сужающееся пространство, где свобода времен Гомера все больше ограничивалась осознанием поэтом собственной исторической относительности, лезвия, которое подкашивает вдохновение и величественность языка. Поэтому мир производил поэмы, которые были все менее эпическими: поэмы национальные, кантональные, провинциальные, касающиеся одного поколения, все более далекие от понимания величия человека, человеческой жизни, и вместо этого воспевающие *конкретного* человека в *конкретный* момент. Они становились все более далекими и от эпического осознания трагичности жизни, потому что хотели рассказать о победе добра над злом, в то время как сущность трагедии в знании, что человек всегда добр и зол одновременно.

В конечном счете, поэты полностью отказывались от эпоса.

Но Стейнбек не верил, что это категорический отказ. О каких эмоциях можно рассказывать, без трагической грандиозности человека? Какая литература не становится утешительной премией?

Есть свет в конце каждого туннеля. И где, как не в великих пространствах Америки, величие могло вновь увидеть свет? Где мог заново прозвучать трагический парадокс, как не в Великой Депрессии, несчастии самой богатой страны?

В настоящем рассказе язык всегда нов, сюжет всегда архетипичен. Надо было рассказать сражения «Илиады» массам, описать необщественную несправедливость в «Одиссее».

Но, так как эпос грандиозен, он не может рассказывать частный сюжет, иначе это будет рассказ. Именно так как он трагичен, у него не может быть счастливого конца, он должен вызывать отчаяние: пока одна цель приближается, другая удаляется.

Настало время описать нищету, осаду Трои для бедных. Но это была бы еще не эпопея. Общественной одиссеи было недостаточно самой по себе, программа искупления была позитивной, лишенные надежды в пути — это уже надежда. Когда Стейнбек начал писать, он знал, что искупление близко: «Новый курс» возделывал континент, а бесстрашное предпринимательство, богиня, у которой в Америке есть храм, как у Аполлона в Дельфах, должна была завершить начатое. Миграция уроженцев Оклахомы в сторону земли обетованной должна была стать другим рассказом, без цели, без Итаки. Невыразимым, хотя и вопиющим. Тайным, но не неведомым. Интимным, но таким общим и сердечным, что каждый мог узнать себя в нем. Крушение более великое, чем крушение Трои, или одного из общественных классов Америки или одного из стилей жизни ее обитателей.

В «Гроздьях гнева» он решил рассказать не только о распаде сельского мира, но и об упадке отца.

Он помнил, что читал рассказ об эпическом путешествии, которое возвысило образ отца и придало ему важное положение в истории. Он должен был описать обратный процесс, пройти его в другом направлении. Сняв с полки «Энеиду», он положил книгу на свой письменный стол и начал переписывать ее.

Герой не должен был напоминать нам принца, он принадлежит к массам: Том Джоуд — отец крестьянской семьи. Царство Трои — земельный участок в центре южных равнин страны. Он был уже собственностью деда, из-за трудностей он был заложен. Трою осаждают греки, участок — банки. Урожая больше не хватает, чтобы дать отпор этим агрессорам. Скалу берут расчеты не хитроумного Улисса, но анонимного функционера. Деревянный конь превращается в металлический трактор, все же священный для Минервы, как любая техника. Как и в случае с греками, его ведет предатель, бедняк, вставший на сторону богачей. Несколько храбрецов хотят выступить против него с оружием, но только навлекают на себя наказание, непостижимое, как божья кара, постигшая Лаокоона.

Как трагические герои, Джоуды не понимают, чего вдруг хочет от них судьба. Сначала жизнь была возможной и спокойной, теперь надо выбирать

между голодом и неведомым, между смертью и бегством. Это крушение — не наказание за совершенную ошибку, но каприз богов, которые не заслуживают Олимпа, потому что — эгоисты, как античные боги, — они выступают на стороне сильного и победителя.

О Томе Джоуде мы знаем весьма мало. Он умеренно авторитарен, умеренно справедлив, умеренно красноречив. Он привязан к земле и семье, но без фанатизма.

У него шесть детей. Первые трое мальчиков поддерживают отношения с отцом, и современный поэт явно хочет возродить в них роль Аскания. Но, в то время как юный троянец перенимает добродетели отца и в нем продолжает жить род, город, империя, трое молодых представляют недостатки характера, незрелость, неумение подняться к взрослому возрасту, к которому они могут никогда не подняться, потому что в личности отца — их естественной лестницы — отсутствует соответствующая ступенька.

Герой эпопеи — папа Джоуд, и он же символ общественного краха, который Стейнбек хочет возвестить миру. Чтобы представить его, он мог бы задержаться, проанализировать стороны его характера. В таком случае он приблизился бы к психологическому роману, удалившись от эпопеи об обездоленной массе и патриархальной семье. Автор выбирает хоральную постановку. Чтобы представить главного героя — отца, который проигрывает, — он исходит из факта, что каждый передает частицу себя детям: описание каждого из детей содержит какую-то сторону характера Тома Джоуда, который является разлагающимся крестьянским патриархом.

Ной, старший сын, ничем не блещет. Он не слабоумный: он умеет делать подсчеты и выполнять сельскохозяйственные работы. Именно выполнять. Ною не хватает инициативы, энтузиазма, чувства. Несмотря на возраст, любовь к женщине далека от него, как другая планета. Он даже не может представить себе, что папа и мама Джоуд занимались любовью, чтобы зачать его. (Несмотря на наличие шести детей, во всей книге нет ни строчки об эротических качествах этого отца: нельзя было бы яснее сделать его противоположностью сына Венеры).

Ной, соответственно, очень хорошо представляет центральное качество отца. Качество, которое нельзя назвать еще депрессией, потому что в депрессии все же присутствует грусть - чувство мрачное, но интенсивное. Ной — это отказ от всего, это даже не утрата храбрости, потому что для ее утраты надо было ею когда-то владеть. Нет тут и страха. Это просто отказ от всего без ропота и расстройства, просто незнание, что жизнь может дать нечто большее.

Этот сын представляет молчаливую, но постоянную черту психологической мужской истории. Долгие тысячелетия сделали бесхребетным этот характер. Тысячелетия усталости от ответственности, с одной стороны, тысячелетия эгоизма, проникнутого привычкой командовать семьей, с другой. Тысячелетия выравнивают с землей, песок времени делает ниже даже пирамиды. Этот мужчина израсходовал свою ответственность и эгоизм. Он не может быть отцом и не способен быть супругом: максимум, который мы можем вообразить, это что Ной может пойти к проституткам.

Он стерилен биологически, потому что у него не будет детей, и он стерилен психологически. Он не несет новизны, инициативы, воли. Он - один из тупиков цивилизации, и от отца он вернулся к простому мужчине, что заставляет нас думать расстроено о тысячелетиях, прошедших напрасно. Ной представляет неудачу своего отца и неудачу отца вообще. Мы с беспокойством узнаем, что его отец благосклонен к нему более, чем к другим сыновьям: выражаясь языком символов, Том Джоуд не делает ничего, чтобы преодолеть психическое банкротство, представленное Ноем. Ему как будто приятно сдаваться.

Но обратим внимание на сцену из прошлого, потому что здесь мы можем кое-что узнать о причинах этой неудачи. Когда его мать рожала его, отец был один дома. (Почему так говорится? Жена — не в счет для папы Джоуда?) Повивальная бабка опаздывала. Взволнованный страданиями жены и видом отверстой вульвы, Том Джоуд ускорил этот невыносимый процесс архаической женственности: отведя глаза, он ввел туда руку и ускорил выход сына на свет.

Может быть, цепь отцов не желала продолжаться, и продолжение происходило помимо воли отца. Но за искусственные продолжения приходится платить. Ребенок пострадал: раны были видны не на теле, а во всем его поведении.

Древние патриархи смотрели на женщин с большей отстраненностью. Этот отец, прибывший к конечной остановке, сохраняет дистанцию от женщины — роды для него отвратительны — но не отстраненность. Отец участвует в родах, и таким образом здесь представлен патриарх, который не может жить на ренту.

Опустошение его экономических возможностей резюмирует конец культурных. Ему приходится сотрудничать с неистребимым присутствием материнского. Захваченный женским, он воплощает те ее стороны, которые считаются наиболее слабыми: неконтролируемые эмоции, истерику, — но не способность доверять инстинкту: рождается мальчик, Ной, умственно и физически бесплодный.

Второго сына зовут Том, как отца. У него есть достоинства, он обладает инициативой. Его голова часто возвышается над морем грязи этой эпопеи; интуиция, способность выслушать делают его симпатичным. Том-младший неожиданно присоединяется к семье, именно когда она сворачивает матрасы, чтобы пуститься в путь в отчаянии. Он был далеко в течение многих лет, потому что и он зашел в тупик: убил человека в пьяной драке. Говорят, что это была самозащита. Годы тюрьмы, теперь он выпущен на свободу под надзор.

Все повели бы себя так. Семья на его стороне, начиная с матери: Том внушает ей успокаивающее чувство, что в доме есть мужчина, который решает проблемы. Это не говорится прямо, но ощущается, что отец такого чувства уже не внушает: он побежден экономическим кризисом, для отцов неуспех — это в любом случае вина. Так что у матери этот сын явно любимый, между ними царит понимание, которого нет между ней и отцом.

Том-младший - это одаренный молодой мужчина. Как Асканий, он начинает путешествие, держась за руку отца: но часто кажется, что он ведет родителя. Но Асканий, и любой сын героя, который хочет стать героем в свою очередь, с любопытством смотрит на мужские образцы, чтобы интериоризировать их и сделать собственным внутренним авторитетом; либо, в

моменты волнений и цареубийств, смотрит на отца, чтобы отбросить и изменить его законы. Ничего из этого нет в Томе Джоуде, который не является ни продолжением отца, ни бунтарем, восстающим против него. Он сын дегенерации, то есть разрыва связей между поколениями. Ссоры, алкоголизм, беспорядок, от которых страдает поколение отцов, воплощены, прежде всего, в фигуре дяди.

Как и во многих аналогичных случаях, под грубой кожей склонного к насилию парня скрыт любимец матери: когда недостает эволюции в отцовскую сторону, часто присутствует избыток симбиоза с матерью. Симбиотическая связь молодого Тома с матерью, как мы подозреваем, способствует всплескам насилия: потому что, сам того не осознавая, примитивным способом, он еще ищет свою мужскую идентичность, и еще не научился ограничивать свой агрессивный порыв ритуальным самовыражением.

Этот персонаж напоминает нам о возможности «хорошей» мужской агрессивности. Которая однако, в момент, когда необходима стабильность и символическое преображение мужчины в отца, изгоняется из общества. Без внутренней власти, построенной на власти внешней, нельзя преобразиться во взрослого полностью. Этот взрослый, который не может удовлетвориться тем, чтобы иметь чистую совесть и соответствие идеалам, но должен получить, во имя семьи, объективный успех, который зависит от морали не более, чем банковский капитал от Святого Духа.

Третий сын — Эл. Его можно описать в немногих словах. У Эла тоже есть способности и симпатичные стороны. Он обожает механику и содержит в порядке старый автомобиль, на который грузится его семья. Но в то же время он незрел. Потрясенный событиями, он находит безопасность в регрессе к мужчине-животному. Его идеал — бесстрашный брат, который оказался способен на убийство. Растущая несостоятельность мужчин перед лицом неожиданностей заставляет действовать женщин: Эл втайне боится этого. Они загадочны, зависимость от них пугает. Его женоненавистническое усилие восстановить дистанцию старо, как мир: болтовней и выдуманными обещаниями, приступив сразу к фактам, он заполучает каждый вечер новую девушку, чтобы потом сразу же уйти. Такой тип мужчин просит, и не дает. При подведении итогов в поэме он не сможет уплатить свои долги. В лице Эла мы встречаем еще один символ сына, который не может в свою очередь стать отцом.

Потом следует старшая дочь, Роза Сарона. Вначале она предстает как пустой персонаж: в крестьянском еще архаическом мире кажется, что она предвосхищает молодых потребителей, которые всегда просят и не несут за это ответственности. Но на самом деле это качество характерно не только для Розы, и тем более это не качество, присущее женственности: это искушение, которое касается всех Джоудов и «Джоудов» в каждом из нас.

Роза только что вышла замуж за Кони. Они ждут ребенка и опираются друг на друга. Кони поддерживает и ободряет Розу и получает в ответ ее все более целостную женственность. Он кажется единственным молодым человеком, который преображается в отца.

Последние дети Джоудов — мальчик и девочка. Они еще слишком маленькие и свободные от ответственности, они символизируют бессознательность, которая сопровождает поездку и является условием для погружения в приключение.

О папе Джоуде мы уже говорили, и немного остается добавить. Это негативная эпопея об отце, и поэма делает все ясным с самого начала. Джоуд — это человек, который умеет выполнять свой долг. Он возделывал поля, он рожал детей. Сейчас ему остается делать все меньше. Сельское хозяйство и крестьянская семья находятся в периоде заката.

Мама тоже делает то, что должна: выполняет женские обязанности и, в торжественные моменты, держится на шаг позади отца. Перед лицом опасности семья, как нам представляется, прибегает к животному поведению. Как стада, когда слышат волка, ставят самцов перёд самками и детенышами. Когда приезжает функционер из банка, чтобы вести переговоры с сельскохозяйственным патриархатом, отец выходит ему навстречу. Вскоре после этого проблему обсуждает совет семьи: опять же группа мужчин, включающая в себя отца, деда и дядю.

Что касается деда, Стейнбек тоже вдохновлялся «Энеидой», вывернув эпос наизнанку. Анхиз был мудрым, благородным, правильным, славным. Дед Джоуд хитрый и жалкий, склонный к нарушениям и непристойный. Анхиз был торжественным, красноречивым. Дед пошлый, что нас смущает. Анхиз был парализован, потому что боги наказали его. Божественное наказание за грехи деда заключается в том, что он постоянно подпрыгивает, несмотря на возраст, как делает молодежь, еще обитающая внутри его характера.

Во главе семейства Джоудов представлен выродившийся отеческий темперамент, а не мудрый предок. Нельзя назвать его недостойным, и, может быть, он даже симпатичен, но совершенно лишен глубины характера и ответственности за свои поступки. В нем нет не только отцовских качеств, но и сдержанности, с которой отцы их несли. Его фигура говорит нам, что крушение отца происходит не от раны, нанесенной сегодня, а от медленной работы древесных червей, подтачивающих генеалогическое древо. От слабости, которая уже существовала в другие времена и является необратимой.

Дядя Джон — это старший брат отца. Может быть, он обладает большим характером, большей глубиной, чем последний. Но у него не получилось стать главой семьи. У него нет семьи.

Здесь тоже у неудачи есть предыстория.

Дядя был женат, может быть, любил свою жену. Но, на цыпочках, патриархальное высокомерие вошло в его дом и подрубило ноги патриарху. Однажды ночью его женщина проснулась от сильной боли в животе. Она просит его послать за врачом. «Не волнуйся, наверное, ты слишком много съела». Разные своды законов требуют, чтобы дядя так ответил. Мужской закон, который требует обращать минимум внимания на боль. Сельский патриархальный закон, который требует справляться с проблемами самостоятельно и экономить средства. Супружеский закон, ревнующий к другому спасителю, которого женщина призовет среди ночи и покажет ему свое тело. На следующее утро тетя была мертва. С тех пор дядя Джон утратил

способность вступать в отношения с женщинами. Периодически в его жизни несчастного холостяка случаются кутежи. Он ведет размеренный образ жизни, но внезапно скатывается в непристойные кутежи и пьет самое крепкое спиртное, какое встречается на его пути. Следующий день бывает похож на предыдущий, - с тем же мазохизмом дядя предается теперь не пороку, а покаянию. Он бьет себя в грудь, просит прощения, которое никто ему не дает, потому что он не оскорбил никого, кроме самого себя.

Дядя хочет не искупить свою вину — он и так сделал достаточно — но исправить прошлое, восстановить его, как дом, в котором он начинал быть хорошим патриархом, и жить в нем.

Дядя также представляет антиотцовские склонности, которые присутствуют у мужчин: склонность к беспорядку, покаяние, которое вместо того, чтобы искупать, растет, как снежный ком, обращается само на себя и взрывается в эгоистическом вопле. Из всех искажений отцовского начала, описанных в этой семье, его дефект — самый отчаянный: не только потому, что внушает отчаяние, но потому, что он обращен в прошлое, на отцовское качество, которое могло бы быть, но которого никогда не будет. Он просит прощения у мудрого авторитета, который мог бы его простить. Но он не может обратиться к тому отцу, которым никогда не был. К своему личному отцу он тоже не может обратиться, потому что тот далеко не мудр. Не может он взывать и к коллективной фигуре сильного и доброго отца, которая в истории стирается.

Чувствительность дяди, хоть и отчаянная, недостаточна для искупления, потому что отсутствует осознание не вины, а ответственности. Психология взрослого человека и отца требует не цепляться за прошлое, но заняться — с осторожностью, но без лишних промедлений, — новыми задачами, которые дает нам жизнь. Только ребенок, вспоминая полную защищенность детства и пребывание в материнском чреве, борется с тем, что нарушает равновесие, к которому он привык. Ночью, воспоминания о которой его терзают, дядя не захотел заплатить психологическую цену за болезнь, которая уже присутствовала, и спокойствие, которое уже отсутствовало. Когда жена его умерла, он не может уплатить психологическую цену за изменение: принять, что скорбь необходима, но у нее есть конец, что надо открыться новому, даже если цена перемен еще выше, чем цена траура.

Дядя символизирует важные стороны мужской личности и той эпохи. Он рядом с отцовством — он старший брат отца и сам должен был стать им, — но не достигает его и демонстрирует черты «недостойного отца». Зависимость от алкоголя и кутежей, как будто дегенерация становится следствием отчаяния от отсутствия обновления, а отсутствие обновления - наказанием за дегенерацию, и этот порочный круг уже с силой замкнулся, и не разорвать его; мы можем назвать его только комплексом «недостойного отца». Не говоря о его аспектах наиболее унизительных, замкнутых, к счастью, в пролетариате, который по большей части исчез, эта фигура является метафорой постоянного чувства вины отцов из-за неспособности поддержать и принять ответственности в отношениях с женским миром. Сегодня историческая мужская ответственность все больше обсуждается и вина все больше ощущается, это символ очень актуальный.

Мы собрали семью — точнее, взрослых ее мужчин, — вокруг ненадежного транспортного средства, которому они хотят доверить поиск лучшей жизни. Эпоха и страна техники уже открыли двери: даже транспортное средство весьма символично. Оно было рождено какое-то время назад как автомобиль, и возродилось как грузовичок под руками Эла, который сделал кузов из деревянных досок. Техника, которая покоряет Америку в десятилетия между двумя войнами, готова служить человеку. Теперь руки человека должны возродить ее, чтобы она служила своей цели, преобразить ее из пассажирской в транспортную. Люди имеют меньшее значение, чем вещи. Во время путешествия они должны будут беречь транспорт, потому что он стоит больше, чем они. Членов семьи они будут терять безропотно, главное - спасти автомобиль. Это единственный член семьи, без которого невозможно обойтись. Они будут хоронить мертвых тайком, чтобы сэкономить на похоронах, но потратятся на запчасти.

Джоуды готовы. Правительство семьи, ядро патриархата — дед, который председательствует, хотя больше не управляет, дядя и папа Джоуд — объединилось. Вокруг них, кругом, дети мужского пола, женщины, младшие дети. В последний момент к ним хочет присоединиться бывший проповедник Кейси.

Молодой Том, желая быть любезным, поддерживает предложение чужака. Папа Джоуд, для которого важнее расчет, чем принципы, считает небольшое количество денег и большое количество людей, желающих пуститься в путь. Никто ему не отвечает: все предпочитают сегодня упиваться своей щедростью, предложенной сыном, а не думать о завтрашнем дне вместе с отцом. Путешествие только начинается, а глава семьи уже утратил контроль над семейством и написал первую строку своего отказа от власти.

Кейси взят: может быть, папа Джоуд колебался и потому, что видел новую альтернативу своей власти. Бывший проповедник был моралистом, верил в искупление. Он понимает дядю Джона и у него много общего с ним, в том числе погруженность в грех. Но он нашел свою дорогу в тот день, когда понял, что не может предписывать другим, куда им идти. Другие должны помогать себе сами, если в чем-то нуждаются. Каждый должен сам найти себе путь. Однако никто не обращает внимания на то, что он *бывший:* к нему относятся как к ведущему и *духовному отцу:* фигура, всегда востребованная, архетип, который вновь начинает сиять, когда отцам нечего сказать.

Кейси, который поднимается в машину в последний момент, представляет именно эту попытку временной службы, все более распространенную в наше время. Все хотят его иметь рядом с собой в великий момент отбытия. В момент неуверенности, срываясь с насиженного места, чтобы начать путешествие ради великого обновления, мы погружаем нож в душу и копаемся там, докапываясь не только до внутреннего авторитета — Супер-эго, которое выдвигает запреты, — но намного глубже, до духовного отца, который говорит от имени справедливости, о том, что надо делать, а не только о том, чего делать нельзя: который обращается лично ко мне, говоря, как должен вести себя я, а не люди вообще.

С отправлением Джоудов, с путешествием патриархата на Запад, с их путем в сторону заката — Запад означает заход солнца — авторитет отцов действительно склоняется к горизонту; он *размягчается* и становится компромиссным. Но не потому, что отец становится мягче, а потому, что, как лиса с виноградом, он теряет силы бороться. Это потеря, в которой мать почти не может помочь. Как потому, что власть теряют оба родителя; так и потому, что культура — отцовская культура внутри материнской — не переписывается за несколько лет, как теоретический трактат. Пустота кое как заполняется осколками отцов: с одной стороны мы доверяемся внутреннему руководству Супер-эго, которое оставляет нас одних и говорит только, что мы не должны делать; с другой стороны, многие пускаются в поиск нового персонажа, духовного вождя, который сочетал бы авторитет с эмоциональным присутствием и говорил бы мне, что я должен делать. С психологической точки зрения закат отца не оставляет нас без авторитета: напротив, он оставляет нас наедине с Супер-эго, которое функционирует как клетка для нашего «я». У нас есть авторитет, который является антагонистом Эго, но недостает того, который был бы с ним в созвучии и давал ему тепло. Вопреки распространенному мнению, сегодня не хватает именно доброго авторитета — внутри, в психике — и пустота требует заполнения, ища его по миру. А спрос, обращенный к внешнему миру, миру экономики, порождает предложение, согласно законам рынка. Появляются учителя. Рынок гуру все богаче, а отец все более нищ.

По окончании войны выжившие троянцы бегут в свою Италию, то есть на равнины Запада, в Калифорнию. Машина разогревает мотор, но не выезжает. Стейнбек заставляет его вращаться впустую и думает.

Где Анхиз? Древнее сердце отцов, и праотцов, оторвется ли оно от родины? Поменяет ли гордую смерть в том месте, где они жили, на бегство? Нет. Джоуд, глава рода, противоположность Анхиза в плане мудрости и авторитета, но не в плане гордости. Дед, со всем его цинизмом, верит в преемственность поколений на земле. Как Анхиз, он не уйдет. Никогда.

В «Энеиде» Юпитер убедил старого троянца уйти. Но в Соединенных Штатах XX века боги редко сходят на землю, чтобы убеждать упрямых людей. Рассказ меняет их на родственников, которые заставляют бога Вакха сойти в желудок старика: напившись, отец отца прекращает сопротивление; наконец родственники грузят его, и они выезжают[50].

Понемногу мигранты продвигаются. И вдруг погибает собака, последняя связь с местом, единственное животное, которое последовало за семьей. Миф Стейнбека ясно говорит, что семья убита символически прежде, чем умрет экономически. Собака — связь между сельской жизнью и природой. Когда машина сбивает ее, мы знаем, что это их прежнее существование раздавлено надвигающейся техникой.

Как случилось и в «Энеиде», вскоре после этого умирает глава рода. Так как это Анхиз наоборот, его смерть совсем не похожа на торжественную смерть Анхиза. Нет оплакиваний, почестей, похороны происходят тайно, потому что денег на обряды нет. Славная могила заменена коробкой в руках покойного, с табличкой, где написаны его данные, последней защитой перед безымянной смертью.

«Дедушка умер не сейчас, — комментирует Кейси, — он умер, когда его оторвали от дома»[51]. В этой эмиграции нет пророчеств, никто не указывает евреям или троянцам землю обетованную. Они пускаются в путешествие по светской причине, из материального расчета. Чтобы уйти от нищеты, а не к какой-то цели. Ради лжи, которую они рассказывают самим себе: «Там мы найдем лучшую жизнь». И с каких пор расчет может заменить веру? Стейнбек не задает этот вопрос прямо, но помещает его между строк.

Путешествие продолжается. Роза жалуется на неудобства. Она обещает, что сойдет в следующем городе, и соблазняет мужа буржуазными удобствами: он станет техником, купит ей холодильник, они будут жить иначе. Мужчины же общаются между собой, решают технические проблемы.

Архетип, как мы видим, переживает тысячелетия и остается практически неизменным. Мы тоже думаем об «Энеиде». Там тоже враждебные силы были женскими, Юнонами или гарпиями; там тоже женщины хотели сойти, поджигали транспортные средства, саботировали поездку. Героям тоже приходилось разбираться с нетерпением, с тоской по дому своих жен. Но архетипы представлены здесь переодетыми в одежду времени. И, как царские одежды этой американской «Энеиды» превратились в лохмотья, так и сила героев растворяется и утекает, в то время как женское непостоянство трансформируется в величественную стабильность.

Роза не сходит. Напротив, мужская сила покидает отца на каждом шагу, в лице мужчин, которые, начиная с деда, его оставляют. Группа мужчин, синтез отца, богатый лицами и потенциалами, распадается.

Мужское единство опустошается вместе с пирамидой патриархата. Она расширяется горизонтально, и каждый кусочек идет своим путем. Первым сходит Ной. Это просто. Этот селянин добирается до пункта назначения, главы 18. В этот момент пути он находит речку, где можно выжить, ловя рыбу, он садится на берегу, чтобы больше не пускаться в путь. Надежды других — найти работу, построить новую жизнь, адаптируясь к преобразующемуся обществу, — его не интересуют. Его интересует не жизнь, а выживание. Старший сын, сталь в цепи отцов, вычеркнут из книги Джоудов. Эту потерю не знаменуют даже похороны.

Роза жалуется, ссылаясь на свою беременность, но не сдается. Мы уже не удивляемся, когда узнаем, что не она, а Кони — ее муж, будущий отец, — сходит и бежит.

Тем временем, в дискуссиях на пути, глава семьи все более уступчив, не уверен в себе, идет на поводу у группы, которая принимает решения вразброд. Мама от внешнего круга продвигается к центру, сначала молча, потом заявив, что, когда она говорит, не ждет возражений. Она защищает не одного или другого, но единство семьи, которая постепенно признает за ней эту силу. Теперь Великая Мать, великая Юнона, покровительствует путешествию.

Поэт продолжает использовать «Энеиду», потрясать мышцами мифа и подавать нам ее перевернутой.

Джон Джоуд пьет и бунтует, отказываясь от путешествия. Чувствительный дядя, самый старший в семье после смерти деда, открывает для себя старость не как форму мудрости, а как упрямство и отказ: качества, которые объединяли

его с дедом и Анхизом в его отрицательных проявлениях. Как и дед, дядя Джон был посажен в транспорт против своей воли.

Кейси не объявляет о своем желании покинуть группу. За него это решает эпическая судьба.

Троянцы вынуждены были захватывать земли, обитатели которых выгоняли иностранцев. Джоуды прибывают в Калифорнию, где им постоянно говорит «нет» внешняя власть — шерифы — и внутренняя — Супер-эго. Кейси позволяет посадить себя в тюрьму вместо Тома, у которого еще не сведены счеты с правосудием; с этим мужская личность делает шаг назад. Проповедник был элементом, способным заполнить пустое место в роли отца. Он умеет слушать, он дальновиден, верит в обучение и умеет задавать правила, личные, но справедливые. Он не только верит: он умеет убеждать, он эффективен. В нем молодой порыв объединяется с принципами, как должно быть у отца. Том-младший чувствует стремление к справедливости: но фактически его увлекают крайности и следующее за ними саморазрушительное скольжение. Проповедник, который, вместо Тома, садится в тюрьму, символизирует то, как самоопределение оказывается в тюрьме Супер-эго; а крик протеста против этого ограничения зрелости и свободы остается Тому, великодушному и беспорядочному.

В тюрьме Кейси вновь открывает в себе проповедника: социальной справедливости. Его освобождают. Но, для равновесия психологического рассказа, он должен исчезнуть. Человек не может играть роль Юпитера, бога, который указывает странникам правильный путь.

Том встречает на своем пути Кёйси, который организует забастовку. Но реакционеры нападают на проповедника ночью и разбивают ему голову. В этот момент семья Джоуд теряет второго сына: чтобы отомстить за Кейси, Том берет в руки дубинку и мстит, убивая. Его можно узнать, потому что его в свою очередь ударили палкой по лицу, и он отдается борьбе без надежды, зная, что сейчас его пребывание в семье не принесет единства, а причинит ущерб.

Могли бы троянцы обосноваться на далеких итальянских берегах, если бы у них не было Аскания? Могут ли Джоуды восстановить жизнь Джоудов, оставшись без сыновей, только с Элом? Эл растет: он все с большей ловкостью устраняет неполадки в технике, но ничего не может сделать с неполадками в отце.

Путешественники все больше устают. Мужчины объединяются, чтобы что-то решить, только тогда, когда женщины, а вернее мама, заставляют их это сделать. Без духовного наставника, без пункта назначения — пункта прибытия, предначертанного судьбой, — они не находят целей, а материальные обстоятельства их очень тяжелы. Но отец, еще больше чем трудностей, больше, чем уколов принуждения, боится принимать решение: сказать громким голосом, что альтернатив больше нет, что надо снова уезжать. И, когда он сгибается под давлением этого страха, он уже больше не отец.

Нас предупреждали: отец — это тот, кто учит семью тому, что справедливо, и дает ей средства для воплощения этого знания в мире. Он может дать идеи или любовь только в форме конкретных дел. Парадокс в том, что отец извечно привык к этому порядку, то есть бессознательно осуществляет это. Если сейчас

не хватает действий, то этого он тоже не осознает, потому что ошибка уже стала его внутренней реальностью: он получил психические стигматы еще раньше, чем материальные.

«Когда-то, — папа Джоуд старается перенести свою неудачу вовне, — мужчина принимал решения (...) Сейчас кажется, что это должны делать женщины. Настало время мужьям подумать о плетке». «Бери плетку, — отвечает жена, — но, пока ты не добудешь нам хлеба и место, где жить, клянусь, что у тебя не хватит пороху воспользоваться ею»[52].

Когда-то женщины тратили свои силы на комментарии и толкования. Отец не делал этого, пока не прекратил действовать. Сейчас он сомневается — бормочет, потому что это то же самое, выраженное звуками, — пока время не сомкнётся с фактами. В конце он даже потратит время на самую неподобающую отцу вещь: будет просить прощения.

Путешествие еще немного продолжится. Роза больше не жалуется. Настало ей время рожать. В суровых условиях ребенок рождается мертвым.

Семья Джоудов все потеряла. Она встречает остатки другой разорившейся семьи. Отец — мужчина среднего возраста, как и папа Джоуд. Но он умирает от голода. Его организм уже не принимает твердую пищу. Ему надо что-нибудь купить, хотя бы молока.

Этот неизвестный отец символизирует телесно ту стадию, до которой отец Джоуд дошел духовно. Это терминальная стадия. Мужчины хотели бы что-либо сделать для него, но женщины реально могут ему помочь. Мама подводит дочь в уголок, к умирающему. Роза дает ему грудь: у нее есть молоко, а ребенок умер. Последнее питание отец получает от матери.

Таков, собственно, роман «Гроздья гнева» (1939): рассказ о крестьянах периода Великой Депрессии и об усыхании отца.

Для того, чтобы придать ему эпическую глубину, Джон Стейнбек вдохновлялся «Энеидой» Вергилия. Может быть, все было вовсе не так, но это неважно. Потому что, мы не устанем повторять, бессознательные намерения часто достигают лучших результатов, чем осознанные, с их подслащенными ходами. Факт в том, что «Гроздья гнева» — одна из самых знаменитых книг этого века, далеко за пределами участвовавшего поколения и великой страны, для которой она была написана, и это, независимо от ее литературных качеств, говорит, что глубина была достигнута. Волна, на которой распространялась ее популярность, — не столько спад экономического цикла, сколько патриархальный закат. Тот факт, что внимание почти всегда уделяется первому, означает лишь, что второе нас так пугает, и мы предпочли бы вообще о нем не говорить. Эта книга поразила читателя, потому что вновь вынесла на сцену безвременные темы «Энеиды»: отец и путешествие.

Его рассказ эпичен, потому что описает всеобщее событие с тысячелетней историей. Путешествие Джоудов — миграция не только общественная, но и психологическая. Их упадок — не только упадок сельскохозяйственной экономики. Это определенное указание на уход от образа отца, который получал задачу от небес и должен был реализовать ее на земле, в то время как нынешние отцы следят за счетом в банке.

Часть IV
Отец сегодня

Глава 18

Превращение отца в исчезающий вид

Прочь ты исчезни! не твой здесь отец пирует с друзьями!

Илиада, XXII, 498

Казалось, что, вместе с европейской цивилизацией, отец также завоевал весь мир. Но напротив, во впечатляющем количестве случаев он уже прекратил свое существование. Мир обращает внимание на событие, только теперь, когда оно уже совершилось.

Было сказано, что отец стал роскошью. Его традиционные психологические функции осуществляются все меньше. Его материальные задачи переходят в руки матерей или каких-либо институтов. Его психологическая коррозия уже сопровождается буквальным исчезновением отцов. Сколько отцов далеки от детей, и в течение какого времени? Настало время посмотреть кое-какие данные.

В последнем веке в Западном мире произошли более существенные изменения профессий, чем за всю остальную историю. Уменьшение доли крестьян и ремесленников в общем числе работающих похоже на геноцид традиционных профессий. Эти изменения отдалили детей от родителей, особенно от отца. Следовательно, в свою очередь исчезновение традиционного главы семьи кажется патрицидом, уничтожением отцов. Отцы, однако, не были уничтожены: они либо отдалились от детей, либо совсем их покинули.

Это изменение стало все более быстрым, и с Западного мира уже распространилось на другие страны земного шара. Отец зарабатывает все больше денег, но все меньше времени проводит с детьми. Он считает деньги *для* жизни ребенка, но играет все меньшую роль *в* его жизни. Согласно всем исследованиям, вне зависимости от эпохи, отцы занимаются детьми намного меньше, чем матери. Было даже подсчитано, что американские отцы проводя/ с детьми семь минут в день.

В главной стране Западного мира эти несколько минут — это жизнь с отцом. У многих детей нет даже этого. В каком числе случаев дети живут *без* отца? Уже в 70-е годы статистика говорила, что, с начала века, в Соединенных Штатах количество разводов возросло на 700 процентов. Четверо детей из десяти, рожденных в то десятилетие, провели детство с одним из родителей: то есть почти всегда с матерью.

Прогрессия не была постепенной. В 1900 на тысячу супружеских пар приходилось только три развода, а в 1960 еще девять. В 50-е гг. даже наблюдался регресс и, вследствие увеличения средней продолжительности

жизни, в конце десятилетия процент детей, которые жили с обоими родителями, был самым высоким за все времена. Уменьшение количества отцов происходит в американском обществе 60-х, 70-х и 80-х, сопровождаясь взрывом разводов и рождения детей вне брака. Исследование рожденных в 1980 г. предвидело, что, к достижению восемнадцати лет, 70 процентов детей из белых семейств и 94 процента афроамериканцев останутся с одним из родителей. Только в 90-е годы опять замечаются замедление и обращение вспять тенденции.

Ничто, ни в какую из эпох, не воздействовало так решительно на частную жизнь: даже после гражданских войн, эпидемий чумы и вторжений варваров семья постепенно возвращалась в прежнее состояние. Но в конце XX века больше половины американских детей проводят детство — частично или полностью — только с одним из родителей, в то время как количество рожденных вне брака превысило 30 процентов.

(Ситуация в Европе более разнообразна: рождения вне брака приближаются к половине в Скандинавии, около трети во Франции и Великобритании, но в странах Средиземноморья их намного меньше.)

Согласно одному исследованию о детях разведенных родителей, проведенному в Соединенных Штатах в тревожные 80-е годы, более 50 процентов из них не видели отца больше года, и только треть встречалась с ним раз в месяц. Другое исследование того же десятилетия указывает, что только 20 процентов разведенных отцов видели детей хотя бы раз в месяц, и половина из них прервала всякие отношения с детьми, когда те достигли подросткового возраста. Можно подумать, что это отсутствие привязанности было реакцией на тот факт, что разведенные отцы с бюрократической точки зрения были обязаны кормить тех, кого породили. Но и в бюрократическом смысле отцы исчезают: исследования сообщают нам, что, через десять лет после развода, 79 процентов американских отцов либо не платят полные алименты, либо просто пропали.

Помимо статистических результатов опросы показывают, что их составители не знают толком, какие критерии учитывать в их исследованиях. Согласно исследованиям, контакт с ребенком, с которым отец не живет, раз в две недели или ужин раз в неделю могут быть *relatively limited, frequent* или *very frequent* (сравнительно ограниченный, частый, очень частый). Разные исследования совершенно по-разному определяют одну и ту же вещь. И так как эта вещь — отношения с отцом, это означает, что отношения с отцом принадлежат области идеологии, субъективных убеждений, которые не проверить и насчет которых не прийти к единому мнению. Они не представлены в качестве непосредственной реальности, которая может быть обсуждаема в практическом русле.

Как всегда, когда происходит революция, не удается отслеживать самые новые данные и собирать их, пользуясь постоянными методами. Три больших тома Майкла Л. Лэмба содержат очень полное исследование роли американского отца в развитии ребенка. Между первым томом (1976) и третьим (1997) Лэмб констатирует, что отцы, живущие с детьми, стали больше ими заниматься, что воодушевляет. Но это улучшение сопровождается взрывным ростом числа семьей без отца.

В основе этого последнего факта находятся самые разные реалии.

В среде состоятельных людей и среднего класса отсутствие отца вызвано, прежде всего, решением прервать неудовлетворяющий брак. В этой части общества развод распространяется с большой скоростью и, хотя часто вырождается в «потребительство семейных альтернатив», все же является использованием права и выражением свободы. Его результатом также является отказ от отцовства, но этот отказ представляется выбором.

В бедных кругах отсутствие отцов — это не выбор, альтернатив здесь нет, это данность. Этот слой общества сосредоточен в гетто для черных. Очень молодые пары, экономически несостоятельные и не способные ужиться вместе, рождают детей, не вступая в брак или вступая в него легкомысленно, из фатализма: с самого начала велика вероятность того, что новоиспеченная мать останется без мужчины. Она продолжает жить со своей семьей или, скорее, с матерью, бабушкой и так далее, потому что это отсутствие отца может продолжаться в течение поколений. Отцовство может отсутствовать с момента рождения ребенка, даже с момента его зачатия.

В 1965 г. Д. П. Мойниган опубликовал для американского правительства исследование «Негритянская семья, повод для национального вмешательства». Война за независимость, в которой Америка пролила больше крови, чем в обеих мировых войнах вместе взятых, должна была освободить цветное население от рабства. Через сто лет после этого в отчете Мойнигана говорилось, что шрамы рабства по-прежнему видны в проблемах афроамериканской семьи и представляют собой серьезную проблему для будущего Америки.

Половина чернокожего населения уже достигла положения среднего класса. Чтобы добиться этого результата, она придала отцу даже большее значение, чем он имеет в традиционной белой семье: это подтверждает, что в Западном мире, и в американской семье в особенности, существует связь между успехом этнической группы и сильным присутствием отца. Другая половина афроамериканцев отчаянно деградировала: урбанизировалась, поселилась в трущобах, где незаконнорожденных стало больше, а присутствие отца уменьшилось. Вслед за этим выросли преступность и наркомания. Опираясь на данные антропологических исследований, Мойниган утверждал, что проблема имеет долгую предысторию.

Современные отцы научились своей роли от отцов предыдущего поколения. Как говорилось в Главе 1, согласно М. Мид, изначально решение было принято в начале цивилизации, когда мужчины предпочли кормить женщин и их детей: самцы-животные этого не делают. Это было намерение, которое стало традицией, то есть стало передаваться из поколения в поколение. Если не настаивать на этой традиции, существует риск забыть ее. Речь идет не об инстинктивном акте, таком, как кормление грудью: это зависит от правил общества и обучения. В период рабовладения правила изменились: между рабами брак не заключался, и отеческий долг по содержанию детей не передавался. Отец-раб мог не принадлежать тому же владельцу, что и мать; он мог быть продан и оторван от маленького ребенка, в отличие от матери. Такие условия продолжались веками и ослабили отцовство. Ответственность за детей была возложена на матерей.

С психологической точки зрения, произошло нечто вроде регресса к животной жизни. Хозяева благоприятствовали этому и основывали на этом свое превосходство. Близость и взаимозависимость между рабом и хозяином неосознанно делали их очень похожими. Белые мужчины также деградировали до доотцовского состояния, когда соединялись с рабынями и делали их беременными. Когда рождался ребенок, он не только не признавался ими, но мог быть продан отцом-хозяином вместе с матерью-рабыней. Как и в животном обществе, ребенок принадлежал одной лишь матери. Для отца эти дети были лишь товаром.

Мойнигана критиковали в основном потому, что он выдвинул объяснение, согласно которому отсутствие отца вело к деградации. Другие переворачивали картину, утверждая, что причиной всех проблем семьи была общественно-экономическая нищета. С уверенностью в Соединенных Штатах можно наблюдать только одну связь между двумя обстоятельствами: чем более маргинальна группа, тем чаще в семьях отсутствует отец. Как бы то ни было, выводы отчета Мойнигана были драматичными; его заслугой было то, что он заговорил о причинах недостатка, а не только о его существовании.

В последующие десятилетия тяжесть проблемы только усугублялась. Одно исследование показало, что, на момент его проведения, 85 процентов цветных молодых людей, которые стали отцами в возрасте моложе двадцати лет, не живут с ребенком. Среди белых молодых людей с такими же характеристиками не живут с ребенком только 23 процента отцов. Наконец, распространение наркотиков и молодежная преступность очень сильно возросли, и подростки без отцов всегда занимают первые места в группах с такими проблемами. 85 процентов американских мужчин-заключенных росли без отца . Так что сигнал тревоги, поднятый в отчете «Негритянская семья, повод для национального вмешательства», был совершенно оправдан.

Погрешил Мойниган в том, что отнесся к проблеме с оптимизмом. Он указал на негуманность рабовладения в Соединенных Штатах, противопоставив его бразильскому образцу, и традиционной большей терпимости в Латинской Америке.

В Бразилии тяжесть проблемы исчезновения отцов бесспорна, хотя трудно сказать, насколько она связана с историей рабовладения и тем, что иммиграция из Европы была, изначально, только мужской. Парадоксально, но это создало традицию семьи без отца. Европейцы брали туземок в любовницы, но редко основывали с ними законные и стабильные браки. Вероятно, процент семей без отца был драматически высок на протяжении всей истории Бразилии. Последние исследования гласят, что, в первой половине XIX века в бразильских городах от 30 до 40 процентов семей имели своей главой женщину.

Сегодня в городской зоне Сан-Паулу, где условия приближаются к североамериканским трущобам, чернокожие семьи без отца находятся в самом низу общественной лестницы. Отсутствие отца заключает их в порочный круг, и все повторяется в жизни следующего поколения: в семьях, где есть отец, даже при одинаковой нищете и цвете кожи, больше вероятность, что дети учатся, а где его нет — работают с детства.

Северо-запад Бразилии некоторым образом перешел от колониального общества к современным трущобам, так и не входя в современность. Здесь, в бедных кварталах Ресифе, самая распространенная форма семьи - *матрифокальная.* Под матрифокальной семьей подразумевается такая, где есть отец, но он не играет важной роли. Связь между матерью и дочерью сильна, между отцом и детьми — очень слаба, семья вращается вокруг матери, важные решения принимают женщины и так далее.

В матрифокальных семьях Ресифе отец присутствует непостоянно: в какие-то периоды он может исчезать. Когда он дома, он пассивен. Дом принадлежит женщинам: они планируют жизнь. Жизнь мужчин любого возраста, как правило, происходит в движении, в группе или в поиске сексуальных приключений. Со временем, в рамках жизни одного поколения и все больше от поколения к поколению, мужчины теряют контроль над домом и над собственной женщиной: «рогоносец» — самое типичное ругательство. Втянутые в доисторическую форму функционирования, из отцов они опять становятся просто мужчинами. В итоге, когда экономическая ситуация семьи укрепляется и, может быть, дети уже зарабатывают, жены просто выгоняют мужей, как делают пчелы с трутнями, самцами-паразитами.

Отношения между маргинальностью и отсутствием отца приобретает здесь неожиданное направление. Была мысль, что его отсутствие вызвано нищетой. Но, когда нищета преодолена, отец не возвращается: напротив, его присутствие объявляется бесполезным и решительно устраняется. Очевидно, что он не возвращается, потому что теперь отца больше нет, есть только мужское стадо. Хотя это пример из далекой бразильской провинции, он *современен* и показывает животную ненадежность, трагическую заменимость мужчины.

Улисс заставил себя ждать двадцать лет, но вернулся и устранил паразитов. Если же после сотни лет отца до сих пор не видно, Пенелопа объединяет усилия с Телемахом и выгоняет паразитов сама.

Мы знаем, что существует связь между отсутствием отца и нищетой семьи. Мы должны будем сейчас провести сравнение между англо-саксонской Северной Америкой и Америкой латинской. В Северной Америке эта проблема прежде всего касается цветного населения, живущего в городской нищете, и которая, в свою очередь, составляет не более 5-6 процентов от всего населения. До недавнего времени большая часть Соединенных Штатов ее не знала. Протестантская традиция придала отцовской фигуре такую ценность, что она казалась непобедимой.

В Латинской Америке сочетание между отсутствием отца и маргинальностью имеет разные аспекты, часто более трагические и обширные. Здесь бедные сословия составляют больший процент от общего населения и не так резко отделены от среднего сословия, которое в свою очередь с усилием старается достичь социоэкономической стабильности, свойственной более богатым странам. Отец может отсутствовать не потому, что он развелся или ушел из семьи, но с момента рождения ребенка, изначально. Связь между нищетой и отсутствием отца печально заметна. Это не «только» наследство рабовладения и происходит не только в гетто.

В одной лишь Мексике семей, во главе которых стоит женщина, 2,8 миллионов, что составляет 17,1 процентов от общего количества. Особенно впечатляет, что доход семьи, во главе которой стоит женщина, составляет лишь треть от среднего дохода семьи, во главе которой стоит мужчина.

С психологической точки зрения в Латинской Америке попытка создавать семьи с женщиной во главе поощрялась влиянием католической церкви на светскую жизнь. Она никогда не придавала фигуре отца в семье такой вес, как пуританская и еврейская традиции. Очевидно, что римская церковь так и не выработала образ отца. Следовательно, она не нашла способов преподать его сыну в качестве образца. Но именно этим трудным воспитанием не следует пренебрегать, если мы считаем, вместе с Маргарет Мид, что отец не дается нам природой. Если общество хочет присутствия отца, надо настаивать на этом много больше, чем на том, чтобы получить мать.

Здесь мы можем рассмотреть разницу между развитием североамериканского и латиноамериканского общества в том, что касается образа отца. Справедливо говорить о разнице политической, религиозной, культурной среды: но к этому еще следует добавить разную роль отцов. Ни технология, ни природные ресурсы, ни изначальное накопление капитала, ни другие культурные аспекты недостаточны сами по себе, чтобы понять разницу между двумя континентами. По Рио Гранде проходит также граница отца. *Без сильного среднего сословия, укрепленного сильным отцом, ни одна страна или группа, похоже, не могут войти в современный образ жизни. Latinos,* которые преодолевают границу Соединенных Штатов, интегрируются в американское общество и выделяются меньше, чем афроамериканцы, потому что у них есть семейная структура и более стабильные отцы.

Мы затрагиваем здесь мало обсуждаемую тему раскола континента и трудности преодолеть границу Рио Гранде. Семьи, которые въезжают в Соединенные Штаты с юга, часто надеются обрести, и символически, и материально, сильного отца. Отцы-трутни, занятые поглощением спиртного и погоней за сексом, остаются на месте. Таким образом, неосознанно, на антропологическом уровне, повторяется то, что уже критиковалось в экономике: богатый мир пользуется задешево ресурсами бедного мира, а последний вынужден использовать то, что осталось.

Помимо громадной разницы между Северной и Южной Америками, между афроамериканцами и коренным населением, наблюдается потеря образа отца под влиянием культуры европейских иммигрантов. Для того чтобы подняться в обществе, был необходим отец. Но, так как средние и высшие слои общества занимали белые, неграм и индейцам он не был необходим: напротив, его отсутствие некоторым образом способствовало укреплению сложившегося порядка. Хоть и разными способами, в первые века европейская иммиграция в Северную и Южную Америку постаралась монополизировать патриархальный уклад семьи, чтобы укрепить свое влияние на две другие большие этнические группы. Мужчины, в основном черные, должны были работать; женщины, в основном индианки, были нужны не только для работы, но и для секса.

В испанской и португальской Америке эта практика в течение долгого времени оставалась главной, потому что изначально иммигрировали из Европы

только мужчины: в XVI веке в Перу среди испанцев на семь-восемь мужчин приходилась одна женщина. Изнасилованная, униженная индейская женщина оказывалась, однако, необходимой для белого мужчины: она была нужна, чтобы кормить его, чтобы дать ему детей [2]. В этой ситуации цветной женщине, более или менее сговорчивой наложнице, колонизатор давал большее или меньшее количество власти, которой не было у цветных мужчин. Последние, индейцы и чернокожие, на протяжении веков терпели эту «кастрацию», теряя образ того, кто делает выбор и берет на себя ответственность; кто учит детей взрослой жизни и является отцом. Разные исторические толкования считают феномен Мачо и яростную ревность, которые до сих пор встречаются в народных латиноамериканских кругах, непосредственным наследием Конкисты, когда женщины были «завоеваны» европейцами .

В ограниченных условиях, таких, как колонизация и жизнь на границе, где к побежденным относились как к чему-то среднему между человеком и животным, можно наблюдать некоторое возвращение к животному обществу. Разрушается цивилизованный моногамный контракт, согласно которому каждому мужчине выделяется женщина. Как это бывает у приматов, группа более сильных мужчин старается контролировать большее количество женщин, в то время как группе менее сильных остаются крошки женской вселенной.

Патриархальная иерархия приобретает в этих случаях забавное деление на слои. Вверху находятся белые мужчины. Потом следуют европейские женщины. Так как этих мало, далее следуют цветные женщины. Цветные мужчины находятся в самом низу [4]. Им запрещено быть отцами, как и их женщинам запрещено быть матерями. Мотивы у такого запрета психологические, социологические и, к сожалению, чисто зоологические: мы уже знаем, что каждый откат к животному обществу сопровождается регрессом отцовства.

После первой колонизации в Латинской Америке наступил период, когда было уравновешено количество европейских мужчин и женщин. По мотивам, скорее статистическим, чем законным, уменьшилось насилие по отношению к цветным женщинам. Но им часто не удавалось создать настоящие семьи с мужчинами своей этнической группы, потому что те уже разучились быть отцами. В самой нижней части пирамиды сохранилось древнее зло: семьи, во главе которых стоят женщины, свидетельствуют о его постоянстве и, в то же время, о попытке справиться с ним при отсутствии отца.

Как известно даже не итальянскому читателю, в моей стране наблюдается раскол между севером и югом, хоть и не такой драматический, как Рио Гранде, но теряющийся в веках. В этом случае также отставание юга на пути к современности исследовалось в основном в терминах экономики, хотя о нем можно подумать в свете только описанных выше психологических проблем.

Конечно, в южной Италии нет множества детей без отца, но часто встречается слишком большая ответственность матерей, вплоть до того, что мать можно считать главой семьи. «Материнские» ожидания в области обучения — воспитать милосердных и терпимых граждан, — находятся под влиянием того факта, что в течение тысячелетий католическая церковь была единственной непрерывной и неоспоримой властью, в то время как более свежие течения, такие как Реформация и Просвещение, не достигли этих

областей. Сама мафия исследовалась [5] как общество, основанное по архаическим законам Великой Матери, циничным и равнодушным в области морали, где мужчины, которые притворяются мужественными, игнорируют древние завоевания отца: прорыв к цивилизации, чувство закона. Вместо отца здесь — крестный отец.

У севера другая история, на которую больше повлияло Возрождение с его интересом к человеку как таковому, открывшее путь для протестантской Реформации. Но на протяжении веков и здесь Римская церковь — по ее собственному определению, Мать Церковь — оставалась единственной стабильной и влиятельной властью.

В целом в Италии исчезновение отца, вызванное индустриализацией по модели, описанной Митшерлихом, началось позже, чем в Северной Европе и Северной Америке. Но, поощряемое предрасположенностью Церкви и негативным примером Муссолини, на протяжении одного поколения оно наверстало свое отставание. Одна моя пациентка, комментируя историю своей семьи, так с грустью подвела итоги: «Отец-крестьянин был тираном, но он был отцом. Отец-рабочий сегодня — кретин, сидящий перед телевизором».

Эти краткие соображения уже позволяют понять, каким редким стал отец в современном мире.

Исследуя страну за страной, мы лишь наблюдаем локальные проявления всемирного изменения. В Германии конференции Телленбаха по проблеме отца проходят уже много лет. Наблюдая две крайности общественной лестницы — молодых шизофреников, происходящих из неблагополучных сословий, и лидеров 1968 г., которые происходили из самых благополучных слоев, — немецкий психиатр замечал, что отсутствие отца в этих группах намного выше среднего. Эти выводы прямо соответствуют отсутствию отцов в крайних сословиях американского общества, о котором мы только что говорили.

Разумеется, трудно сопоставить высшее и низшее общественные сословия в любой стране. В низших слоях отец может отсутствовать полностью, а сын становится преступником или психически больным. В верхних и средних классах сын не приспособлен к жизни, отец далек по причине развода или просто слишком занят. Именно последняя проблема становится все более распространенной и ведет к дегенерации в будущем.

Те, кто занят ручным трудом, жертвы объективной ситуации, которая резко разделила отцов и детей, уже с первой индустриализации, постепенно пережили некоторые улучшения, позволившие отцам проводить время с семьей. С теми же, кто занимал более высокое положение, произошло обратное. Эти отцы разводятся более легко, чем другие. До какой степени культурные и экономические средства позволяют такому отцу сохранять контакт с ребенком?

Когда-то отец владел землями или фабрикой. Он мог наблюдать за ними с соседней виллы, где жил вместе с семьей. Сегодня у его потомков, будь они директора, предприниматели, профессионалы или финансисты, жизнь очень сложна. Они больше не контролируют свое рабочее время, рабочие дни удлинились, вобрав в себя все свободные моменты, в то время как поездки, длительные и непредсказуемые, часто держат отца вдали от дома. Его общение с сыном затруднилось и в культурном отношении, потому что в этих

общественных слоях изменение идет быстро. Отец не может научить сына своему делу, потому что профессии от поколения к поколению меняются более радикально, чем у более простых людей. Он не может посвятить сына в социальную группу, потому что с глобализацией семья переезжает; он не может передать сыну ценности, потому что они такие же относительные, как и все остальные обстоятельства.

Именно отсюда начинается новый виток в исчезновении отца. Подсчитано, что в крупных городах Западного мира, около половины семей - это повторные браки, воспитывающие детей, рожденных в других союзах. В этих случаях дети почти всегда остаются с матерью.

Это явление по сути началось с двух крайних сословий общества и движется к центру: постепенно оно проникает в средний класс, который принимает новшество, потому что то приходит сверху: он не стало бы подражать тому, что приходит снизу. Маргинальные сословия крупных городов — где сохраняется недостойный отец, изобретенный в прошлом веке, — продолжают жить так, но не «заражают» другие общественные группы и не увеличиваются больше определенного уровня. Для более благополучного населения они служат негативным примером, и во многих метрополиях их число даже сокращается. Уменьшение количества отцов развивается в основном с распространением примера «свободы» высшего сословия.

Отсутствующий отец проникает все дальше по миру: из Америки в Европу, в страны Третьего мира; из метрополий — в города поменьше, в сельские области; наконец, из верхов общества — в более нижние слои. Тревожность, вызванная этим, растет. Еще раз приходит на ум зоологическая параллель: часто мы замечаем, что некоторое животное вымирает, когда уже слишком поздно вмешиваться и бороться за его выживание.

Предположим, что в этом сравнении есть правда. Как мы говорили во Введении, психологическая история всегда коренится в далеком прошлом. Мы говорили, что упадок отца начался века, даже тысячелетия назад. Но большая часть отцов не поддались, хотя упадок мог вызвать их окончательное падение. Кажется бессмысленным изучать строение, которое рушится. Но обрушение здания не означает окончания истории эрозии и не перечеркивает истории здания: мы хотим узнать то, что хотим, не для того, чтобы изменить курс истории, но чтобы оставить ее в памяти детей. По сути, научить их памяти значит дать им отца. Ведь взгляд отца передает историю и передается в ней, преодолевает текущий момент и составляет время. Бросаемый вперед, он дает замысел. Бросаемый назад, он исследует и придает смысл тому, что было: в прошлом соответствие замысла — память.

Исследование не вызывает у нас ложного оптимизма. Отсутствие и недостойность отца взорвались с обнищанием пролетариата в ходе промышленной революции. Но, когда этот общественный класс вышел из нищеты, отец остался отсутствующим и не приобрел вновь достоинство.

Второе, отчаянное удаление отца случилось в Западном мире с великими войнами XX века. Но, когда вернулся мир, отцы не вернулись. Хотя Улисс пережил войну, он оказался вытеснен и не пережил обратного пути. Мировые войны стали не только конфликтами, отнявшими отцов у миллионов детей. Они

стали также первыми войнами, в ходе которых у миллионов выживших были отняты дети. Они больше не смогли вновь стать отцами. Для семьи, по сути, изменилось немногое. Отцовство все равно умерло: не на воине, а по возвращении домой.

Глава 19
Самоустранение отца: обращение к прошлому

Теперь попробуем взглянуть по ту сторону цифр. Исчезновение отцов — это психологическое крушение, в их собственном сознании и в коллективном. Нарушается равновесие и тех, кто страдал при патриархате.

Отцы внушали уверенность коллективной психологии. В коллективном воображении их присутствие было присутствием ответственности, хотя мы никогда не узнаем, насколько это было так в повседневной реальности. Их исчезновение вызывает путаницу и сожаления, потому что ответственности по определению невозможно лишиться. Исчезновение и критика образуют порочный круг: отцы ищут новые мотивы, чтобы удалиться и избежать своей роли. В эпоху резких экономических перемен отец ведет себя, как предприятие в кризисе: все говорят о нем плохо, его акции сначала повышаются, потом падают, потом ничего не стоят; никто больше не дает ему в кредит, все требуют, чтобы оно немедленно выплатило свои долги. Оно доходит до банкротства и прекращает существовать.

Естественно, мы не говорим, что все было именно так. Скорее, все склонно пойти именно так, но с большим размахом и с течением времени, в величественном бессознательном упадке. Снаружи, в каждодневной жизни, это более трудно поддается наблюдению. Некоторые отцы, которым удается с успехом быть ответственными, делают вид, что их роль не достигла фазы упадка.

В каждодневной практике аналитик встречает постоянные подсказки об отставке отца в бессознательных, но радикальных формах, которые оставляют след на этом поколении. Часты ситуации, когда мужчина регрессирует до животного и становится просто мужчиной, отказываясь быть отцом и мужем. Инстинкт мужчины-самца ищет оплодотворения самки, без отношений с нею и без отцовства по отношению к детям. Если такие случаи постоянно повторяются у аналитиков, у которых нет многочисленных клиентов, речь идет не об отдельных случаях. Это симптомы общего бегства мужчин от цивилизованности. Потребительское отношение к сексу подрывает моногамию, а это в свою очередь угрожает существованию отца, который ее изобрел.

Пример подают мужчины, которые больше не хотят свою женщину, когда она беременеет. Вдруг они перестают понимать сами себя.

С начала беременности в сексуальной жизни пары возникает нечто новое. Нельзя конкретно предвидеть, что именно. У некоторых партнеров сексуальность понижается, у других повышается. Здесь нас интересует не это. Мы можем предположить, что в большинстве случаев, когда наступает беременность, инстинкт и мощные архетипические эротические образы меньше

склоняют мужчину к единству с женщиной, ведь его задача уже выполнена. Животное, или то, что остается от животного в человеке, поворачивается в другую сторону: женщина — к защите зародыша, мужчина — к оплодотворению другой женщины. Правила цивилизации подтверждают женский инстинкт, но пытаются пресечь мужской, удовлетворение которого внесло бы в общество беспорядок. Пара должна оставаться единой только на основании архетипов материнского и отцовского: при условии, что мужчина продолжает узнавать себя в последнем.

Мы полагаем, что именно для этого некоторые племена заставляют мужа отождествлять себя с задачей жены посредством симпатической беременности, резко отвлекая его от новых сексуальных интересов. В симпатической беременности мужчина некоторым образом захвачен своим долгом по отношению к ребенку. Он переживает все боли и тревоги жены. Он может оставить свои каждодневные занятия и проводить в постели больше времени, чем она. В целом, племенная цивилизация не придает отцу такой ценности, как Западный мир: можно подумать, что в моменты, когда необходимо подчеркнуть роль родителя, от него требуется опуститься в нерушимую форму матери. Таким образом племя, которое живет в условиях близких к природе, борется с пугающей частью инстинкта и укрепляет моногамную связь.

Почему «примитивное» племя, способность которого ставить и исполнять волевые задачи ограничена, может полностью сдерживать такой мощный импульс, как сексуальный? Потому что располагает мифами и обрядами, которые выводят на сцену мир архетипов, сила которых больше, чем сила инстинкта. Муж европейский или американский, сделав беременной жену, хоть он и жил в мире, который упразднил мифы, до некоторого времени находился под защитой мощнейшей архетипической фигуры: фигуры отца, который сохранял все свои бессознательные ассоциации с Гектором, Улиссом, Энеем. Коллективная и вечная модель компенсировала неизбежные слабости индивидуума. Но с тех пор, как бытие отца влечет за собой больше чувства вины, чем гордости, эти ассоциации погрузились в бессознательное настолько, что стали неразличимы.

Естественно, во все эпохи случалось, что многие мужчины, исполнив «долг» и зачав потомка, обращались к другим женщинам. Разница во власти между мужчиной и женщиной давала первым большую свободу; во многих случаях, например, в Греции, чувственность и ответственность перед семьей были отдельными вещами. В других обстоятельствах, например, в Париже или Венеции XVIII века, женам тоже предоставлялась сексуальная свобода. Мы говорим не об этом. Мы не хотим обсуждать индивидуумов, поведение которых соответствует коллективным ценностям, в которых они живут, и поэтому нисколько не терзаются. В таких условиях мужчины могли изменить беременной жене, не испытывая неудобств, потому что им разрешала это культура и потому, что они уже отождествились с отцовством: они продолжали чувствовать себя цивилизованными.

Мы уже вспоминали, что подъем ребенка на руках у римлян было психическим рождением ребенка как ребенка и *отца как отца.* Современный мужчина, даже если он намеревается быть отцом, с одной стороны, обладает

инстинктом, с другой — цивилизованностью, которая хранит обряды, необходимые для отца. Фантазия этого мужчины обращается к другим женщинам *не внутри его цивилизованности, а когда он уходит в отставку как отец.* Как портрет, снятый со стены и вырванный из рамы, отцовство не имеет больше существенного образа. Он зачал физически, но психически не был крещен водой отца.

Лишенные культурных рельс, ведущих к отцовству, отцы часто выросли с недостачей и в личностном плане — не случайно у многих из них также нет отца или слишком много кошмаров о матери — психика этих мужчин регрессирует к мужчине-животному.

Их инстинкт зовет их сделать беременной еще одну женщину, то есть создать больше детей, но без отцовства, которое побудило бы остаться с первым зачатым и вскормить его. Поэтому цивилизация должна контролировать мужские импульсы гораздо более радикально, чем женские. Поэтому мужчина, который ощущает в себе этот инстинкт, чувствует под собой дрожание земли и потрясает колонны цивилизации. Когда это случается, уже слишком поздно: недостаточно, чтобы он исправился, потому что чего-то недостает не только ему, но всему обществу.

Цивилизация, сказал Фрейд, строится на подавлении инстинктов [8]. Но человек не может создать ее сам. Он нуждается в коллективных правилах и символических событиях. Переход мужчины к цивилизованности — от простого оплодотворения к отцовству — всегда нуждался в ритуалах: в племенах это симпатическая беременность; в Риме — *paterfamilias,* который поднимал ребенка, что означало: «Я не просто зачал этого ребенка, я его буду кормить». И так далее, в истории Западного мира, где отец произносил молитву перед едой, преломлял хлеб, разделял с ребенком благословение.

Сейчас, когда это ритуальное обрамление исчезло, потому что отец, как обладающий властью, теряет достоинство, мужчина остался один. Он не может стать отцом сам в тот момент, когда жена собирается сделать его таковым. Он откатывается назад, к доцивилизованной ситуации.

Есть разные ситуации, в которых мужчина регрессирует и чувствует в себе клыки животного. Посмотрим сейчас на другую из них, которая также является одной из наиболее универсальных несправедливостей в отношениях между мужчиной и женщиной. О ней мало говорят, почти принимают ее с фатализмом.

Ни один человек не становится привлекательнее, старея. Однако мужчины переживают упадок медленно и часто со временем даже приобретают новые обольстительные черты. Для женщины все иначе, после определенного возраста она очень быстро теряет способность привлекать мужчину. Пожилой мужчина, особенно обладающий такими дарами, как ум и власть, может найти себе молодую подругу; часто он находит ее и бросает жену-ровесницу. Противоположное случается безгранично реже.

Причины этой асимметрии разные.

С одной стороны, здесь присутствуют старые правила, связанные с патриархатом. Мужчина обладает большей властью, чем женщина, зрелый мужчина — большей властью, чем молодой. Следовательно, на вершине власти стоит мужчина определенного возраста. Традиционно он находил удобным

взять себе молодую жену, более привлекательную, более послушную, чем ровесница, более способную забеременеть. Правила одобряют это, потому что таким образом патриархальный порядок в обществе укрепляется.

С другой стороны, патриархат основан не на пустоте, но стоит на пьедестале, подготовленном природой. Мужчина, несмотря на старение, может порождать до самой смерти, потому что производит сперматозоиды. Для женщины способность рожать прекращается во второй половине жизни, хотя медицина неестественным образом продлила этот срок. Пара пожилой мужчина и молодая женщина, таким образом, встречается чаще, чем наоборот — пара молодой мужчина и пожилая женщина, как по причине исторического подчинения женщины, так и потому, что использует в генетических целях доисторическую асимметрию.

Вернемся к примеру, который взят из работы аналитика. Мужчина познакомился с женщиной вслепую, через долгие разговоры по телефону. Она очень его привлекает. Встретив ее, он обнаруживает, что она не молода. Влечение сохраняется, но с резким поворотом в сторону чувства почтения: в его фантазиях тело женщины исчезло, уступив место архетипу нежности. Обсуждая это на анализе, он отрицает сексуальное влечение к ней, как если бы это было нарушением естественного порядка. Этот последний факт не может быть истолкован кроме как неловкостью от желания инцеста с матерью: инцест — культурное табу, следовательно, более сложное, не связанное только с разницей в возрасте. Среди пожилых мужчин, которые желают молодую женщину, ощущение того, что они нарушили естественный закон, безгранично реже.

Биологический закон велит размножаться, то есть исключает пожилую женщину. Существование подобного «закона» не означает, что он будет принят, в противном случае мы вернулись бы и к нетерпимости по отношению к гомосексуализму, другому маргинальному варианту для природы, потому что он не благоприятен для оплодотворения. Законы психической и культурной жизни намного сложнее биологических. К сожалению, в данном случае здание патриархата покоится непосредственно на биологии. Если оно начинает давать трещину, низлежащий слой становится более заметным. Это означает, что в ситуациях хрупкости, быстрого преображения существующей культуры ослабление цивилизованного правила может привести к новому появлению «правила» животного: закона не этики, а биологического выживания. Только сознательность может защитить нас от этого регресса. Таким образом, цивилизация живет подавлением и направлением в другое русло инстинктов.

В прошлом пожилой мужчина сочетался с молодой женщиной без какого бы то ни было неудобства, просто показывая патриархальную иерархию общества. Современный мужчина уважает принцип равенства между мужчиной и женщиной и чаще женится на ровеснице. Но действительно ли ему достаточно сделать более правильный выбор?

Возьмем конкретный пример мужчины, у которого подрастают дети и есть жена-ровесница. Вдруг он осознает, что почувствовал влечение к молодой женщине: он не понимает, как с ним могло случиться то, чего он, в отличие от патриархов, которые без стеснения тянули руки к девушкам, не хотел; он

чувствует себя виноватым перед своей супругой, которая не заслуживает маргинализации и оскорбления; он чувствует себя вульгарным перед молодой женщиной, к которой должен был бы относиться, как к дочери и которая могла бы ею быть; ему неудобно перед детьми, он боится, что его осудят как похотливых стариков из Библии.

Если он не уступает искушению, то, терзаясь, он борется с ним. Он не понимает, что этот регресс вызван нежеланием стареть. А, ведь, годы только увеличивают традиционное достоинство отца: в своем лучшем варианте отцовский архетип состоял из морального авторитета, который имел мало общего с физической вальяжностью обольстителя. Как семейный наместник божественного, он играл роль духовную, а не эротическую.

Чувство вины, от которого страдает этот мужчина, вызвано не столько изменой супруге, сколько онтологией цивилизации. Он не осознает этого, но уклонение от образа отца — как в обществе, так и в его восприятии самого себя, — разбудило мужчину в поисках оплодотворения, который спит некрепким сном под тысячелетиями отцовской конструкции: он возвращается и устремляет взгляд на другую женщину.

В последние десятилетия XX века возросло количество преступлений, совершаемых бандами молодых мужчин. Одно из самых заметных нарушений — групповое изнасилование. Молодые женихи набрасываются на тело Пенелопы и, как гласит альтернативная версия мифа [9], порождают Пана. Конечно, они порождают его символически: в постмодернистские времена они возвращают к нам древнейшего бога изнасилования[40], подчиняются ему безудержно. Дети, объединенные горизонтальным законом, освободились от вертикального закона родителя. Орда выходит из ячейки моногамной семьи и возвращается к функционированию стаи.

Но неправда то, что речь идет о хулиганстве «без цели». Их подсознательная цель — именно восстановление сексуальных отношений с женщинами без гражданской ответственности. И эта задача выполнена. Если мужчина больше не отец, он должен быть кем-то. Самое простое решение этого радикального кризиса личности — это возвращение к состоянию, которое предшествовало изобретению отца. Таким образом происходит посвящение во взрослую мужественность регрессивного типа. Отдельный человек может связывать с изнасилованием чувство вины. У стаи же есть своя культура, она функционирует как племя и ритуализирует регрессию: вина отступает перед новой коллективной нормой.

Недостаточно сказать, что изнасилование существовало вечно и что, по причине преобладания мужской власти, на него просто не жаловались. Но и универсальность изнасилования вызывает множество вопросов. Изнасилование было почти законным в мужском патриархальном мире. Преступление часто терпимое (о нем умалчивали или же делали *ответственной* за него женщину, которая его «спровоцировала»), если его совершил молодой будущий патриарх или сам патриарх: компенсация за *ответственность* отца (институционную, но изначально, в подсознательной памяти рода, свободно выбранную). Сегодня изнасилование — это не тайный акт патриарха, а шумное действие стаи. Его безответственность перед жертвой и возможным ребенком этого ужаса не

компенсирует отсутствующую индивидуальную ответственность; это регресс всей группы к отсутствию ответственности не только в текущий момент. Это манифестация не столько гетеросексуального эроса, сколько гомосексуального эроса стаи, в которой самцы соединяются посредством своей общей жертвы.

Подобная группа лишена отца не только в материальном плане, потому что часто у ее участников его действительно нет, или потому, что тот отец, который у них есть, инертен. Она лишена отца также в символическом и культурном смыслах: она пала до до-отцовского состояния на шкале эволюции.

В последние годы среди ужасов, которые Европа творчески явила миру, появилось этническое изнасилование. Так называется особая форма разграбления, в ходе которого женщины становятся частью добычи и насилуются, чтобы росла численность народа-победителя. В данном случае беременность не случайна: она — задача этого насилия. И это насилие не новость: его предсказывали футуристы в «Футуристическом манифесте похоти»[41].

Можно было бы возразить, что это очень древняя вещь. Что уже античные греки забрали с собой женщин побежденной Трои, убив их мужей, и зачали с ними детей. Но здесь есть разница. Дети троянок, хотя они были бастардами и неизбежно занимали низшее положение в сравнении с законными детьми, не были брошены. Они вскармливались в домах победителей. Последние умели быть им отцами, следили за их ростом и, как бы то ни было, заботились о них.

Здесь же детей зачинают, ни на мгновение не думая об их будущем.

Настоящий ужас этнического изнасилования не в жестокости и не в насилии. Они древни, как сами войны. Он заключается в том факте, что в одно мгновение, мы возвращаемся на сотни тысяч лет назад, в состояние, когда законом был не отец, а животное оплодотворение. Разрушение коллективного образа отца — не случайная психологическая основа этой массовой регрессии. В свою очередь, дело не в том, что его географическим фоном являются распадающиеся диктатуры. Смерть ужасных отцов продолжается и выставляет на свет новые аспекты болезни, поразившей отцовство.

Глава 20
Самоустранение отца: обращение к будущему

Когда появился психоанализ, показалось, что отец нашел себе союзника[42].

Зигмунд Фрейд был очень привязан к своей матери и полагал, что все дети имеют такие предпочтения. Но, как человек своего времени, он считал, что во главе семьи стоит отец. И лично он был склонен отождествляться с духовным учителем еврейской традиции. В его представлении отец был вожатым, который из ребенка, изначально действующего инстинктами, воспитывал общественную личность. Внутри себя ребенок заключал основы морали: в конце периода тесной связи с матерью в нем рождалась внутренняя власть (Супер-эго), идеально соответствующая как богу-отцу, так и личному отцу и другим иерархическим фигурам.

Этот психоанализ, союзник отца, не только потерялся в пути, но и косвенным образом стал его врагом . Занимаясь все больше связью матери и ребенка, наследники Фрейда вытеснили отца за грань: словно возвращаясь к первым моментам индивидуальной жизни, они неосознанно вернулись и к жизни вида, к дочеловеческой семье, в которой не было предусмотрено настоящего отношения между отцом и детьми.

Речь идет не об идеологическом выборе. Пост-фрейдистские теории все чаще посвящены первым фазам жизни. Поэтому они неизбежно обращают больше внимания на симбиоз между матерью и новорожденным. В частности, Мелани Кляйн выдвинула гипотезу, что Супер-эго образуется уже в первый год жизни, в ходе взаимодействия с телом матери. Так она лишила отца роли того, кто учит смыслу морали и общества: корни того, что хорошо, а что плохо, происхождение восприятия другого и уважения к нему были отнесены к той фазе, когда ребенок еще не говорит.

Искусство, литература, вся культура XX века непонятны и невозможны без психоанализа. Не говоря уже о нашем представлении о семье.

Упадок отца продолжался уже веками, и его влияние усилилось за счет неофрейдистских исследований. Мало того, что внимание с отца перемещалось на мать, психоанализ также уделял первичным отношениям больше внимания, чем общественным связям, и провозглашал телесный опыт корнем духовного, который сократился до надстройки. Таким образом, он был приведен в согласие с еще одной великой тенденцией западной цивилизации: освобождением от социальной ответственности и от коллективного опыта как религиозного, так и светского, и соответствующей победой индивидуализма и частной жизни.

Если корни моей психики лежат в изначальных инстинктах и первичном опыте, у нее мало возможностей адаптироваться к требованиям общества: косвенным образом фрейдовский пессимизм утверждал именно это, несмотря на сильное чувство общественного у Фрейда.

Постфрейдистские исследования и работы Кляйн сыграли решающую роль в современном понимании человека. Но они касаются индивидуального роста ребенка. Понимание человека в обществе должно быть дополнено социальным измерением, великими коллективными образами, которые направляют наш культурный опыт. Психология Юнга ввела связь между личным и коллективным бессознательным. Другая характеристика этой психологии — интерес к «здесь и сейчас» в противопоставлении далекому прошлому пациента.

С приблизительностью, которой для наших целей достаточно, назовем первичным изначальный период роста, период преимущественно телесных отношений, и вторичным — все последующее. В первичный период ребенок в основном поддерживает отношения с другой личностью (диада). Во вторичном происходит переход к триаде, группе, коллективу. Юнгианская психология изучает в основном этот этап. Отчасти из внимания к «здесь и сейчас» пациента, который просит помощи. Отчасти потому, что Юнг занимается психикой самой по себе, и лишь косвенно — телесными опытами. Отчасти потому, что речь идет не только о психике индивидуальной, но и о коллективной, то есть нашей темой является также общество.

Фрейдистская, и еще больше постфрейдистская психология рассматривает прежде всего биопсихический и первичный опыт; юнгианская — культурное измерение и вторичный опыт. С нашей точки зрения постфрейдистская психология несет непосредственную ответственность за глобальное распространение индивидуализма: внимание к инстинкту и до-общественной фазе отталкивает на задний план возможность влиять на коллективное и предрасполагает к фатализму. Благосклонность, с которой образованные, люди часто принимают юнгианскую психологию, связана именно с ролью, которую она придает разнообразию культуры по отношению к детерминизму биологии, и с альтернативой, которую ее коллективное измерение может противопоставить индивидуализму.

Постфрейдистский психоанализ, таким образом, ускорил падение отца. Но, как мы уже знаем, он распахнул уже приоткрытую дверь.

Проследим этот переход с помощью нескольких образов.

Если мы пролистаем какую-нибудь книгу XIX и начала XX века о семье и отце, то мы тут же увидим, независимо от национальности и общественного класса, ряд общих элементов, явно соответствующих «коллективному характеру отца». Отец — не часть диады. Он изображается почти всегда вместе со всей семьей, по возможности в центре. В обставленной мебелью комнате, которая, как мы полагаем, является центром дома. Отец принадлежит к какой-то профессии и является общественной фигурой: он защищен, хорошо одет, занят своим делом (рис. 8), даже если речь идет о рабочем или крестьянине (рис. 9). В любое время, в любом месте, отец носит доспехи Гектора.

Даже если он носит костюмы, выполняет работу, ведет образ жизни, о которых мы забыли, когда мы смотрим на него, мы сразу же понимаем его общественную и культурную географию. Под взглядом этих отцов мы немедленно понимаем, кто они: ремесленники, знать, крестьяне. Их образ меняется в зависимости от общественного положения больше, чем образ матерей, потому что позволяет увидеть стоящее за ними общество, более или менее отредактированное предубеждениями художника или фотографа. Отец — это обязательный переход от семьи к обществу.

Эти портреты почти не менялись с веками. Но в наше время, точнее при жизни последней пары поколений — когда в истории отца произошел невероятный сдвиг — все изменилось.

Образ группы, семейный потрет, теперь почти не существует. Отец, похоже, утратил функцию связующего звена с обществом. Нет больше ни группы, ни контекста. Не видно его общественного и профессионального положения. Появляется ранее неведомая диада: отец с маленьким ребенком.

В крайнем — но частом, случае, который мы хотим здесь исследовать, *новые отцы* представляют, на самом деле, *новые стереотипы.*

Эти отцы сплошь молодые, красивые, полуголые. Все они в джинсах и с обнаженным торсом, как если бы издательства по всему миру заключили тайное соглашение. В этих более или менее скучных образах отец превратился в тело.

Не говоря о рекламе, иллюстрированных журналах, сентиментальных фигурах, в которых видно «подмигивание» и желание поразить читателя

попроще, впечатление производит именно тот факт, что даже серьезные тексты обзавелись этими образами. Нам дают понять, что новые отцы обнажают грудь, равнодушны к обществу и погружены в отношения с ребенком, которые, как мы подозреваем, симбиотичны (рис.10,11,12).

В то время, как мужское тело превращено в объект с той же неуважительной простотой, против которой выступали женщины, боровшиеся за право на отношение к себе как к индивидуальности, а не как к стереотипу, роль отца, похоже, подчеркивает прежде всего заботу о ребенке. Это, в свою очередь, делает мужчину таким же односторонним и нереальным, как многочисленные изображения Мадонн, произведенных малыми художниками Возрождения, и кажется, предполагает «зависть к материнской груди»: справедливо было замечено, что эти мужские груди, как правило, безволосы.

Подобный образ отца блекнет перед искренностью изображений XIX века, где он был представлен тем патриархом, каким на самом деле являлся. Современный образ нереален. Первичная забота отца о детях остается, в зависимости от точки зрения, благородным идеалом или не очень искренней фантазией. Мы видели, что на практике эта реальность имеет место в меньшинстве случаев. Даже когда она существует, это почти всегда помощь матери.

Как в коллективном сознании мог возникнуть этот образ? Должны ли мы думать о пропаганде? Или о книгах, которые призывают отцов-читателей к определенному поведению?

Тексты, иллюстрации к которым мы взяли, созданы издателями и авторами, которых мы не можем подозревать. Речь идет не о пропаганде, а о научных трудах, в которых описывается реальность отца. Даже если бы они захотели заняться пропагандой, зачем придавать такой облик, будь то пропаганда фашистская, нацистская или советская — вечный сентиментализм обнаженных грудей и целуемых детей — если ею можно добиться только противоположного тому, что она предлагает?

Знает ли отец, а точнее, тело отца, как дать нечто новое телу ребенка? Конечно, он может помочь своей подруге. Но вот именно, он представлен скорее как *новый друг и партнер,* чем как новый отец. Ему не хватает не только груди: ему не хватает также конкретного опыта отношения с актом питания. Даже те, кто настаивает на том, что мужчины готовят лучше, чем женщины, знают, что они могут кормить детей только опосредованно: их отношения с питанием ребенка профессиональные, еда — не язык для диалога с ребенком, как у матери. Не существует отцовского питания, есть только подражание материнскому.

Очевидно, что стремление ко «все более первичному» — желание дать ребенку все в самом раннем младенчестве — соответствует не только эволюции постфрейдистских исследований, но также некоторой инволюции всего общества. Она соответствует тенденции убрать общественное измерение, скрыться в частном мирке, в индивидуализме и том «отношении», которое мы называем симбиозом, где два существа почти сливаются в одно.

Если бы наш образ отца остался традиционным, вводящим ребенка в общество, он становился бы все более противоречащим новому привилегированному измерению.

Но так как наш образ отца — это культурная конструкция и может изменяться, разные авторы движутся все ближе к первичной стадии, исследуя его роль в отношениях с новорожденным. То, что мы назвали «бегством вперед» можно также назвать «бегством назад», к истокам. Отец становится неуловимым, потому что становится похожим на мать.

Во многих мужчинах этот интерес подсознательно поощряется чувством вины, которое пытаются у него вызвать современная культура в целом и феминизм в частности. Он представляет то, чем он хотел бы быть *(aspirational atmosphere),* чтобы уладить отношения со своей совестью. Отец, который меняет подгузники, оказывается вне критики и втайне может освободиться от неблагодарной роли образователя-кастратора, намеченной для него Фрейдом. Наблюдается стремление к нежному отцу, наконец-то исключительно позитивному: слишком нежному, как мадонны. Даже многие мужчины, которые не хотели бы играть эту роль, поощряют ее процветание: неосознанно они надеются, что она ослабит соперничество между мужчинами и сделает редкими и привилегированными их, «настоящих мужчин». Многие женщины смотрят на это изменение благосклонно, потому что наконец-то мужчины становятся их сотрудниками. И так далее. «Первичный отец» сопровождается потоком одобрений.

Однако при той скорости, с которой меняется настоящее поведение мужчин, неясно, когда это могло бы реально случиться и какими были бы конкретные функции, отличающие отца от матери. Неясно, что надо сделать, чтобы стать таким отцом, - задействовать инстинкт или ввести новую обязанность. В настоящий момент первичный отец, посвященный *естественному уходу за ребенком,* — это всего лишь *культурная фантазия:* бегство в будущее, к мужчине, который считает себя лучшим.

Тем не менее, образ первичного отца — это не столько движение к чему-то новому, сколько удаление от чего-то древнего. Отец, как Яхве, на протяжении тысячелетий не мог не быть добрым и ужасным одновременно. Образ отца, заботящегося о ребенке, дает надежду на упрощение этой душераздирающей ситуации, но рискует впасть в нереальную односторонность. От нее всегда страдали женщины. Описание мира, словами или образами, было мужским. Образ Яхве, щедрого и жестокого в своей сложности, был настоящим. Образ же Марии, с ее односторонней нежностью, часто был нереальным. В подражание ей был создан мужчина, в которого в свою очередь трудно поверить. Помимо отношений с небесами, образ нового отца, похоже, отказался от отношений с обществом. Отец, как он был представлен на изображениях, всегда был частью семьи, своего сословия, своей профессиональной корпорации, коллективного мира. Он должен был делать выбор: то есть творить и зло, а не только добро. Он должен был действовать в мире: то есть пачкать руки. Сейчас наконец — кажется, говорит фантазия первичного отца — он дезинфицирован. Он может вступить в несравненную полноту симбиоза, в которой вся сложность превращается в поверхностность.

Из образов всех эпох мы видим, что отец, даже когда не был в обществе, *не был наедине с ребенком.* Он поддерживал связи между поколениями и соединял с Богом: Эней вел Аскания под надзором Анхиза; Авраам приносил в жертву Исаака под оком Яхве.

Новый отец снимает облачения, которые надели на него общество, метафизика и история. Он выбирает наготу океанскую, интимную и свободную, как симбиоз. Общество решило раздеть Гектора, чтобы он не пугал ребенка. Ребенок не будет бояться; но будет ли у него отец?

С одной стороны, отказ от брони Гектора может сделать отца действительно оверхностным, слишком похожим на мать. С другой, факты говорят нам, что тогда сын начинает искать другие мужские фигуры, у которых есть оружие. Может быть, у противоречия отца нет решения: оно соответствует его сути. Отец должен снять броню, чтобы сын узнал его. Но для этого он должен сначала ее надеть. Еще раз отметим, что Бог, самый близкий к человеку, — это Бог Ветхого Завета, добрый и ужасный; Гектор остается самым адекватным отцом, целостным благодаря своей сложности.

Сейчас мы новыми словами выразили то, что в начале называли «парадоксом отца». Отеческая специфика заключается именно в этом: он может быть с сыном, когда умеет также носить броню, может быть отцом, когда он также воин. В отличие от матери, он не может делать только что-то одно: если он будет только носить броню, сын его не узнает; если он не надевает брони никогда, его не признают как отца.

Все люди должны обладать некоторым количеством агрессивности. Все должны быть в состоянии защищаться. Как мы уже говорили, не потому, что он обязательно обладает агрессивной натурой, но потому, что эта специализация была всегда доверена мужчинам, превратившись в почти неизменный их образ в коллективном бессознательном.

Культура и общество лишь косвенным образом касаются первичной стадии роста. К вторичной стадии относятся новый этап роста и второе рождение, которое делает возможным заполнение пустот первичной стадии. Для до современных цивилизаций этим вторым рождением была инициация, переход, которым руководила в основном власть отца или замены отца. Задачи родителей были ясны. Мать давала физическую жизнь и заботу первых лет. Вторая фаза же была основной задачей отца, по крайней мере, что касалось мальчиков.

Несмотря на то, что инициация в пути потерялась, это разделение обязанностей сохранялось в общем и целом до XX века.

Как и функции родителей, совсем другой была и судьба детей. Уже в большой части примитивных народов, и еще больше среди народов Западного мира, существование мужчин было более полным, чем женщин. Доступ к обществу, к духовной жизни и следовательно, к процессу инициации были для этих последних более или менее ограничены. Великие обновления вторичного этапа роста могли ограничиваться только мужчинами и быть чисто мужским фактом.

Изменения этого века преодолели две разницы: как разграничение обязанностей родителей, так и различие между сыновьями и дочерями. Однако попытка уничтожить привилегии отцов и сыновей бессознательно пошла в том

же направлении, что и постфрейдистский психоанализ: она уменьшила важность второй фазы роста, обращая внимание на первичную. В попытке лишить молодых мужчин анахроничных преимуществ в дальнейшем развитии, не были сделаны шаги к равному уровню социализации и инициации для дочерей; вместо этого соответствующие инициации перестали существовать и для мальчиков. Для того, чтобы лишить отцов — и их мужской замены: священников, отцов духовных, — соответствующей монополии социализаторов и инициаторов, эти качества не были переданы матерям: их просто упразднили. Устремленность к первичному побеждает, как нам представляется. То, что сами мужчины первыми выступают за нее, удивляет только на первый взгляд. В процессе инициации люди страдали, но приобретали идентичность. Сегодня четкой идентичности нет, в то время как мы несомненно избегаем страданий в плане идеологии еще больше, чем в плане удобства.

Бесконечно потребительское состояние общества, в котором мы живем, — это планетарное воспроизведение первичных потребностей. Но постоянно быть кормимым грудью необходимо в первый период роста: потому что человек, как мы знаем, единственное существо, которое не рождается автономным. Что до подростков и взрослых, то наше желание немедленно наслаждаться всевозможными удобствами и дистанцироваться от любой боли психологически превращает нас в грудных младенцев: мы не прошли инициацию, позволяющую и брать и отдавать, что является признаком моральной зрелости. Драматическим образом в плане психики проявляется неотения человека. Мы видели, что тело человека похоже на тело млекопитающего, неспособное завершить рост. То же самое происходит и с психикой. Мы думали, что дети завидуют взрослым. Но в глубине души взрослые завидуют детям.

Сегодня мы, наконец, хотим поставить отца и мать на один уровень. Первый не должен быть исключительно — точнее: не должен быть обязательно — агрессивным субъектом, который пугает ребенка и нарушает его симбиоз с матерью, врагом первичной стадии и инициатором вторичной. Но симбиоз не может стать идеалом, не имеющим различий для отца и матери, без образа, который был бы благоприятен для выделения, индивидуализации, вступления в общество.

Если исчезла та строгость разделения, с которой мать отвечала за первичную стадию, а отец за вторичную, наш пункт назначения не может соответствовать бессознательной фантазии абсолютного первичного состояния. Не предопределяя, что ожидает двоих, с учетом той скорости, с которой меняются обычаи, семейная система должна, однако, распределять время от времени задачи, касающиеся соответствующих стадий. Можем ли мы упрекать подростков в том, что они не хотят становиться взрослыми, если взрослые предпочитают забыть о подростковом возрасте и заниматься младенчеством?

Мы уже говорили, что преданный взгляд, зависимость ребенка от матери — изначальный факт. Он рождается с родами, с кормлением грудью, может быть, даже с жизнью внутри ее тела. В любом случае, он не нуждается в посредничестве какого-либо третьего лица. Мать почти всегда необходима как посредник, чтобы перенести взгляд любви ребенка и преданность на отца. Это

факт, который мы часто забываем, потому что наблюдаем семью после этого перехода — фундаментального и изначального — от диады к триаде.

Сегодня по причине критики патриархата, если не по причине непосредственной мести за отсутствие отца, мать впервые использует эту власть первичной соперницы для себя, а не для представления ребенка отцу. И тогда отец, тоскующий по этому взгляду, отправляется к истокам, искать его. К объятью изначальному, физическому и материнскому. К объятию двоих.

Часто подчеркивалось, что в сравнении с женским ростом, рост мальчика содержит в себе рывок. Девочка, у которой сформировались хорошие первичные отношения с матерью, может подражать ей как образцу, продолжая без скачков свой физический рост. Не так происходит с мальчиком. После рождения и вообще в течение первичной фазы он вступает в основном в отношения с матерью; но, раньше или позже, должен переместить свой взгляд на отца или другого мужского персонажа.

Эту тему поднимали в основном последователи Кляйн (школа предметных отношений), внимание которых было обращено на исследование очень ранних этапов роста. Против этого выступали авторы-феминистки, потому что, сконцентрировавшись на психологическом недостатке мужчин, эти исследования могли затмить те исторические преимущества, которыми они уже пользовались в обществе.

Рассмотрим кратко их неудачу не с точки зрения первичной фазы, а с точки зрения последующих фаз роста.

В первых главах мы заметили, что, особенно с появлением млекопитающих, эволюция делала все более сложными отношения между матерью и новорожденным, позволяя матерям создавать культуру в зародыше и загоняя в угол мужчин. Изобретение моногамной семьи и продолжительность отцовского внимания были некоторым образом ответом на это исключение, и ответ этот одержал победу вплоть до того, что цивилизация и патриархат стали синонимами.

Но реванш отца был далек от полного. Даже цивилизация, которую он создал и в которой доминировал, принесла ему неожиданную проблему.

В естественных условиях, у млекопитающих, мать выполняет функцию заботы о ребенке после родов, пока он не стал автономным. Детеныш животного, даже мужского пола, не терпит неудобств оттого, что имеет перед глазами только женский пример, потому что, даже в самых развитых видах, где недостаточно инстинкта и он получает также зачатки воспитания, этот период заканчивается намного раньше полового созревания.

Только у человека физиология и культура очень сильно продлили период заботы о ребенке, отсутствия автономии и воспитания, который может продолжаться вплоть до тридцати лет (которые, в естественных условиях, почти представляют среднюю продолжительность жизни). С этой точки зрения инициация могла быть изначально изобретена, потом проводилась взрослыми мужчинами по отношению к молодым мужчинам, потому что мужчины ощутили ее необходимость.

Намного позже, когда начала возникать система школ, для продления первичной биологической функции и потому, что начальные фазы образования

трудны и неблагодарны, стало естественно доверять их в большинстве женщинам: в этом смысле возник культурный аппарат, продолжающий брать пример с природы. Затем, как это происходит с большей частью профессий, когда общие условия жизни становились лучше, более высокие уровни обучения все больше переходили в руки женщин. Мужчины оставляли их, чтобы оставаться в большинстве только на вершине, например, в университетах, где концентрируется власть и деньги. Определенно, как из-за лени взрослых мужчин, так и из-за структурных характеристик Западных цивилизаций, которые обращены скорее к эффективности, чем к психологии, молодые мужчины встречают мало мужчин на своем пути к взрослой жизни.

Может быть, именно это делает переход молодых мужчин к взрослой жизни особенно сложным; и, может быть, во всех странах они чаще становятся преступниками и используют наркотики, чем молодые женщины, их ровесницы.

Глава 21
Исчезновение жеста отца

...и, на руки взявши Милого сына,
[Гектор] целует, качает его и, поднявши,
Так говорит, умоляя и Зевса, и прочих бессмертных...
«Илиада», VI, 474-75

Между концом XVII и началом XIX века во Франции были заново открыты образы отца, который поднимает вверх сына[60]. Век назад они считались бы богохульными: единственный сын, которого можно поднимать к небесам, — это Христос, скрытый в форме гостии.

Но это не означало возвращения к авторитету римского *pater familias.* Да, Революция во имя прогресса, триумфа воли над природой, заново открыла римский принцип усыновления. И, если каждое настоящее отцовство — это усыновление, то есть выбор, активный и добровольный, этот смысл передается жестом отца, который поднимает ребенка. Но вера в отца была не такой, как в Риме. Изображения ясно говорят об этом. Многие из них риторические и сентиментальные: часто они заказаны политической властью в попытке укрепить семьи, которые ослабевают; мало-помалу государство занимается семейными функциями. Другие — карикатуры на состояние семьи. Были также пропагандистские манифесты и даже коммерческая реклама.

Возвращение этого жеста означает, что отношения между отцом и сыном опять в центре внимания. Но это - отношения напряженные, драматические.

Жест священен: но, как изначально обозначало слово «священный», он мог быть божественным или демоническим. В изображениях и литературе он появлялся как форма новых отношений между отцом и сыном. Слова, которые они говорят друг другу, также священны, но они могут быть благословением или проклятием. Отношения отец-сын вернулись к актуальности после смерти короля и рождения республики.

Что случилось с этим жестом и этими словами в XX веке?

Поднятие и благословение выражают телесно и словесно одно и то же отношение отца. Поднятие сына, его благословение и его инициация говорят об идентичной потребности дать жизнь с точки зрения юридической, богословской и антропологической.

Мужчина, который в природе не может дать жизнь, а может дать только сперму, как животное, может совершить прыжок вверх, к духовному измерению: он думает о сыне и создает обряды, которые делают конкретной, публично разделенной и необратимой эту творческую мысль. Если пришествие отца соответствовало проекту, способному развиваться со временем, то благословение, поднятие, инициация — это отеческий проект, обращенный к сыну: второй выпуск спермы, духовный.

Может быть, все ритуалы на Земле — разновидность этой потребности, должен будет служить ему.

Важность этого эпизода для евреев и христиан побуждает нас сделать кое-какие замечания о фигуре отца:

■ То, что делает отец, — это для сына объективный факт, независимый от намерений. Намерения субъективны и случайны. Обряд абсолютен и вечен.

■ Будучи абсолютным, безусловным, мощным, этот обряд необходим для психической жизни как сына, так и отца.

■ Так как благословение — не просто аксессуар, но существенно важно для жизни, оно не только благо (слово благословение составное), но и ужасно, как сама жизнь. Оно ужасно для сына, который его не получает, но ужасно и для того, кто получает. Немного далее в Ветхом Завете на Иакова нападет некая темная фигура, он будет ранен ею и будет сражаться с нею до зари. Только тогда он узнает, что это ангел Господень, и получит от него благословение". Ангел (вестник) Отца ранит и благословляет одновременно. Благословение и рана неразделимы. Источник любви и страха, благословение отца пересекло историю Западного мира в виде молитвы отца, произносимой им.

■ Если обряд благословения обладает автономной силой, независимой и существующей до того, кто время от времени применяет его, то сын однажды почувствует свою потребность в нем, даже если отец не будет иметь намерения его дать. Выражаясь нашим языком, образ отеческого благословения архетипичен. Если потребность не удовлетворена, сын почувствует недостаток в сердце собственной идентичности, то, что Кудер назовет «комплексом Исава».

Комплекс Исава сейчас очень актуален: опять же, если не придавать ему значение буквальное и индивидуальное. Сегодняшние дети не нуждаются в том, чтобы преодолевать хитрость брата, который может выманить благословение, тем самым получив преимущество, но должны остановить крушения обрядов перехода, которое может лишить всех сыновей этого благословения.

Отец должен был проецировать себя и сына в будущее. Библия представляет Исава как недостаточно зрелого для этого проекта, сн продает свое будущее затем, чтобы поскорее сесть за стол. Ограниченность горизонта и искушение удовлетвориться сытостью — воистину брат-враг, которого сын должен остерегаться.

Когда Исав узнает, что лишился благословения, он в ярости и ищет Иакова, чтобы убить его. Как показал последний век, закат отцовского проекта открывает агрессивность братьев.

Подобно Исаву, каждый молодой человек сегодня про себя понимает, что не получил от отца важного дара. Но он не может ревновать к брату, потому что тот тоже его не получил. Он может ревновать только к отцу, и к цепочке отцов. Ему сообщают, что их поколения смещали одно другое с гармонией и торжественностью, и он делает из этого не лишенный основания вывод, что с ним обряда перехода не производилось. Это подозрение, растущее, потому что никогда не выясненное до конца, может стать бессознательной фантазией: отец сознательно лишил его великой ценности. Таким образом, человекоубийственная ярость комплекса Исава, которая хотела бы обрушиться горизонтально на брата, неожиданно принимает вертикальное направление. Эта враждебность по отношению к отцу дополняется восхищением по отношению к «братьям». В самом деле, он начинает искать модели для подражания не вертикально, среди отцов, но горизонтально, среди других молодых людей, и соперничество уже проявляется не среди товарищей, а в восходящих отношениях с родителями.

Это смещение осей в отношениях между поколениями произошло за несколько десятилетий, оставив нас неподготовленными, ничего не понявшими и недоверчивыми. В крайних случаях его проявления были криминальными. В моей стране, известной относительной стабильностью семьи, молодые дети, которые в материальном плане получили все от родителей, убивали их, чтобы овладеть теми вещами, которые они сохранили для себя. Неспособный двигаться в мире обрядов и символов отец из благословляющего превратился в благодетеля: вместо святых слов он дает мирские предметы. Именно тут легко представить себе, что у сына появляется бессознательная фантазия: отец должен быть либо наказан, либо у него должно быть отнято то великое сокровище, которым он обязан был поделиться.

Образ отеческого благословения — вместе с двумя другими фигурами, которые сопровождают сына, такими, как поднятие и инициация — помогает нам понять пустоту сыновей в символических терминах.

Возьмем теперь каждодневный пример, далекий от крайности человекоубийственной ярости.

Отец как образ отсутствует еще больше, чем как личность: *отсутствующий отец* — это образ современного отца. Он отсутствует не потому, что, как Улисс, отправился на войну, но потому, что отказывается участвовать в отношениях. Отец отсутствует не только тогда, когда он развелся и не живет больше в одном доме с ребенком. Отец отсутствует в своих действиях. Сегодня отцу в большей степени вменяется в вину не то, что он сделал, а то, что он не сделал. То, что он не сказал, — больше чем то, что он сказал.

Молчание отцов звучит в студии аналитика. Каждый день пациенты жалеют, что не высказались, не оправдались; не объяснили или не защитили свою точку зрения; присутствовали, но молчали; не ответили детям или их матери; и так далее.

Прежде всего они жалеют о том, что промолчали, видя результаты, с большим трудом достигнутые ребенком не ради самих этих результатов, а ради похвалы отца. Неспособность отца ритуально отпраздновать символические достижения ребенка — один из самых печальных частных недостатков частной жизни нашего века; мы умеем приобретать очень дорогие продукты, но не умеем больше дарить радость, что ничего не стоит. Чтобы понять это, мы должны представить их общий «комплекс Исаака»: слишком старые в культурном отношении, психологически слепые, как этот патриарх, они не знают больше священных слов *благословения,* или не могут произнести их в нужный момент перед нужным человеком.

Какое удивление, какое невероятное сердечное волнение и в то же время какую ностальгию по недостижимому благу испытывают дети, когда вдруг, от третьего лица, которое для них мало значит, или вообще в случайных обстоятельствах, дети узнают, что отец уже годами говорит почти исключительно о них и восхваляет их! Прославление имело место, но было тайным.

Иногда коллега из офиса рассказывает, как все с улыбкой избегали отца во время перерыва, когда пили кофе, уставшие от рассказов об университетских подвигах сына. Иногда это старый ящик с вырезками из газет, заметками о спортивных достижениях мальчика, которые отец хранил (Почему он закрыл этот ящик на ключ? И почему он тогда бормотал все время: «Ты слишком много времени тратишь на этот теннис! Подумал бы об учебе»?). Иногда та женщина, которой сын мало доверял и к которой ушел жить отец, открывает ему, что, разделив с нею ложе, он в темноте занимался не тем, чем занимаются мужчина и женщина, а вспоминал про премию, полученную мальчиком в школьном конкурсе.

Иногда новость — это начало диалога. В других случаях ничего не начинается, потому что сын уже в свою очередь научился молчать. Но часто это только начало сожалений, потому что откровения начинаются на похоронах отца.

Эти остатки радости, которой не было, однако, имеют свой голос. Они рассказывают именно о комплексе Исаака: потребность отпраздновать достижения потомка вышла из сердца отца, но не достигла сердца сына. С обмирщением обряд потерялся, но не потерялась та потребность, которая лежала в его основе. Не всегда надо думать о молчании отцов как об их злой воле: скорее это непонимание того, чего от них ждут и когда. Огромный, иррациональный стыд. Неконтролируемая жажда тайны.

Эта защитная форма, типичная для отцовского достоинства, вырвалась из-под контроля и выросла, закончившись тем, что приберегавшееся для торжественных моментов отодвинулось в «никогда». Парадоксальным образом эта туча, затмевающая все, напоминает нам броню Гектора, которая сохраняется и там, где он должен был избавиться от своего щита.

Если психика — это орган, который/как физические органы, ищет равновесия, поправляя крайности, можно попробовать объяснить это наводнение стыда как бессознательную компенсацию.

Традиционно патриархальное общество умножало мужское соревнование на войне: и, может быть, избыток насилия там помогал отцам сохранять цивилизованность в частной жизни. К счастью, война сейчас не является одним из центральных занятий Западного мира. Соперничество в гигантском коммерческом аппарате, в который мы погружены сегодня, — ее продолжение, но в плане явно менее разрушительном. Но в этой новой борьбе потребление и средства массовой коммуникации достигли до уровня бесстыдства, не имеющего себе равных в истории. Печать и телевидение, которые как предпринимательская деятельность, пока в основном находятся в руках отцов, подталкиваемых необходимостью продавать все больше, как глобальные блудницы, предлагают интимные и постыдные вещи, все больше выходя из границ стыда. Таким образом, перестает действовать древнейший психологический закон: тайна — не отсутствие правды, но присутствие святого уважения.

Матери меньше задеты этой порочностью коллективных образов, потому что еще чувствуют необходимость освобождения от избытков стыда, которые им навязывались веками.

Для отцов дискомфорт более глубок, хотя по большей части бессознателен. Они видят, как средства массовой информации открывают интимные тайны и секреты знаменитых людей и подсознательно дрожат от того, что подобное может случиться с ними. Как несущие ответственность за эту коммерциализацию, они испытывают молчаливое чувство вины. Как категория людей, которые по работе каждый день должны быть на публике, они испытывают особую потребность в интимности. Они не готовы отвечать на эти внутренние потребности. На протяжении веков стыду, прикрывающему сексуальность, обучали женщин, но не их. Так и матери лучше готовы к выражению чувств, чем они.

Необходимость компенсировать бесстыдство общества, неумение управлять чувствами, незнание ценности секрета вызывают их неожиданное молчание. Отцы склонны прятать свои чувства, склонны к *стыдливости в привязанностях,* огромной, неосознанной, неуправляемой. Сдержанность, которая некогда была положительным качеством, превратилась в колодки у них на ногах.

Мы намеренно упростили значение инициации. После плотского рождения человек обязан родиться духовно. Инициация — это ритуальный доступ к новому этапу жизни, более возвышенному и более полному, чем предыдущий. По словам Мирчи Элиаде, инициация позволяет провести границу между континентами антропологии и истории: там, где она существует, это досовременный мир; когда она исчезает, мы вступаем в мир современный.

В своей самой типичной форме инициация была доступом к взрослой жизни для молодых мужчин. Под ритуальным руководством мужских фигур, которые поднимались на отеческий пьедестал, молодые люди племенной культуры погружались в состояние коренным образом новое, подвергались экзистенциальному риску и встречались со смертью. Это погружение было как материальным — традиционно, чтобы стать мужчиной, нужно было совершить акт, требовавший большой смелости, например, столкнуться в бою с хищным

зверем, — так и символическим: чтобы получить новую идентичность, ребенок, существо неполноценное, умирает, чтобы возродиться.

Инициация — пример того, что древние и всеобщие обряды не исчезают легко. Мы думаем, что они забыты и преодолены: но на самом деле от них могут оставаться следы, опасные, потому что бессознательные и неконтролируемые. И, так как быть отцом — более близкое к культуре построение, чем быть матерью, удаление инициации и удаление отца — это для нас две стороны одной медали, хотя культура и забывает об этом.

Очень просто заметить, что гонки на мотоциклах или серфинг на крышах поездовустраиваютмолодыемужчины.длякоторыхэто-возвращениеиспытаний инициации, только взрослые больше ею не руководят и не устанавливают ограничивающих правил. Было бы лишним говорить, что исчезновение инициации *имеет* разрушительный эффект. Он появляется в психологической пустоте и используется для удовлетворения неудовлетворенных потребностей роста.

Частая особенность *men's movements* — это именно воскрешение инициации. Тем не менее, в то время как *абстрактная философия* может быть заново предложена другим автором или интеллектуальным течением, мы сомневаемся, что то же самое может произойти с *обрядом.* Для того, чтобы действительно выполнить свои функции, он должен следовать традиции, быть практикуемым всем обществом и иметь корни в окружающей культуре.

Сегодня мы очень слабо осознаем ценность обряда и не понимаем, какова функция мужчин. На протяжении веков различные общества ощущали, что у мужчин слишком много первозданной энергии, которая укрощалась или направлялась в нужное русло. Можно было использовать ее для организации семьи и общего производства цивилизации.

Сегодня эта энергия снова освобождается в своих регрессивных формах, которые кажутся почти что последним вырождением футуристического авантюризма. Она проявляется в соперничестве между молодыми мужчинами, которые хотели бы завоевать женщин и, неосознанно, хотят быть «произведены во взрослые» (то есть инициированы). Мужская сила используется не в накопительных процессах, но «играх с нулевым результатом» или даже с негативным исходом, в играх исключительно деструктивных. Кажется, что быть мужчиной влечет за собой только неудобства, в сравнении с тем, чтобы быть женщиной, что поощряет наиболее агрессивные выходки феминизма. Мужчин беспокоит деструктивная сила последнего, но им трудно понять деструктивность мужской регрессии, молодежной и антиотцовской.

Отцу уже недостает престижа и власти, которые делали его идеальным и незаменимым образцом для сына. Он может быть авторитетом и наставником для последнего косвенным образом: лишая его чего-то, что он мог бы ему дать. Когда сын не становится взрослым, как хотел бы отец, отец *отказывает ему в своем уважении.* Более того, непрямым и подсознательным образом, отец *презирает* сыновей, которые не могут добиться цели превращения из подростков во взрослых мужчин. Но отсутствие уважения отца — это именно отсутствие ритуальной фигуры, священника, который проводит инициацию во взрослый возраст. Дети это чувствуют и находят в таком отце, который больше

не патриарх, древнюю роль кастрирующей власти, без стороны власти доброй. Из порочного круга нет выхода, он замыкается с отсутствием уважения и присутствием пренебрежения.

Одно из проклятий, с которыми связана тема отца, — это трудность в определении психологических характеристик вне зависимости от обычаев времени: каково на самом деле его специфическое поле по отношению к матери? Если мы ответим, что отец — тот, кто учит сына кататься на велосипеде, у нас будет метафора, может быть, подходящая для большей части евро-американского среднего сословия наших дней, но не для времен и стран, в которых не существовало велосипедов. Попробуем, следовательно, ответить вместе с Э. Сэмюалсом, что специфической характеристикой отца является содействие в установлении различий, в раскрытии ребенка, его поступков, его разума. Это снова связано с нашей гипотезой о том, что вместе с отцом рождается возможность умственного проекта; проекта развития, а не предметов (которому нас научила экономика), но человеческого потенциала следующего поколения. Полная и завершенная дифференциация — это форма инициации, - более не заданная *a priori* - которая может ввести сына или дочь в современное плюралистическое и сложное общество. В то время как некогда отец был, прежде всего, сопровождающим на фиксированных путях, сегодня его функция более индивидуализирующая: он способствует специфичности сына. К сожалению, такая сложная задача в свою очередь лишает мужчин смелости быть отцами.

Даже когда она уже исчезла как общественный и религиозный обряд, отеческая инициация дожила до недавних времен в большей части профессиональных категорий. В самом деле, ремесло — занятие ремесленника, но также и крестьянина или владельца некоей собственности — преподавалось непосредственно отцом.

Все это, однако, было возможно в стабильном мире: не в мире, осужденном на прогресс. Современность уничтожает эту внушающую уверенность эстафету поколений.

Прежде всего, обучение, даже профессиональное, отделяет ребенка от семьи; за него берутся безличные институты, которые мы называем школами.

Во-вторых, когда прогресс становится императивом, отец больше не хочет, чтобы сын занимался его же делом, но «возвысился» до лучшего занятия.

Наконец, даже когда ремеслу можно обучить частным образом и родитель хочет, чтобы сын продолжил его дело, ему может быть просто нечего передать следующему поколению, потому что технологический прогресс изо дня в день меняет саму суть работы.

Если роль отца как инициатора сына в учебе и работе исчезла необратимо, свободное и частное время сына тоже его больше не интересует. Социализация, свободное время, разные интересы сына его не касаются. В течение тысячелетий отец учил сына кататься верхом. На протяжении нескольких поколений — на велосипеде. Сегодня он теряет авторитет на фоне электронных игр и даже компьютера, отличающегося от его собственного. Он чужой в этом мире.

Дистанция между поколениями растет: обучение становится все длительнее, родители рожают детей во все более взрослом возрасте. В первую очередь возрастает культурное отчуждение. Скорость, с которой развиваются молодежные обычаи, еще больше, чем скорость развития технологий. Молодежь влияет друг на друга. Часто мужчины ищут гомеопатическое средство от отсутствия отцовского авторитета в лице товарища, который старше, сильней, больше хвастается: как Пиноккио с Фитилем. Они быстро подстраиваются к ближнему. Они учатся у других молодых людей, которых видят по телевизору или в прессе: все они близки, хотя живут на большом расстоянии друг от друга. Таким образом, они склонны к однородности в громадном глобальном городе сверстников, живя в эфемерном мире последней моды. Так теряется географическая локализация и историческая преемственность, которые всегда помогали ответить на вопрос: кто я?

Горизонтальное обучение, типичное для подросткового возраста, распространяется быстро и характерно не только для молодежных банд. Его недостатки в том, что оно не индивидуальное и не дает инициации: оно удовлетворяет потребность в обучении, но не в познании, провоцирует постоянную потребность повторять опыт с незначительными вариациями, в тайной надежде наконец-то познать всю полноту жизни.

Однако неосознанно и отец, который иногда просто отказывается от отношений с сыном, страдает от тоски заброшенности, словно боится быть исключенным и, в свою очередь, старается войти в горизонтальное общение. Этим объясняются факты, которые показывают некоторые исследования о том, чем занимаются вместе отцы и сыновья, например, смотрят телевизор[70]. Так объясняется и тот факт, что во многих языках в последние десятилетия появилось новое явление: сын называет отца по имени, данном ему при крещении. Если я больше не прошу своего сына называть меня «отцом», наши отношения теряют ту уникальность, которая делала их священными. Но одного слова недостаточно, если исчезла культура, которая его создала. Отцу кажется, что у него больше диалога с сыном, если тот называет его как товарища, потому что общение между товарищами — единственный оставшийся вариант.

Когда отношения перевернуты, отец начинает искать ободрения — благословения, инициации — сына. Но часто получает только неуважение: это значит, что сын, хотя никогда не видел отца другим, внутри себя знает, каким он должен быть.

Эта ситуация более распространена, чем вы могли бы подумать. Еще не так давно совместное принятие пищи было в семье церемониалом. Если отец выгонял сына из-за стола, это было торжественным наказанием. Сейчас обед стал инструментом молодого человека, чтобы премировать или наказать отца. Подросток опаздывает и старается любым способом избежать совместной трапезы. Это придает ему силу, показывает, что каким-то образом он может сделать родителям подарок. На день рождения отца он мог бы остаться на ужин, в то время как его друзья идут в Макдональдс, ритуальное место детей.

Глава 22

«Добытчик»

Когда мы говорим «закон», мы можем подразумевать разные вещи: закон государственный, закон моральный, религиозный, научный, экономический. Разные, но не чуждые одна другой. От Макса Уэбера мы узнаем, что существует связь между экономическим развитием и протестантской религией: перед Богом как перед рынком, инициатива и индивидуальное пожертвование приносят плоды. Соединенные Штаты возглавили экономическое развитие Западного мира не только благодаря своим большим ресурсам и размерам внутреннего рынка: когда эти ресурсы еще не использовались и население колоний было меньше, чем население Европы, последняя уже экспортировала несгибаемые протестантские умы, приготовив для самой себя место во втором ряду.

В Америке времен отцов-основателей патриархальные структуры и протестантский темперамент различной степени суровости шли рука об руку[71]. Основная задача отца по отношению к сыну была стать *его учителем ценностей.* По сути, это была религиозная функция. И с религиозной верой считалось, что, несмотря на работу, только он, а не мать, может воспитать ребенка. В редких случаях развода дети были поручены отцу[72].

XIX век принес великие изменения. Промышленная революция заставила многих отцов удалиться от семьи, чтобы искать работу, и распространился новый менталитет. Мужчины приобрели прежде неизвестную им возможность утверждаться и зарабатывать. Протестантская идеология и высокая мобильность американского общества позволили им гораздо эффективнее использовать новую ситуацию, чем это произошло в Европе. В XX веке преображение завершилось. Основная задача отца теперь - не учитель жизни, а *добытчик (breadwinner).*

В более недавние десятилетия, с их быстрыми культурными инновациями, возникают другие идеалы отцовства. В частности, появляется образ *нового отца,* который выполняет домашние обязанности наряду с матерью *(co-partner).* Об этой фигуре мы уже говорили. Она содержит в себе великие идеалы справедливости и равенства пары. Но мы знаем, что она далека от практической реальности. В этой главе мы оставим ее в стороне — как можно оставить в стороне марксистское общество без классов, которое было благородным идеалом равенства, — и будем говорить о том, что существует.

XX век укрепил фигуру *добытчика* как в Америке, так и в Европе. Фактически кажется, что такой тип отца преобладает в Западном мире и постепенно экспортируется в развивающиеся страны. Рыночная экономика ему благоприятствует, оставляя мало места для требований психологии и феминизма. Этот родитель проводит очень мало времени с детьми, но обычно не чувствует вины: он чувствует ее, если упустил возможность заработать, даже если это произошло против его воли.

Идеал *добытчика* некоторым образом регрессивен, он возвращает нас назад во времени. В первом человеческом обществе, охотничьем, отец уходил от семьи на все более длительные периоды, чтобы принести ей как можно больше пищи. Делая это, он выполнял свой долг. Но сейчас, появляясь в семье,

он не передает обряды и образцы охоты: не выкладывает у порога окровавленного оленя, а только белье для стирки. Без этих древних переживаний ребенок может судить об отце только рациональным образом — через абстрактные таблички того, что он купил или продал, — не чувствуя никаких эмоций вокруг образа отца.

Пора связать этот момент с «парадоксом отца», который мы обсуждаем с самого начала. С этой точки зрения, отец должен завоевать привязанность ребенка, демонстрируя силу. Молодой мужчина смотрит на старшего, как если бы это была стая животных, где самцы соперничают друг с другом. Ожидается, что отец лучше, чем мать, знает общество — с его законами стаи — и научит его не набить себе шишек, а не только быть справедливым. Это ожидание старо, как мир: но сегодня оно относится, в сыне, к идеалу *спцл-breadwinner.* Сын хочет отца-победителя, отец хочет выиграть всеобщее соревнование, экономическое. Они поощряют друг друга. Укрепление идеала *breadwinner* укрепило парадоксальное положение отца.

Почему мы говорим о «парадоксе» отца? Потому что именно от отцов, не среди животных, но среди цивилизации, сыновья ждут образца более животного.

Пока отец был прежде всего учителем ценностей, обучая сына, он передавал ему закон силы, который был подчинен закону божественной справедливости. Когда он стал *добытчиком,* положение изменилось.

Идентичность отца все больше зависит от его успеха на работе. Объективный успех все больше занимает место морали. Не случайно мы начинаем говорить о недостойном отце, который в промышленной революции более соответствует неудаче общественной, чем этической: рабочий-алкоголик в Европе и позже, в Америке, безработный из черного гетто. Это первые главы семьи в отставке, они потеряли не только уважение общества, но и уважение к самим себе, заключенные в порочный круг, из которого нет выхода.

Современная семья прибегает к новой практике и имеет новый менталитет. Мать когда-то была чем-то вроде иерархической перемычки между отцом и сыновьями. Она не могла позволить себе критиковать его, а, если делала это, использовала критерии не успеха, а морали. Сегодня, в большинстве американских семей, она тоже стала *добытчиком;* если в Европе этот процент немного ниже, то это не из-за меньшего распространения этого идеала, а из-за большей безработицы. Европа уже обратилась к новым ценностям. В этой ситуации мать тоже может утратить уважение детей, если не побеждает. Но это происходит не потому, что изменился способ оценки «материнской» функции: напротив, это происходит потому, что мать берет на себя функцию «отеческую». Речь идет о матери, которая одновременно отец, то есть охотница, пусть за деньгами. Охотница, несмотря на то, что женщина, в нарушение традиций.

Мы знаем, что тревоги родителей влияют на детей, даже когда они не передаются непосредственно. Так и дети лишают своего уважения и привязанности отца, который не уважает и не любит себя, потому что не добился успеха. Часто они не уважают его, если он не имеет успеха в обществе. Традиционная этика приходит в упадок по мере того, как общество обмирщается, в то время как этика *добытчиком* формируется сама по себе.

Связанная с экономикой, она развивается вместе с развитием экономики: она подчеркивает «парадокс отца», вращается вокруг него, так как он первым ввел ее в семью. Связанная с рынком, она больше соответствует циклам рынка, чем моральным ценностям. Увлекаемая за собой глобализацией, она экспортируется из Западного мира в развивающиеся страны, где представляется, что моральная роль отца — как можно дольше прожить.

Отец как учитель ценностей почти никогда не терял уважения детей: он держал ответ только перед Богом, и только Бог мог лишить его уважения. Современный отец держит ответ перед культурой и ее критериями, которые умеют применять даже подростки. Современный отец может в любой момент быть судим детьми: это абсолютная историческая новость. Новый «моральный» закон, проистекающий из экономического, опустошает отца больше, чем закон государственный, который лишает его прав. Когда-то все отцы сохраняли авторитет, полученный от небес. Сегодня, чтобы завоевать его, они должны сражаться друг с другом, отнимая уважение у других. Закон отцов тоже переместился из вертикального в горизонтальный.

Переход от учителя к *добытчику* — это не просто переход от одной функции к другой, отличной для сына, потому что она держит отца вне дома. Эти два типа отцов находятся на разных экзистенциальных уровнях. Их разделяет философская революция, произошедшая в XIX веке и ознаменованная идеей смерти Бога. Тогда отец был духом и метафизикой. Сейчас он — только материя и заботится о детях только материально: как в роли *добытчика,* который приносит деньги детям постарше, так и в роли «нового отца», который заботится о теле маленьких детей.

После этой революции отец уже больше не представитель Отца, первый этап восходящей линии, который соединяет с потусторонним. Он на земле конкурирует с другими отцами, с матерью, с самими детьми. Он представляет ценности не высшие, а экономические: ценности земные и каждодневные того мира, в котором живет сын, и того времени, в котором сын растет. Отец более не дух. Его образ не суров. Его идеальный образ покрыт туманом: мы видим только отца из плоти и крови. Отсутствие образа отца как ведущего и стабильное место для него в фантазии сына ведут к формированию — потому что архетипические потребности не могут жить без образов — образа отсутствующего отца.

Могут ли отцы, которые живут только материальным, упрекать сыновей в том, что они утратили уважение к авторитету и вернулись в стаю? Это было бы критикой волка, который, пьющий из ручья выше по течению, чем ягненок, упрекает последнего в том, что тот мутит ему воду. Как вода течет от истока к устью, так и поколения идут от родителей к детям. Намного раньше последних были отцы, приводимые в действие экономическими обстоятельствами общества, которое осовременивалось, которые вступили в соревнование между равными, которые публично спорят друг с другом и которым могут бросить вызов даже сыновья, потому что нет больше священной иерархии, остались только цифры полученной выгоды. Если молодые мужчины легко возвращаются в стаи, с отцами это уже произошло, только не так заметно. Молодые

соревнуются в основном за выбор женщин, отцы — за то, чтобы кормить выбранных женщин и детей, которых те им родили.

Если мы будем смотреть на ситуацию таким образом, новости последних пятидесяти лет приобретают более сложный облик.

С точки зрения поколений, студенческие бунты в Америке и Европе были бунтами стай детей против авторитета отцов. Но с точки зрения архетипических образов, с которыми они были связаны, это, прежде всего, была попытка освободиться от идеала экономического соперничества как доминирующего критерия общества. То есть это был именно отказ от стаи, которая собирается не по приказу свыше, но изобретает каждый раз заново свою иерархию посредством борьбы. Эти бунты содержали в себе ностальгию общества, основанного на метафизических ценностях, и выступали против современного, в котором задачей отцов было быть сначала волками, а уже потом родителями. В этом смысле дети выступали против горизонтального уплощения отношений в Америке и Европе, хоть и делали это часто несознательно, вульгарно и с применением насилия.

В последние десятилетия молодежь замолчала. По мере взросления они тоже стали частью горизонтально ориентированного общества, где моральные ценности заменены ценностями объективно измеряемого успеха, в котором уже жили их отцы. И за ними не последовало новых поколений бунтовщиков.

Как уже заметил Фрейд, внутренний авторитет, который мы называем Супер-эго, должен представлять мораль, но тайно он может уважать закон победителя: если мои действия увенчались успехом, Супер-эго не упрекает меня сильно, даже если они не были моральными; если же я терплю неудачу, оно может навлечь на меня депрессию и чувство вины, даже если я повел себя морально. Опираясь на это бессознательное предрасположение, новый «отеческий» закон объективного успеха распространился именно благодаря своему объективному успеху, и приобрел свое историческое признание с падением Берлинской стены.

Приход Рейгана и Тэтчер, за которым последовали крушение коммунизма и включение Восточной Европы в экономическое соревнование, — события и психологические, а не только политические, глобальные подтверждения того, что миссия отцов на этой земле — *быть добытчиками.* Теперь задача государств повторить занятия отцов в более крупном масштабе, содержать в себе и быть арбитрами бесконечного количества борющихся отцов.

В постмодернистское время, в большом, цивилизованном и демократическом Западном мире миллионы раз повторяется и умножается самое древнее из преступлений: не убийство Каина Авелем — они были разные, но все-таки братья, — но более жестокое убийство Гектора Ахиллом. При убийстве брата остается жив другой брат; при убийстве Гектора, героя-отца, выживает только борющийся самец.

Отец остается отцом, потому что у него есть доход, или потому, что у него есть дети? Он чувствует, что его оценивают на основании успеха, как работника, так и родителя. В этом отношении показательно положение отцов, которые не живут с семьей, а количество таковых уже приближается к половине от общего числа и скоро может стать большинством.

Как правило, расставшись с женой, отец лишается детей. Отец не очень страдает от их отсутствия, но вновь посвящает себя роли *добытчика,* либо чтобы бороться любой ценой, либо чтобы построить новую жизнь и воспользоваться свободой. Даже тот, кто более привязан к детям, ведет себя подобным образом: ему надо больше денег, чтобы расплатиться с бывшей женой, через которую он теперь поддерживает отношения с детьми, либо чтобы сохранить их уважение. Таким образом он успокаивает чувство вины, которое примешивается к привязанности.

В целом исследования о разводе обращают внимание на проблемы, которые он создает для детей. Однако было замечено также — но, к сожалению, не изучено, — психическое страдание отца, который внезапно оказывается лишен детей *(involuntary child absence syndrome).*

Эти переживания в основном проявляются как депрессия. Ее самая заметная черта — то, что она бессознательная: отец часто не понимает, что страдает из-за отсутствия детей; в других случаях он понимает это, но не пытается исправить ситуацию, ища контакта с ними. Это новая ситуация: когда-то сын, Телемах, искал далекого отца. Следовательно, обряды и традиции, которыми мог бы руководствоваться отец, ищущий сына, отсутствуют. Или родитель находит личный способ сделать это, или задвигает в сторону проблему.

Расставание со значимыми людьми всегда приводит к страданию. Но, чтобы не ограничиваться индивидуальным объяснением, мы можем задать также вопрос, не усугубляет ли окружающий мир рану от расставания. Если доминирующие ценности — ценности успеха, разведенный отец, чувствующий удаление детей — а он неизбежно должен испытывать чувство вины, — суеверным образом представляет себе их (неважно, если параллельно он их критикует), приспосабливается к этой ситуации, подкрепляемый Супер-эго, которое говорит ему: «Ты не заслужил своих детей: поэтому ты их потерял». Кризис самоуважения отца может найти подтверждение в объективных фактах. Тот, кто потерял детей, чувствует себя наказанным не за свою моральную ошибку, которая может быть искуплена, а за свою никчемность.

Этот внутренний упрек учит отца двум вещам. С одной стороны, она напоминает ему, что мало породить детей: он обязан выбрать ребенка и продолжать бороться за него. С другой, говорит, что, в культуре соревнования, никакой выбор не ведет к бесспорному результату: можно заслужить сына, а можно потерять его.

Психический дискомфорт разведенного отца подпитывает порочный круг. Его трудно разорвать, потому что помимо индивидуальных особенностей есть два эпохальных элемента, которые укрепляют его: общий крах отца, в который вписывается его драма, и ценности, которые ставят материальный успех выше этики. Теперь он чувствует себя униженным, потому что его обязанности заключаются только в экономическом вкладе. Он не понимает, что вся его жизнь до развода — и, по сути, жизнь всех отцов — была сосредоточена на этом, как если бы это было вершиной острова, который тонет.

Но не новое поколение молодежи первым отказалось от восходящих ценностей. Эта новость уже была подана нам историей: непосредственным

образом промышленной революцией, косвенным — французской и американской революцией, которые ей предшествовали, потому что они происходили под знаком братства. Речь идет в частности о цене прогресса, и нет смысла жалеть о нем, потому что мы питаемся его плодами. Освободив людей от высших, хотя и суровых, авторитетов — отца, короля, Бога, — и уравняв всех в правах, история породила соперничество, для которого раньше не было условий.

Стая отличается от группы, потому что это - скопление равных на бегу, без высшего авторитета, без отца. Она тоже нуждается во внутренней иерархии, иначе она разрушила бы саму себя за счет борьбы между своими членами. Иерархия эта основана не на подлинном авторитете, как в отношениях между поколениями, а на силе: от самого слабого члена до альфа-самца. Каждый немного сильнее предыдущего. Силы используются не внутри группы, а направляются вовне.

Нас интересует не зоологическая природа стаи, а то, что ведет к объединению двух сыновей без отцов, таких как Пиноккио и Фитиль. В этой классической истории для детей. Пиноккио — неполноценный сын. Во-первых, он лишен матери: фея станет его приемной мамой только дальше в книге и не играет большой роли. Отчасти, он лишен и отца: Джепетто хотел иметь сына — он выбирает его, как должен сделать отец, — но ему удается только сделать его из дерева, а не превратить в настоящего мальчика. Это бедный плотник, не имеющий ни власти над сыном, ни могущества, ни денег.

Пиноккио отказывается ходить в школу, не хочет подчиняться долгу и авторитетам, пока не встречает мальчика немного старше, большего бунтаря и более уверенного в себе: Фитиля. Пиноккио очарован им. Фитиль не обладает властью или опытом, которые позволили бы ему защитить Пиноккио: он ничему его не учит, это не фигура для интроекции и создания внутреннего авторитета. Пиноккио и Фитиль вместе хулиганят, опьяненные ощущением общей силы. В результате они подвергаются серьезному наказанию: они превращаются в животных, причем не в свободных. Они станут ослами, в то время самыми эксплуатируемыми из всех животных.

В своей основе на эту историю похожа современная и правдивая автобиография Петера Хартлинга. Немецкий писатель вспоминает, как в детстве он презирал своего отца, кроткого и молчаливого адвоката, и предпочитал ему агрессивных мужчин постарше из Гитлерюгенда, избравших идеальным родителем самого Гитлера. По окончании войны отца забрала Красная армия, и он не вернулся. В ходе посмертных исследований, проводимых все интенсивнее по мере того, как более далеким становилось воспоминание, сын обнаружит, что клиентами отца были евреи и противники нацизма, что скромный адвокат защищал их, часто рискуя жизнью. Этот негероический буржуа был тем героем, которого искал мальчик, но узнал он об этом только тогда, когда оставалось лишь жалеть о нем. Как мы уже говорили, нацизм и фашизм не были реакционными и «отцовскими» идеологиями. Это были движения, которые заставляли стаю Фитилей направлять свою агрессию на своих отцов[80].

Пара Фитиль и Пиноккио поражает фантазию, потому что это веселый, импровизированный и бесцельный союз двух молодых людей без отца. Если мы

хотим объяснить себе бесконечный успех простой истории о деревянной кукле, мы не должны ограничиваться длиной его носа. Возможно, эта история содержит в себе внушающее озабоченность предвидение судьбы современных молодых мужчин.

Глава 23
Поиск отца

Но и отец твой потерял отца;
Тот — своего; и переживший призван
Сыновней верностью на некий срок
К надгробной скорби.
«Гамлет», I, 2, 89-92, пер. М. Лозинский

Сейчас мы должны будем признать, что наше исследование *об* отце — это также поиск *отца.* Оно обращено к читателю, которого интересует и то, и другое. Книги о матери не бывают такими двусмысленными.

Мы не можем закончить рассказ об отце, не поговорив о сыне, который его ищет. Взглянем тогда в другую сторону и сосредоточим свой взгляд на сыне. Но это не история, рассказываемая с другой точки зрения, не отцовской. Это именно та форма, в которой мог бы сохраниться пристальный взгляд отца.

В поиске сын хочет достичь нескольких целей. Искать отца. Попытаться узнать его изнутри, как когда-то узнал его снаружи. Попытаться узнать отца внутри себя, т.е. стать взрослым.

В самом простом описании это путешествие сына.

С того момента, как Телемах в первых песнях «Одиссеи» ищет Улисса, поиск отца становится центральной темой литературы Западного мира.

Телемах должен добиться этого не только потому, что в тот момент борется с женихами-узурпаторами, но потому — так он объясняет — что сын сам по себе не может знать, от какого отца он родился, и ему недостаточно узнать это от матери.

Когда они, наконец, узнают друг друга, Улисс просит Телемаха: не реагируй, даже если женихи будут оскорблять и унижать отца, которого ты, наконец, нашел[82]. Не сомневайся в конечной победе.

Это предложение, которое в поэме является подготовкой к истреблению злодеев, для нас приобретает более важное значение. Оно почти что содержит пророчество, и, может быть, поэтому для нас завершение «Одиссеи» так актуально.

В близкой нам истории на отца нападали, его унижали движения, которые боролись со злоупотреблением властью и мужским насилием. Но истории удалось ограничить только отеческие эксцессы, но не мужские. Она укротила высокомерное отцовство Бога-отца, короля-бога и отца-бога. Но не мужское высокомерие. В самом деле, на отца нападают мужчины-анархисты, похожие на женихов, а сам отец склонен реагировать как животное-самец.

Переход к смирению — и, если это необходимо, унижение, — отца обязательны, чтобы очистить его власть. Терпеливый Улисс кроток и умеет ждать победы. Он кроток настолько, что способен назвать себя Никем. Его терпение и его унижение противопоставлены ненужному насилию. Если это получится, нам вернут власть отца без мужского высокомерия. Если это не получится, останется мужчина, склонный к насилию, но без власти. «Одиссея» — пророчество об этом риске и этой возможности: поэтому и сейчас путешествие Телемаха и возвращение Улисса говорят о мире, не чуждом для нас.

Не всегда сын должен совершать путешествие в материальном плане. Его паломничество может быть символическим. Быть поиском таких отношений, которые придают отцу подобающееместо, отдавая ему должное.

«Гамлет» — это, наверное, самый известный пример. Если мы попробуем выделить этот аспект из сложной трагедии, мы заметим, что, при разговоре о первых университетах, там предвосхищается тоска студентов XX века по отцу. Как Телемах, герой в начале — пленник пассивной ностальгии по неожиданно скончавшемуся отцу. Отец является в виде призрака, который ищет отмщения. Гамлет хочет мстить. Но, чтобы это сделать, он должен, прежде всего, понять отца; и, поняв его, стать, в свою очередь, внутренне отцом. Он должен возобновить контакт со студентами Виттенберга, в то время одного из первых рассадников вольных мыслителей. Как студенты Беркли и Сорбонны в XX веке, эти беспокойные товарищи думали, что преодолели отца, в то время как на самом деле они его искали. Все отчаянно ищут истину и авторитет, которых не находят больше вовне. Гамлет должен снова встретиться с ними, пообщаться с ними, чтобы преодолеть их односторонность и их отчаяние сыновей без отца.

Поиск отца — тема древняя и архетипическая, которая говорит символически индивидууму и обществу, что отец — это длительное усилие, никогда не завершаемое окончательно. Отец: не суть важно, быть отцом или иметь отца; нет разницы между взглядом на отца и взглядом на сына. Неосознанный пережиток филогенетической памяти, этот поиск рассказывает об экзистенциальной хрупкости. По сути, как Ветхий, так и Новый Завет — это бесконечный поиск Отца, который раз за разом находится, чтобы вновь быть потерянным. Эти истории заразили скрытой тоской весь Западный мир. Тоска эта соответствует тому, что мы обсуждали на первых страницах: отец — как личный, так и тот принцип, который позволяет сыну стать в свою очередь отцом, — не дан сыну. Символический «поиск» отца, о котором рассказывает Хартлинг", начинается именно с образа его материального расследования. В первых воспоминаниях автора отец каждый день выезжал на автомобиле в офис. Когда Хартлингу было четыре года, однажды он убежал из дома на трехколесном велосипеде и попытался поехать за ним, и его нашли посреди улицы, заполненной транспортом.

Чем ближе к современности, тем отец делается более далеким, а поиск более фрагментарным. Когда прекратилась жизнь еще молодого Альберта Камю, между колесами машины нашли 144 страницы рукописи о поиске отца[84]. В свою очередь отец Альберта умер очень молодым. Писатель копался в архивах Алжира, чтобы узнать его, и возлагал большие надежды на этот

автобиографический роман[85]. Преждевременный уход отца — событие, которое погружает в горе сына как у Гомера, так и в XX веке.

Даже кино — экспрессивная форма, которая рискует отказаться от архетипов во имя эфемерной новизны и зрелищного эффекта, — полно исследований об отце разного рода. Драматических в трилогии Марты Мезарос «Дневник для моих детей» (Венгрия, 1993), нежных в «Новом кино "Парадизо"» (Италия 1988) Джузеппе Торнаторе. Вспоминая успех «Бэмби» (США 1942), Уолт Дисней делает «Короля Льва» (1994). В Америке уже и индейское кино занимается поиском отца *{Smoke Signals,* 1998). Под ритм одноименного рока, который является криком боли по уходу отца, Алан Паркер реализует фильм «Пинк Флойд — Стена» (Великобритания 1982). Греческий режиссер Тео Ангелопулос говорит об отсутствующем отце в «Пейзаже в тумане» (Греция - Франция 1988), немец Вим Вендерс — в *Alice in den Statten*[86] (Германия 1973) и в *Paris, Texas* (США 1984), в то время как более или менее непосредственно два больших сериала *Heimat* (Германия 1984) и *Die zweite Heimat* (Германия 1992) Эдгара Рейтца посвящены двум поколениям немцев, которые потеряли отцов в ходе мировых войн. Это не только роскошь более богатых стран. Кино бедных также оплакивает недостижимого отца: *Central do Brasil* Вальтера Саллеса (Бразилия 1998), *Le cri du cceur* Идриссы Кедраого (Буркина Фасо 1994), *Poussieres de vie* Рашида Бушареба (Алжир - Вьетнам 1994) и так далее. Предшественник всех этих фильмов и самый незабываемый из них, потому что самый жестокий, — *Los olvidados* Луиса Буньюэля (Мексика 1950).

С древних времен и до порога наших дней в подобных рассказах говорилось о вечном архетипе: неосознанном следе отцовской хрупкости. Сегодня к этому добавилось нечто более близкое к сознанию, более точное и срочное: необходимость найти отца, поиск которого все труднее.

Хотя трудно давать интуитивные оценки такой большой проблеме, все же скажем, что подобные исследования — утешительный признак: хотя отец сегодня отступил в тень и забыл о своих детях, дети не забыли его. Если отцовству надо обучать, чтобы этот навык не потерялся, как говорила Маргарет Мид, то следующее поколение может состоять из детей, которые еще знают отца, потому что их воображение продолжало видеть его: потому что они сами себя этому научили.

Мы не думаем, что на это усилие воображения способны только писатели или режиссеры, чьи творческие порывы придают форму неосознанной ностальгии. Возьмем пример из повседневной жизни.

Паола — умная и энергичная девушка,, которая учится в университете. Она рассказывает о печальных вещах откровенно, но немного шумно, словно старается избегать грусти.

Она выросла в семье, центром которой была мать. Ее семья подобна матриархальным семьям Латинской Америки, о которых мы говорили, но в общественном положении есть и существенные отличия. Мать образованная, активная и позитивная, и Паола унаследовала ее характер. Отец происходит из древнего и богатого рода, но, похоже, так и не родился как личность. Скорее из-

за нерешительности, чем из нечестности, он оказался замешан в финансовых скандалах и потерял большую часть состояния.

Насколько хватает памяти, Паола помнит отца зависимым от алкоголя. Даже после того, как выпил, он остается грустным.

«Когда он был пьян, он спрашивал: «Ты меня любишь?» Он всегда считал меня любимой дочерью. Я была рядом с ним и не осуждала. Мне кажется, что я ему помогала. Я и этому научилась у своей матери: хотя он очень мало давал взамен, она всегда ему помогала; и только несколько лет назад, когда мы, дети, были уже взрослыми, ей удалось расстаться с ним».

Но родители все равно продолжают встречаться, и отец по-прежнему зависит от матери. После расставания с матерью он стал агрессивнее, что позволяет Паоле осуждать его и критиковать мать за то, что она позволяет отцу оставаться ребенком.

Какое-то время тому назад отец аккуратно заткнул все щели в доме, принял снотворное и включил газ. Его обнаружили и спасли чудом. Он провел много времени в больнице, жалуясь, как избалованный ребенок и, похоже, не помня, по какой причине он там оказался.

«Врачи и полиция не могли поверить, что он выжил, ведь он все так хорошо организовал. Я знаю об этом, потому что я ознакомилась со всей информацией, прочитала их отчеты, подслушивала то, что они говорили, когда им казалось, что я не слышу. Я постаралась узнать все о моментах жизни моего отца, которые должны были стать последними, и о которых он сейчас ничего не знает. Я думаю, что узнала все возможное.

Я могла представить себе, что он совершит попытку самоубийства. Может быть, одного этого было бы недостаточно для того, чтобы я пришла к аналитику.

Может быть, у меня не было отца, но я этого не понимала. В некоторых отношениях он был моим сыном и в этом отношении мы были очень близки. Он не раз говорил: "Если бы не было вас, я отказался бы от жизни". Но мы были.

Попытка самоубийства была совершена утром. Это было обыкновенное утро. Я обнаружила, что он только что позавтракал. Я думала: попытки самоубийства совершают вечером, или во время бессонной ночи, в нетрезвом виде; нет, это было в восемь утра, и он только что выпил кофе с молоком. Потом я узнала, что он позвонил по телефону и отменил все дела на этот день. Я начала понимать, что даже нормальное утро можно выбрать для того, чтобы уйти из жизни. Но чего-то не хватало.

Он, говоривший, что живет для нас, не мог вот так всех бросить, не попрощавшись с детьми, хотя бы со мной. Должно было остаться письмо, записанная кассета, хотя бы строчка. Когда он был в больнице, я перерыла весь его дом, даже ванную, даже гараж. Как искательница сокровищ или увлеченный археолог, я продолжала исследования даже тогда, когда было уже ясно: я ничего не найду. Может быть, я продолжила бы искать вечно. Но его выписали из больницы. Его дом опять стал его домом, а для меня — местом без особого значения.

Сегодня мне понятно, что я не сдавалась, как не сдаются, когда человек уходит, даже когда уже понятно, что его уже нет в живых. Сегодня мой отец

жив физически, и естественно радоваться этому. Но для меня, искавшей письмо, в существовании которого я была уверена, не найти его значило остаться без отца. Тот факт, что этого письма никогда не было, означал, что моего отца никогда не было. Нет смысла говорить, что я пришла к аналитику продолжить это исследование».

Даже в статье 30 Конституции Итальянской республики — рожденной после крушения фашизма, — провозглашено: «Закон устанавливает нормы и ограничения по установлению отцовства». Забавно встретить поиск отца, который уже знаком нам как мифологическая тема, на страницах современного закона. Очевидно, миф развлекается, являя свой вечный лик во преходящих формулировках.

Во все эпохи, несмотря на усилия законодателей уже со времен Рима, количество детей, оставленных родителями, было огромным. По причине традиционных привилегий, меньшего физического участия и из-за внутренней неотесанности мужчины намного чаще бросают детей (мы намеренно не называем таких мужчин отцами).

Мы знаем, что поиск отца — это не только реальная необходимость, но и универсальная психологическая потребность. Каждый, как Телемах, хочет знать, чей он сын. Рано или поздно приемные дети стараются узнать своих настоящих родителей, даже если приемные дали им все. Если закон интересуется не обоими родителями, а только отцом, это потому, что он может исчезнуть, не будучи идентифицирован. Законы занимаются устранением материальной несправедливости, а не психологическими потребностями. Но для нас современные нормы поиска отца также символичны. Эти законы хотят вычислить родителя, которого, больше нет. И отец, в отличие от былых времен, сегодня чаще психологически отсутствует, даже когда он известен. Следовательно, в юридических правилах мы можем видеть символ пустоты, которая наполняет тревогой времена, в которые мы живем. Каждое общество героическими образами говорит о своих ценностях: классическая древность - эпосом, Средние века — христианскими образами, современное светское общество — юридическими; судебные власти — единственные герои, признаваемые в современной Италии.

Тот факт, что мужчина рождает ребенка и не хочет быть ему отцом — одно из самых частых и ужасных преступлений всех времен. Ужасно оно потому, что это противоправное действие отличается, например, от воровства: при воровстве можно вернуть украденный объект или заменить его равноценным предметом; отсутствие отца влияет на всю жизнь, и даже на жизнь следующего поколения. Технический прогресс совершил в этой области, без лишнего шума, одну из самых великих революций всех времен: сегодня с помощью простого анализа крови на ДНК отцовство устанавливается без сомнений. То, что отцы оставляют миллионы детей во всех краях цивилизованного Западного мира - это несправедливость, не меньшая, чем рабовладение в Америке или крепостничество в России. Поразительно, что эту несправедливость может победить простой лабораторный анализ, без потоков крови в войне за независимость, без бойни между красными и белыми армиями.

Техника может внезапно и навсегда установить веками существовавший порядок. Она волнует нашу душу, у которой нет времени приспособиться, потому что новый поворот навсегда меняет древнюю традицию.

Если передать минимумом слов сложную обстановку, то можно сказать, что мужчина привык выбирать, вступать ли ему в половую связь и с какими мерами предохранения. Потом, в случае беременности, он выбирал, признавать ли ему ребенка. В отличие от женщины, он мог считать эти две вещи не зависящими друг от друга. Отчасти патриархальное общество было основано на этом отсутствии принуждения, которое отличало отца от матери и придавало настоящее содержание его отношениям с ребенком: они основывались на *власти выбора,* которую имел мужчина. Если он распоряжался ею позитивно, это делало его отцом; если негативно, он возвращался к животному поведению. Сегодня, по крайней мере, по законам моей страны, этот «порог гибкости» сместился. Пределы, в которых мужчина может выбирать, изменились в пользу женщины.

Мать может отказаться от материнства, прервав беременность или даже после рождения ребенка, заявив, что не хочет быть его матерью и отдав его на усыновление. Мужчина же, с того момента, как он вступил в половую связь и оплодотворил женщину, больше не может освободиться от «поиска отцов» до конца жизни. Ребенок может указать на предполагаемого отца и привлечь его к суду в любом возрасте. Это право определять отца и выдвигать к нему экономические требования не имеет срока давности, в отличие даже от убийства, за которое больше не наказывают по истечении определенного срока.

В такой стране как Италия, в которой менталитет мужчин в массе не отличается тонкостью, они психологически не готовы принять эту революцию. В условиях критики отца, которая действует уже какое-то время, новые тесты, позволяющие определить отцовство, могут вызвать у мужчин паранойю и манию преследования. Хотя проблема поиска отца является древней как мир, и новая техника только ее упростила. Если мужчины и чувствуют себя преследуемыми, то лишь по причине того, что им недоступно символическое измерение проблемы. Новая техника, сама по себе, несет только ясность. Сама по себе, техника однобока. Поиск отца — это не только его физическая идентификация. Это громадный миф, который больше не находит мифологического выражения. Посредством гражданского кодекса и генетики, он пытается выжить через язык еще признаваемых «мифов»: светского закона и науки. Одинокий отец беспомощен перед лицом исчезновения вечного мифа, и смутное понимание этого вызывает у него подавленность.

Еще один раз заметим, что материализм, преобладающий в рациональной мысли нашего общества, может увести очень далеко от символического мышления, которое в психологии как таковой остается центром притяжения.

Поиск отца не может быть только юридической, статистической и экономической проблемой: найдя отца, который скрывался, можно вынудить его дать ребенку экономическую помощь, но не отческое благословение, в котором ребенок нуждается. Поиск — не только индивидуальная проблема. Это страдание всего общества, которое старается, чтобы отцы преобладали над самцами из стаи. В этой борьбе сама цивилизация оказывается в опасности:

сегодня победа отцов по-прежнему далека, а регресс к безответственному самцу достиг невиданного размаха.

Мы убеждены, что путешествие к отцу, поиск его ребенком, является необходимой частью идентичности обоих, по очень простой причине. Если отец, через культуру, в которую он погружен, чувствует, что отцовство — это намеренный акт, то и сын теми же способами должен понимать что-то подобное.

Если для того, чтобы стать отцом, недостаточно породить физически, но надо принять ребенка, ребенку тоже недостаточно быть порожденным. Он должен, хотя бы косвенным и неосознанным способом, выразить желание иметь отца. То есть отца ищут не только потому, что, в отличие от матери, он часто далек, из-за войны или из-за работы, время от времени, или постоянно. Как приемный ребенок рано или поздно ищет настоящую мать, так любой сын рано или поздно будет искать отца, даже если тот всегда был рядом. Ребенок, наделенный чуткостью, понимает, что отец — тот, кто его выбрал: отец всегда продукт культурный, поскольку природного отца недостаточно. Ребенок должен в любом случае «искать» родителя, и, даже если таким образом он вновь найдет своего биологического отца, выбрать его в свою очередь. В противном случае он направится к отеческой фигуре инициации, наставнику, которого даст ему его история. С точки зрения символов потребность, которая привела к поиску, остается той же.

Отсутствие отца заметно всегда, и в этом смысле наша эпоха не исключение. Ново в ней то, что делает ситуацию труднее, и это отсутствие поиска отца.

Заключительные рассуждения

Мы посмотрели на проблему с психологической точки зрения. Для аналитика норма - не давать советов пациентам; что же тогда может быть сказано о том, чтобы предлагать совет целому обществу? Более чем когда-либо аналитик-юнгианец не располагает здесь универсальным лекарством. Он считает, что страдающий в первую очередь нуждается в индивидуации: он должен преодолеть внутренние противоречия, понять свои потребности и, насколько это возможно, стать собой. Он предлагает пациенту не готовое идеальное решение, а поиск. Следовательно, говоря об отце, в этой книге не будет написано: «Отец должен быть таким-то». Мы скажем: «Ищите его, неважно, внутри или вне себя».

Мы считаем полезным еще раз подтвердить, что фигура отца - это не легкодоступный или уже готовый образ. Тот, кто хочет иметь его, должен его искать; и тот, кто хочет быть им, должен заняться исследованиями. Если этого не произойдет, забота о детях снова станет уделом только женщин.

В поиске отца, как и всегда в процессе индивидуации, необходимо быть искренним с самим собой. А чтобы быть искренними, мы должны сначала задать вопрос: действительно ли в наши задачи входит поиск отцовской фигуры? Иногда за бурной деятельностью скрывается лень и потакание себе.

Идеальный отец должен благоприятствовать росту, дифференциации, автономии детей. Но в исторический момент, характеризующийся отсутствием отца, поиск отцовской фигуры может скрывать в себе отказ от индивидуации, невинную попытку передать управление некой внешней силе.

Этот отказ от личной ответственности мог бы повторить в области менее политической процесс, который превратил XX век в утробу тирании, хищного зверя истории. Когда закончилась первая мировая война, с крушением империй, Европа могла пережить эпоху новой неуверенности или новой свободы. Мы знаем, что события приняли свой губительный ход, потому что для большинства людей контроль над неуверенностью важнее, чем использование свободы. Не стоит удивляться, если многие обменяли второе на первое.

Мы дошли до рождения диктатур не только по политическим мотивам, но и из личных потребностей: растущее отсутствие отцов и упадок их авторитета способствовали поиску безопасности в публичных структурах. За политической потребностью стояла потребность в сильном отце.

Сегодня ситуация кажется иной. Очевидно, что потребность в отце — это поиск чего-то, а не бегство; и он касается частных структур семьи, а не политических структур общества. Но в наших психических движениях всегда есть аспект бессознательного; и мы не имеем права считать себя более сознательными, чем люди, которые два или три поколения назад открыли путь диктатурам: они считали себя более сознательными, чем люди за пару поколений до них, и ошибались. Мы не можем исключить, что как они искали диктатуру, потому что жаждали отца, так и наш поиск отца включает в себя тайную ностальгию по диктатуре. Неуверенность, которая побуждает сегодня искать отца повсюду, — родственница той, что привела к тиранам. Если наша

психология — психология бессознательного, мы не можем дать определенных ответов и вынуждены продолжать сомневаться в самих себе.

Следовательно, с одной стороны, стараясь реализовать свою потребность в отцовской фигуре, мы должны с другой стороны сохранять острую психологическую бдительность в том, что касается развития политической ситуации, особенно в связи с появлением новых политических лидеров. Было бы горькой иронией, если бы эта проблема, может быть, самая сложная из всех, с которыми Западный мир вступает в XXI век, была решена за счет Отца Народа — приспособления, рожденного в XIX веке, выросшего, дегенерировавшего и на первый взгляд умершего в XX веке.

С другой стороны, в частной жизни, эта потребность толкает на поиск гуру и психотерапевтов. Если слово «перенос» и фигура аналитика имеют еще какой-то смысл, мы ждем, что те, кто чувствует проблему, обратится именно к аналитикам. Но мир, в котором он живет, будет «материнским»: не столько из-за статистического преобладания матерей, сколько потому, что каждодневная жизнь экономики и техники — «материнская», она представляется в большей степени ориентированной на оральное удовлетворение, непосредственное потребление, все более определена результатом в реальном времени. Парадокс поиска отца приведет к поиску психотерапевтической помощи, но отсутствие знакомства с отеческими качествами проекта и долгих сроков побудит искать краткой терапии, с надеждой на получение результата в реальном времени.

Устремляясь к первичной стадии, психоанализ способствовал узнаванию матери и частий жизни, внеся вклад в анорексию отца и общества. Теперь он должен вернуться к отцу, как сделал в начале Фрейд. И он должен рассматривать его как проблему коллективную и историческую, потому что общество и история — место жительства отца от ночи времен. Но этот переход должен быть осуществлен и еще по одной причине.

Если XX век — это век диктаторов, «ужасных отцов», он также и век психоанализа. Исследования Фрейда, Юнга и других мыслителей изменили культуру Западного мира: литература, искусство, даже, как мы уже замечали, политика больше не понятны, если мы исключим психоанализ из их толкования и из сил, которые, в свою очередь, на них повлияли. Мы не можем сказать, что от этого век стал лучше: но, без сомнения, он стал бы неузнаваемым. Индивидуальное применение психоанализа, в клиниках в строгом смысле слова, без сомнения, преобразило многих людей. Но эти последние остаются ограниченной группой. В отличие от того, что полагал одинокий венский невролог, давший ему жизнь в XIX веке, в течение XX века главным местом применения психоанализа стало общество и история. Мы коснулись этой точки зрения в своем исследовании об отце, посвященном не столько психологии его как индивидуума, сколько психологии истории и культуры отца.

При сегодняшнем отсутствии отца единственное, что несомненно — это необходимость продолжать говорить о нем и искать его. Конечно, слова не вернут нам отсутствующее; может быть, если слишком много настаивать на них, однажды они могут надоесть. Мы заявляем, что именно такой надоедливости мы хотим. Худший психический вред наносится не при решении проблемы, а когда мы ее не осознаем. И, если неосознанная потребность в отце

имеется, и она, помимо прочего, приводила к возникновению тиранов, то мы будем говорить об отце до тошноты. Пусть лучше нас будет тошнить от отца, потому что это будет тошнота от его политических субпродуктов, то есть предотвращение тирании.

Мы начали свое исследование, заметив, что большое количество научных работ об отце говорит не о сложном анализе его фигуры, а, скорее о сложной ностальгии по нему. С матерью подобных вещей не происходит. Отец настолько защищен чувствами, что они неосознанно проявляются в грустных выражениях речей о нем.

Эта ностальгия — психологический факт: она может найти эстетическую сублимацию, но не общественное решение. Отец в обществе не может стать таким, как раньше. Как мы могли бы воссоздать его и предложить его стае, которая ищет его авторитета, и детям, которые оплакивают его любовь? Мы можем догнать того, кто только что свернул за угол, и вернуть его обратно. Но отец начал исчезать в незапамятные времена; может быть, с тех пор, когда христианство сместило точку зрения с отца на сына.

Вот другой вопрос, на который мы должны ответить: мы проводим искреннее исследование или ищем только подтверждение своей идеи? Мы не можем искать отца с психологией того, кто ищет быстрых решений, как происходит в большом количестве литературы, которая находится в нашем распоряжении: мы не найдем его так, потому что отеческий проект, по сути, развивается на протяжении долгого времени и состоит в способности не искать немедленного удовлетворения. Иногда исчезновение отцов приписывается давлению психологии феминизма, молодежных бунтов и других событий, происшедших при жизни последних поколений, которые бросают обвинения в адрес отцов, вынуждая их предпочесть бегство. Эти речи легковесны, как бумага, на которой они написаны, потому что современное отсутствие отца — это, как мы видели, окончательный продукт тысячелетий отставки. Обвинения отцов в адрес детей и подруг представляются проекциями преследования. Отец осознает наконец, что у него есть проблемы с более женственными и подростковыми частями своей личности, все менее целостной; но, в большинстве случаев, продолжает проецировать их вовне, на тех, кого теперь считает своими основными противниками.

Скажем больше: эти недавние раскол и проекция накладываются на другие, очень древние. Мужчина психологически всегда различал женщин на две противоположные фигуры: мать и любовницу. Наша реконструкция отцовской психологии во времени объяснила нам, что в основе, еще прежде этого деления, стоит мужская проблема. В самом деле, мужчина имеет в себе две личности, слишком далекие друг от друга, чтобы быть синтезированными в процессе естественной эволюции. Они не объединились и в историческом и культурном процессе: отец и мужчина-самец. Если мужчина на протяжении своей истории приписывал женщине две отдельных личности — одна из которых доступна для сексуальных отношений, а другая растит детей, — он делал это потому, что внутри себя ему никогда не удавалось объединить в одну личность соответствующих мужчин. Проецируя на подругу свою самую древнюю

проблему, мужчина заявляет о своей неспособности сформироваться определенно и окончательно как отец.

Сегодня в Западном мире легкомысленный дух детей преобладает над проектами отцов: как на протяжении веков духовная сытость монотеизма, в котором Спаситель уже пришел, преобладала над напряженным и терпеливым ожиданием того, что ждет в будущем. Сначала на небе, потом и на земле Сын загнал Отца в угол.

История отца в Западном мире — это очень долгая кривая упадка, усыпанная временными подъемами. Ожидание его возвращения — это либо самообман, либо временные явления. Патриархата больше не будет: теперь нет отца, возвышающегося над всем обществом и являющего мощный символ порядка и структуры.

Мы могли бы представить себе, что исторический патриархат, воплощенный в исторических мужчинах, как некие фазы «эволюции» общества, существует в режимах, где мало демократии, но которые необходимы, чтобы достичь демократии более полной. Отцы, как нам представляется, изобрели цивилизацию, по крайней мере, в ее западной и патриархальной форме. Отчасти они сопротивлялись ее эволюции, отчасти ей способствовали, приводя к взрыву таких событий, как Возрождение или Французская революция. Это случилось намного раньше, чем эволюции начал требовать феминизм.

В Средние века даже вольный мыслитель говорил о Боге как о буквальном присутствии. После борьбы за сохранение его в таком качестве, после Возрождения, Просвещения, Ницше, сегодня большая часть Западного мира воспринимает бога как метафору и считает, что как метафора, хранимая в нашем сердце, он способен вдохновлять нашу жизнь не хуже, чем личность на небесном престоле.

Подобным образом Отец, который вдохновляет нашу ностальгию, тот архетипический Отец с большой буквы, вряд ли вернется, чтобы воплотиться в реальных личностях. Он выживет как вдохновение, как психологический принцип, требующий порядка, проекта, способности ждать удовлетворения потребностей. Разница в том, что для того, чтобы ответить на его голос, мы должны будем — должны были бы — не откликаться акустически на внешний голос, а отвечать психологически на голос внутренний. История состоит из этого тоже: не только из людей и цивилизаций, которые рождаются и умирают, часто оставляя воспоминание, которое учит большему, чем их материальное присутствие, но также из символов, которые иногда воплощаются, а иногда как будто бы исчезают: но они оставляют за собой метафоры, в которых тот, кто хочет — даже мать — может найти для себя наставление.

Если мать постепенно будет присваивать себе какие-то качества отца, это произойдет не только потому, что общество чувствует его отсутствие и оказывает давление, чтобы эти качества не были потеряны. Для матери легче перенять психологию отца, чем наоборот. Отец, в самом деле, создан культурой: это продукт общества, которое может, хоть и медленно, *воспроизвести* его, изменить его. Мать, которую мы знаем сегодня, — очевидно, тоже продукт

цивилизации, но на биологическом пьедестале: скрытый под напластованиями истории, он не виден непосредственно, но и сделать его копию непросто.

Постепенное перенятие отцовских качеств матерью имеет ограничения другого типа. В рамках семейной ячейки и до подросткового возраста детей препятствия относительны. Мы знаем, что сама по себе семья, в которой есть только один из родителей — почти всегда это мать — не патогенна; она сталкивается с препятствиями меньшей организаторской способности, меньших экономических ресурсов и предрассудком, согласно которому она менее обучающая, что приводит к порочному кругу. Но, когда дети вступают в подростковый возраст и в обществе, ткань которого порвана, начинают организовываться в банды, задача матери в области замены мужских качеств может стать невыполнимой.

Группировки молодежи, даже когда они смешанные, обладают мужской психологией, грубой и регрессивной. Даже теперь, когда прошло неизмеримое количество лет эволюции, архаическая орда, животная стая имеют мужскую иерархию.

Одна из основных бессознательных задач группировки — бросить вызов отцу. За борьбой мы чувствуем потребность быть посвященными во взрослую жизнь, и немногие могут ответить на этот вызов. В некоторых случаях это способен сделать католический священник, которого волнуют дела мира сего: поэтому, в моей стране, иногда он оказывается последним действующим барьером против распространения мафии. Принимая во внимание грубость, неготовность к символической обработке, буквализм, банда часто ждет от мужских фигур конкретного проявления силы. Мужчине, которому брошен вызов, с трудом удается победить и заставить себя уважать: полицейские, социальные работники и тому подобные функционеры вынуждены играть свою роль и буквально использовать свою власть, самая важная сторона которой — символическая и психологическая.

В условиях жизни группы, в которой большая часть подростков вела до этого жизнь в семье, законы более просты, и существование менее индивидуально. Масса понижает уровень интеллекта отдельных личностей и делает их легкой добычей стереотипов. Для женщины контролировать этих подростков труднее, чем для мужчины, потому что неосознанные коллективные ценности всегда с опозданием приспосабливаются к новым временам. Отцы уже по большей части отсутствуют, в то время как окружающая культура, особенно попсовая, в которую погружаются многие подростки, выйдя за пределы семьи, плохо дифференцирована и строит свои понятия на простом дуализме, таком как отец/мать, мужчина/женщина. Мать без мужчины-партнера может заменить последнего своими собственными отеческими качествами, пока дети преимущественно находятся дома, и при условии, что учителя и товарищи не относятся к ситуации с предубеждением. Позже, когда начинается соревнование между подростками-мужчинами, их психика легко регрессирует и требует различий более буквальных («материальных»), менее психологических: следовательно, требует, чтобы отеческий и материнский полюса были не внутри одной и той же личности, а соответственно воплощались мужчиной и женщиной.

Если на самом деле психология вновь заговорит об отце, она отнесется к его постепенной регрессии к мужчине доотеческого периода как к гигантской коллективной психопатии.

Это эпохальный уход от цивилизованности. Не только громадный разрыв в общественном порядке, но настоящий отход к условиям, которые, как мы думали, мы преодолели. Однако при своем прерывистом развитии и охлаждении в отношениях между людьми, общество Западного мира все больше уважает ответственность и взаимные права. Его происхождение было связано с ответственностью отцов за семьи и детей. Сейчас ответственность отцов, если не исчезает вовсе, склонна сводиться к экономической, а их психология сморщивается до психологии простого самца. Подобный откат прерывает течение цивилизации, примерно так же, как тирании XX века: ужасные отцы, однако, в свою очередь являются в кризисе отца под видом паллиативного утверждения сильных отцов. Эти регрессии к отцам-диктаторам имели цель: политическую, военную, экономическую. В упадке отца как принципа ответственности, напротив, не видно цели. Даже если бы женская половина человечества могла восполнить этот пробел в плане семейном, общество продолжало бы страдать от зла, которое так глобально поразило его мужскую половину.

В начале нашего исследования мы видели, что в природе у каждой женщины есть своя функция. Большое же количество мужчин, напротив, служит только для селекции: они сражаются за отношения с женщиной и передают ребенку генетические качества лучших. Только с изобретением людьми отцовства и моногамной семьи существование мужчин приобретает индивидуальный смысл.

Сегодня мы, похоже, наблюдаем откат к дочеловеческому состоянию: количество отцов уменьшается, в то время как растет орда самцов, готовых сражаться друг с другом. Но моногамная семья не была упразднена, формально мы не вернулись к борьбе групп мужчин за женщину. Вот почему мужской мир в своей совокупности часто вызывает у женщин — у всех, не только у феминисток — чувство отчаяния, опустошения, утраты важных личностных качеств. Создается впечатление, что многие мужчины лишние: потому что, отказавшись от отеческой ответственности, мужчина исчезает как индивидуальность, но не возвращается при этом и к коллективной функции, благоприятствовавшей генетике.

Как мы уже видели, у удаления отцов есть две стороны. Материально отцы все меньше присутствуют. Символически, их ритуальные функции — поднятие к небу, благословение, инициация ребенка, — больше не исполняются. Матери могут заполнить материальную пустоту; но символическую — вряд ли. Это говорит скорее об общем исчезновении обрядов, чем об их распределении между мужчинами и женщинами.

Мы можем, таким образом, до бесконечности рассчитывать на то, что матери заменят отцов. По сути, они уже делали это всегда, когда отец был на войне или в путешествии. Но, когда это случалось, мужчина оставлял в доме длительное воспоминание, кровать, высеченную в дереве, миф Улисса. Оставалось его психическое присутствие. Сейчас же выиграли потребление и

сегодняшний день, проект и время потерялись. Сегодня победа принадлежит консьюмеризму и жизни в стиле бабочки-однодневки, понятия проекта и протяженности во времени потерпели поражение. Еще больше, чем физического отца, не хватает отеческого духа, который не может воплотиться ни в матери, ни в детях.

Уход отца стал необратимым с исчезновением ритуалов и мифов. И это связано не с патриархатом и не с матриархатом, а прежде всего с модернизацией. Физическое отсутствие отцов в значительной степени зависит и от количества разводов и распадов пар: от свободы, которая в свою очередь является частью современности. А современность необратима.

Завершим мы тем, что у нас нет готовых ответов. Но в одном мы убеждены: воспоминания не бесполезны. Нам представилось, что не только настоящее, но и вся история отца погрузилась во мрак трагического забвения, и в результате дети чувствуют себя сиротами с неопределенных времен.

Отказ от истории отца был бы отказом от смысла преемственности, которая побеждает время. С самого начала мы объявили это качество «отцовским», и мы беспокоимся о том, чтобы кто-нибудь стал его носителем: сегодня - мать, завтра - сын, послезавтра - кто угодно. История и преемственность, в нашей памяти, отцовские качества. Мы не можем от них отказаться именно потому, что все больше живем в мире потребительства, мире вечного настоящего. В этом смысле беспокойство о состоянии окружающей среды и будущем планеты, которое было описано как возвращение мифа о Великой Матери Земле, имеет отцовский характер.

Мы — это также наша история, и, если мы ее не знаем, мы отказываемся познать часть себя. Мы обладаем личностью, но, если мы — отцы и не знаем историю отца, наша идентичность обладает меньшей стабильностью, чем у тех, кто ее знает. Отец, который не знает историю отца, подобен американцу, который не знает об индейцах и Вашингтоне, французу, который не знает о франках и Наполеоне: он, конечно, может жить, но он не знает, почему принадлежит

одному обществу, а не другому; не знает, что представляет из себя народ, частью которого он является. Так и отец будет неуверенным в себе отцом, если ничего не знает о народе отцов. Конечно, история в данном случае — это не сражения и трактаты, а поведение и обычаи, образы и мифы. Знание этих вещей не только теоретическое, оно позволяет отцу смотреть на ребенка и задавать себе вопрос, который подсказывает ему история отцовства: «Это мой ребенок потому, что я его породил, или потому, что я его избрал?»

Но психологическая история отцов нужна также многим детям. Однажды они захотят выйти из безвременья и начать отсчет времени, узнать, чьи они преемники. Так что, сами об этом не зная, они желают услышать эту историю. Они ждут, что кто-нибудь разбудит их от сна неосознанных действий, возьмет в руки лук Улисса и ночь женихов закончится.



Рис. 1: Федерико Бароччи. Бегство Энея из Трои. Фотографический архив Главного управления по надзору за художественными и историческими ценностями Рима.

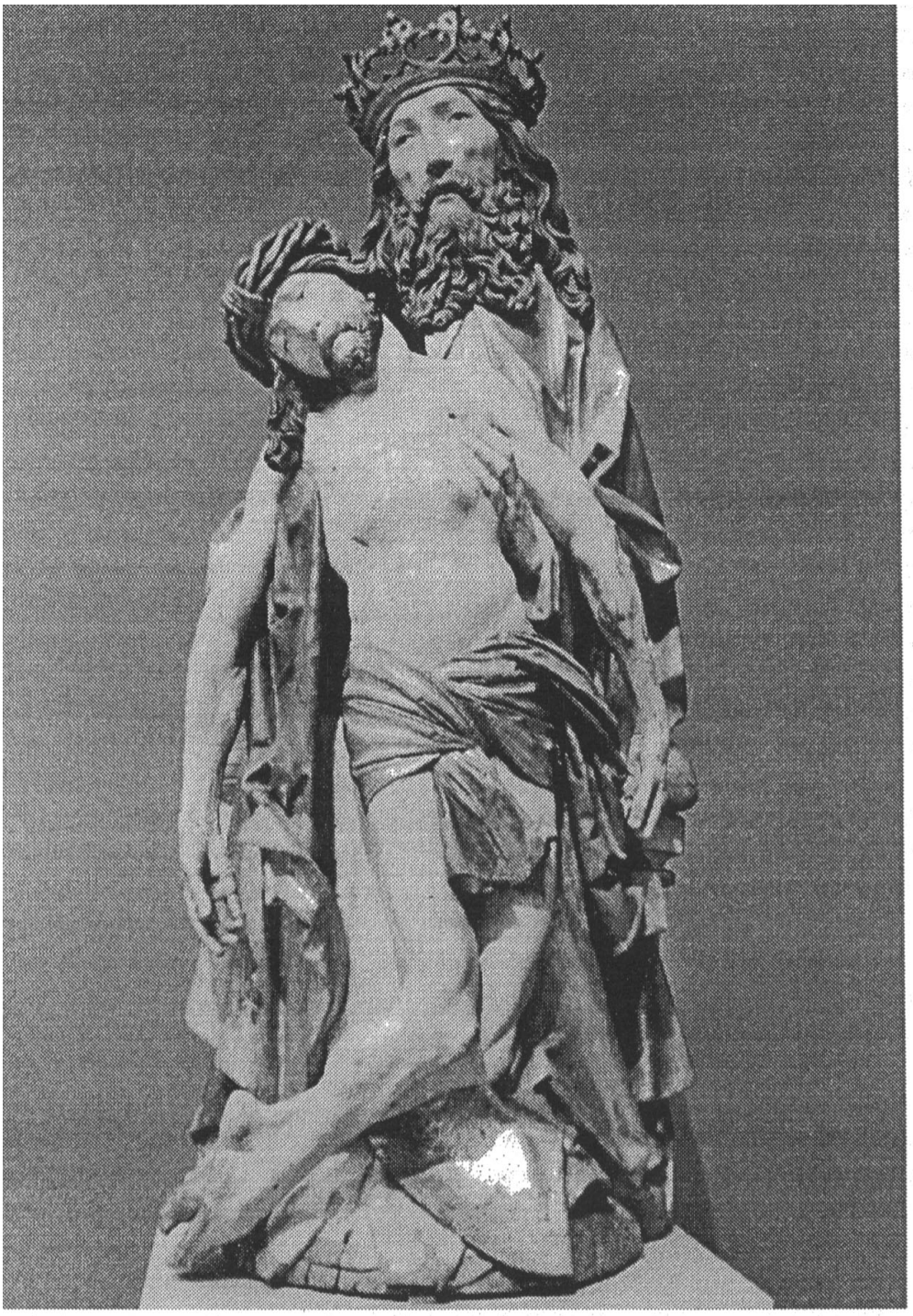


Рис. 2: Рименшнайдер, Pietà. Музей прусского изобразительного искусства, Берлин.



Рис. 3: Доменико Пиола. Святой Иосиф и святое семейство. Церковь Сан-Донато, Генуя.

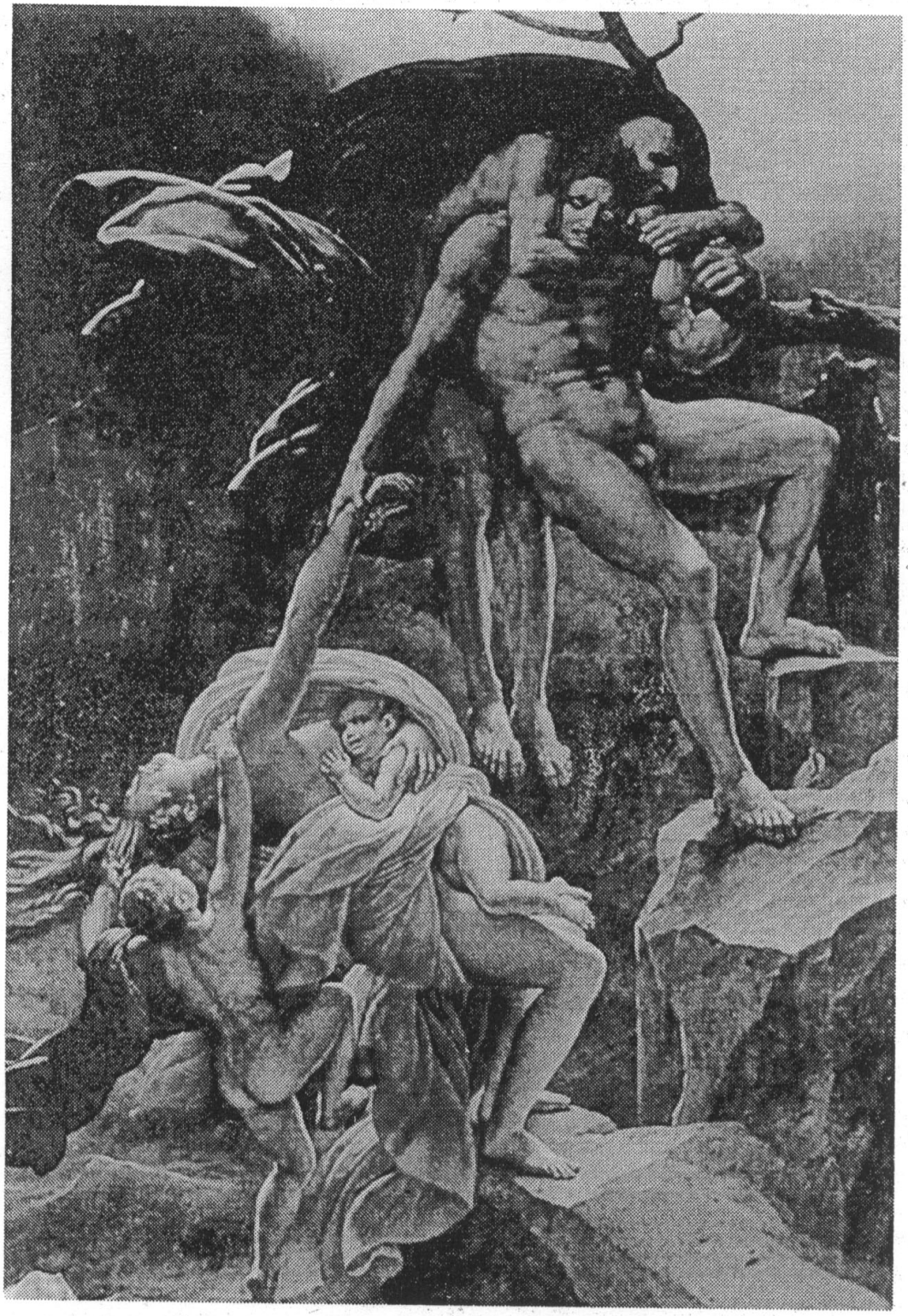


Рис. 4: Анн-Луи Жироде де Русси, Сцены потопа. Музей Лувр, Париж.



Рис. 5: «Папа, а что делал ты во время Великой войны?» Английская пропагандистская листовка периода Первой мировой войны. Военный музей империи, Лондон.

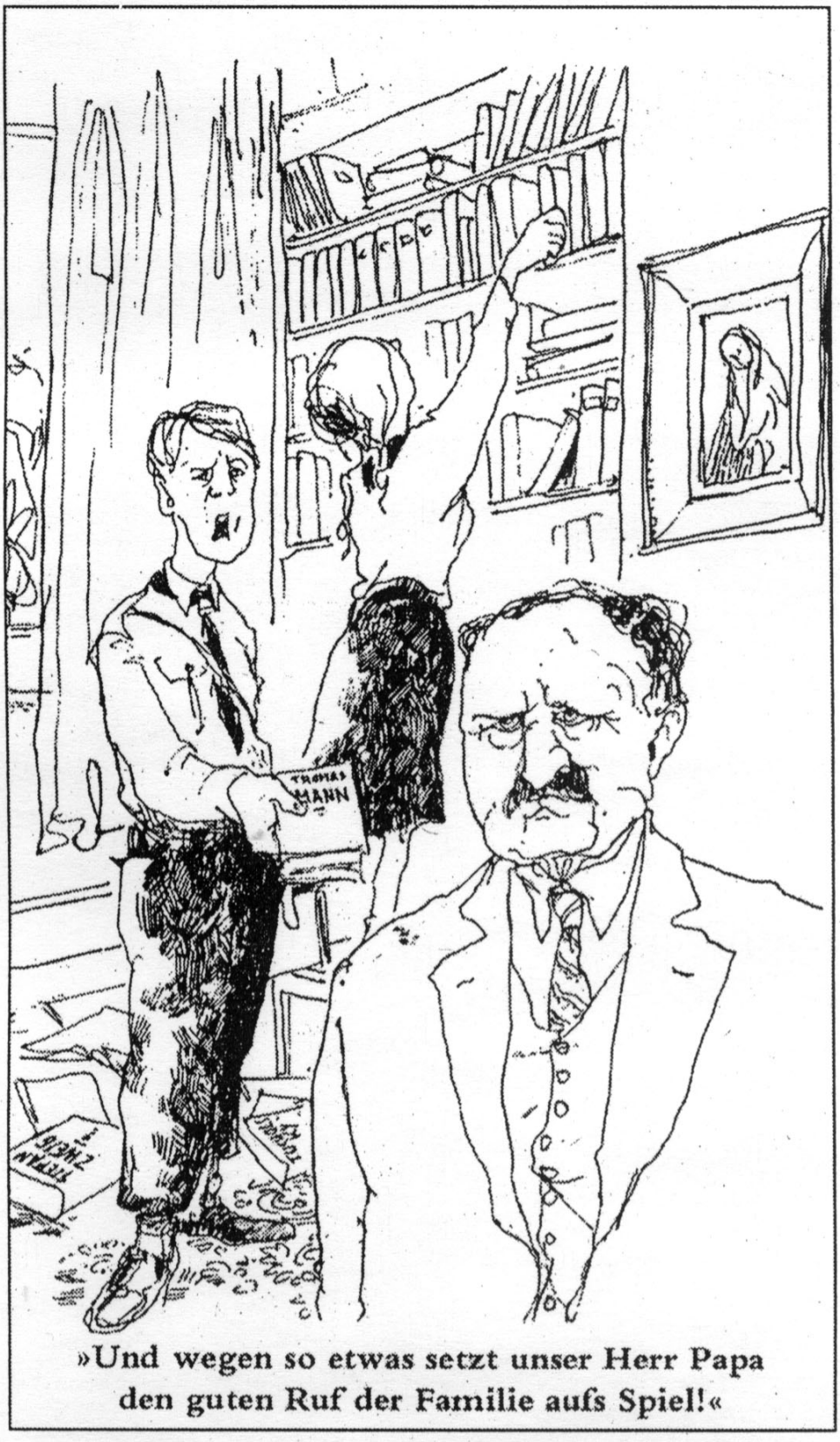


Рис. 6: «И ради этого наш господин отец рискует репутацией семьи!» Немецкая карикатура об отношениях отца и детей в буржуазной семье времен нацизма. Из K. Halbritter, Adolf Hitlers Mein Kampf, Carl Hanser Verlag, Monaco-Vienna 1998.

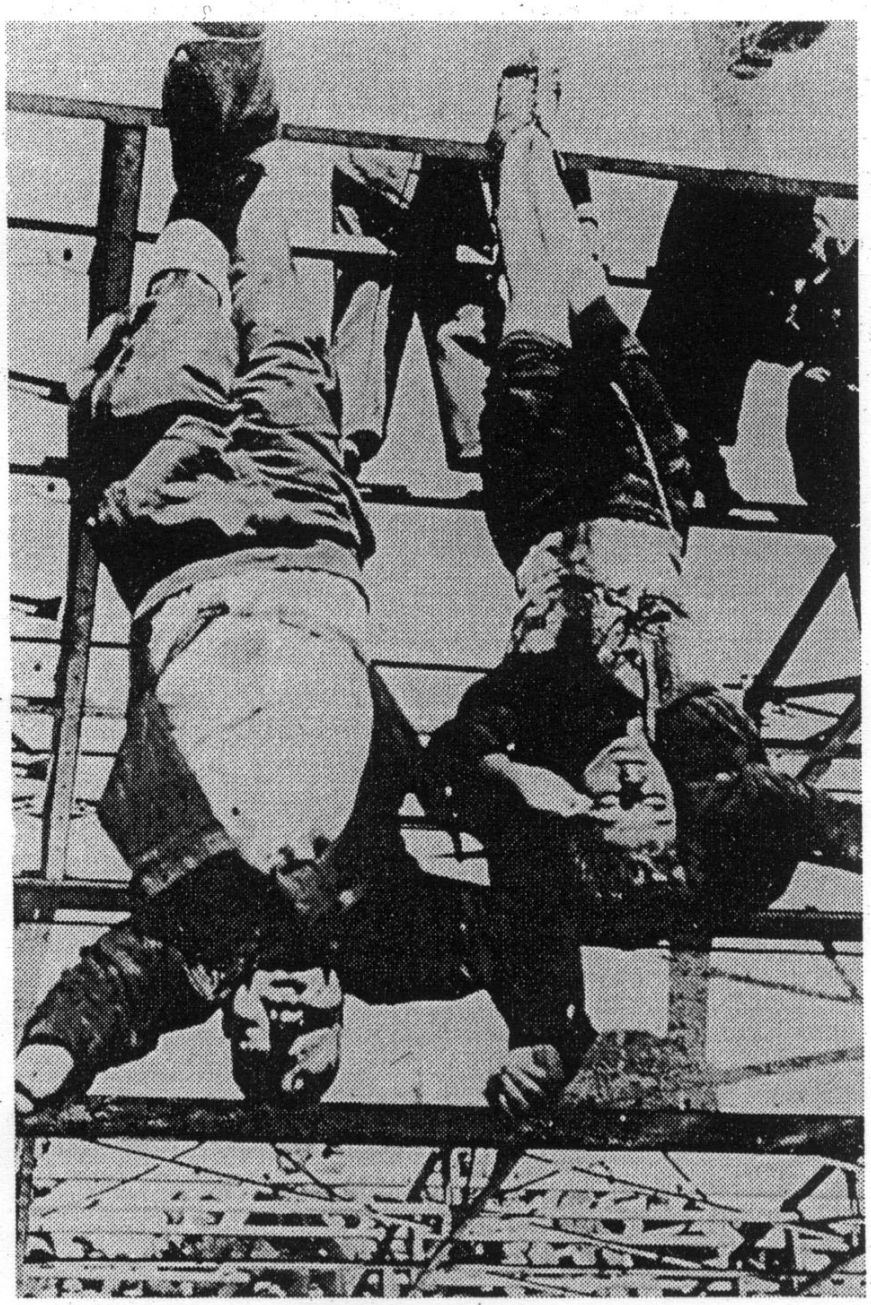


Рис. 7: Тело Муссолини (слева), вывешенное на площади Лорето. Агентство Publifoto-Olimpia.



Рис. 8: Симон Мейстер, Семейство Вербрюн. Музей Wallraf-Richartz, Кельн.



Рис. 9: Семья немецких крестьян (Ingebor Weber-Kellerman (1976) Die Familie. Frankfurt: Insel Verlag)

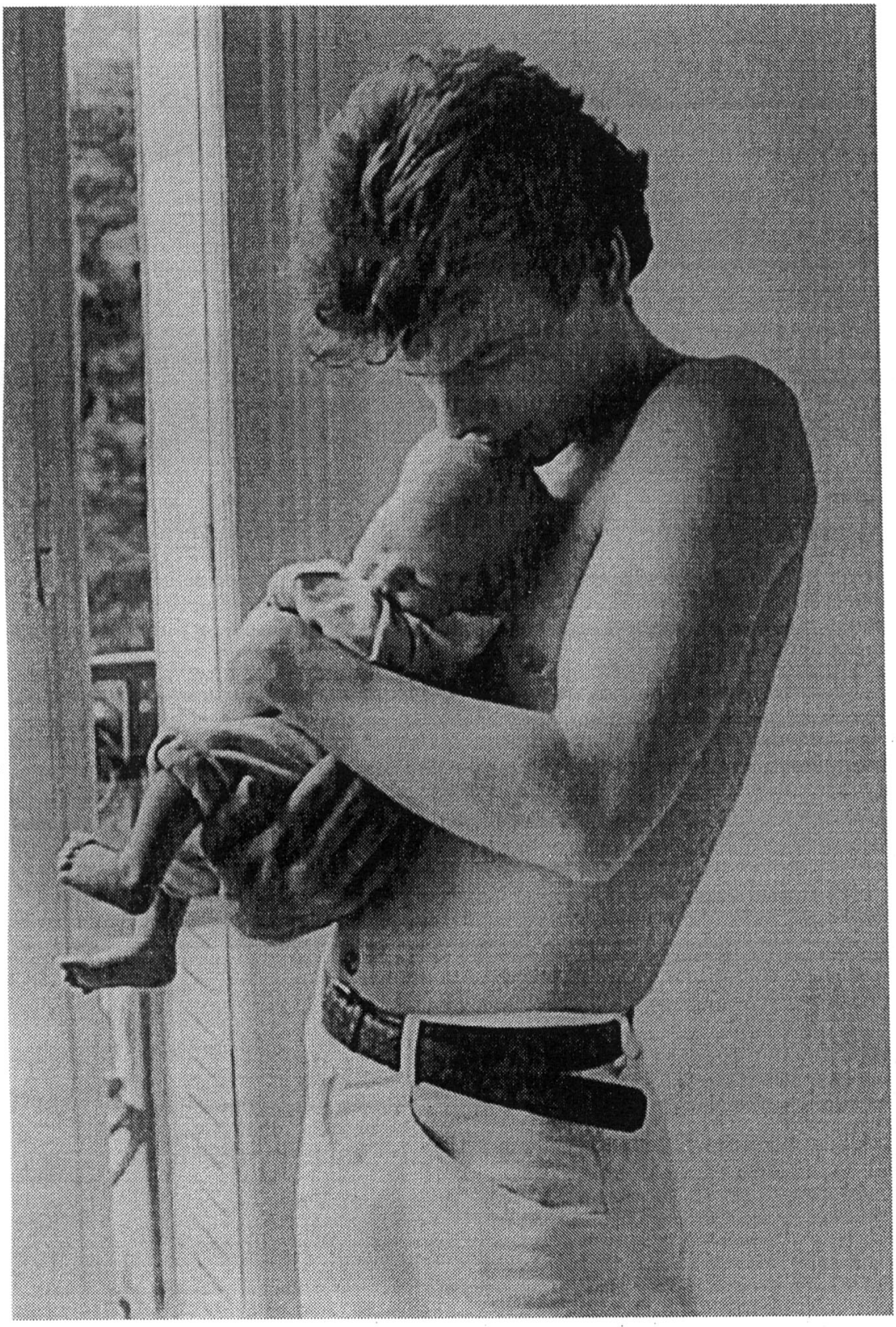


Рис. 10: Паскаль Рош, "Отец и сын", Агентство Petit Format.

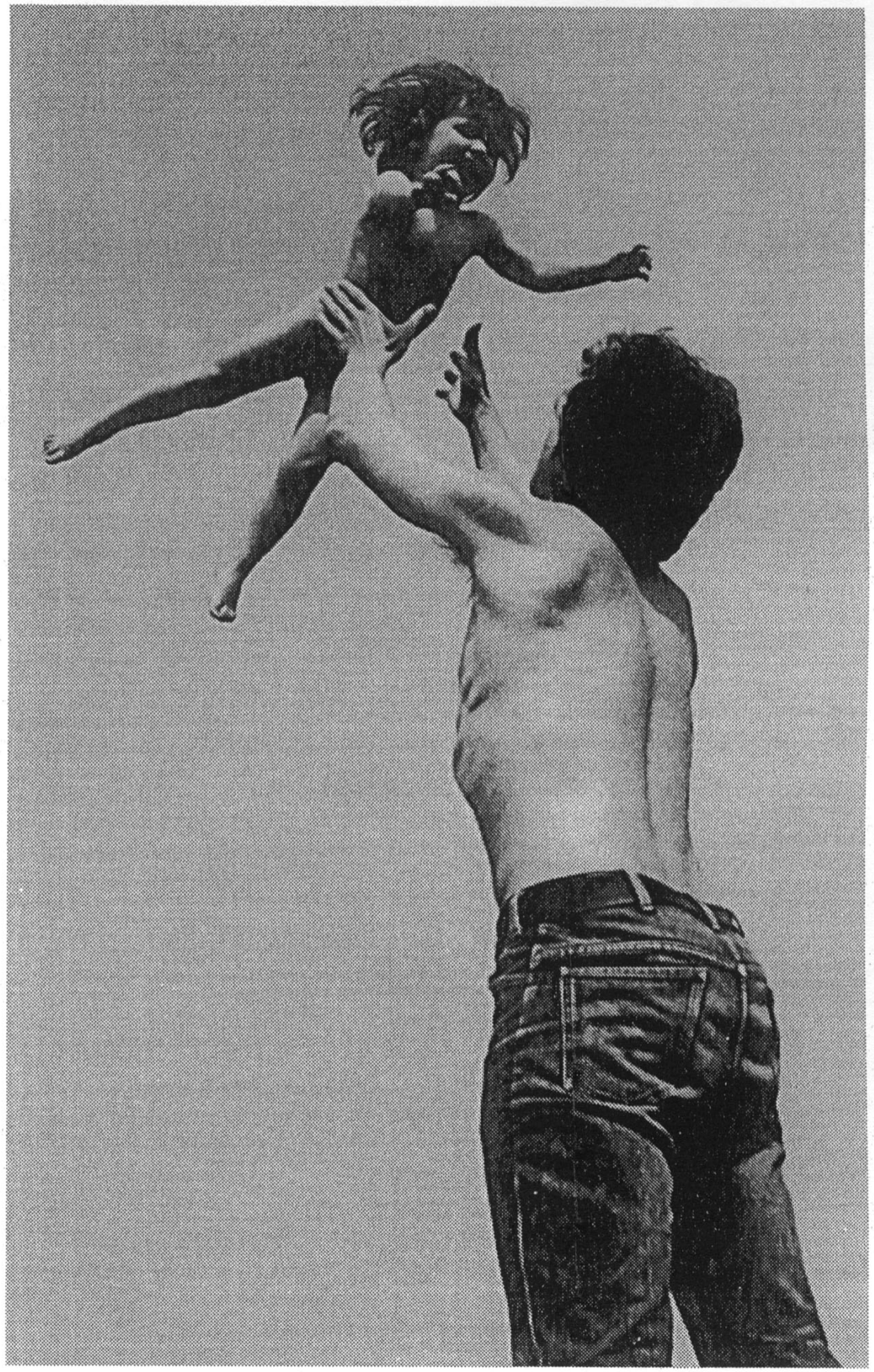


Рис. 11: "Отец и сын" (Urban & Fischer Verlag).

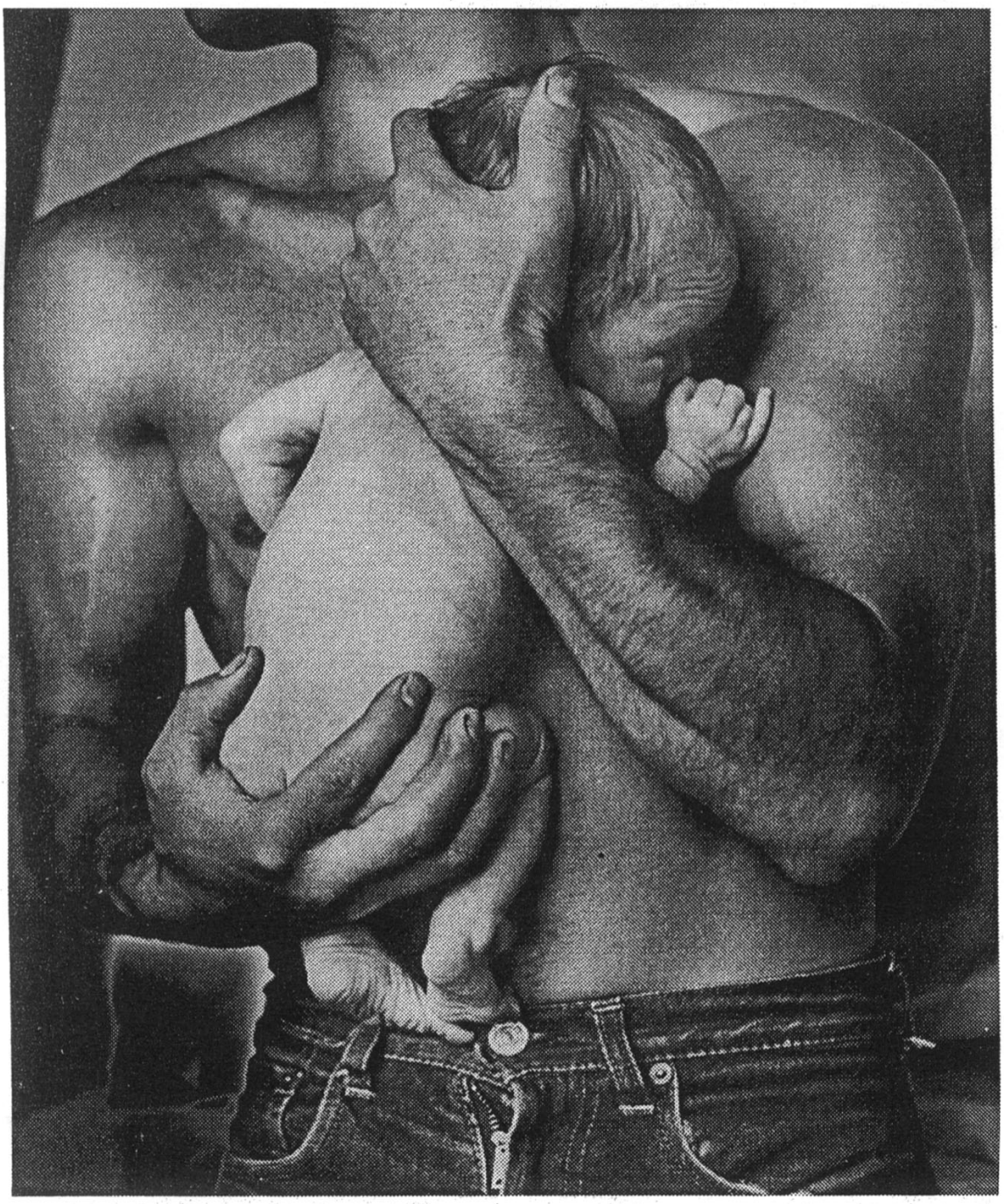


Рис. 12: Ян Саудек. "Отец и сын". (© "Life", Jan Saudek, Prague)